Одесский
альманах
№85
II / 2021

ДЕРИБАСОВСКАЯ ↓ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

PLASKE
ПЛАСКЕ

Литературно-художественное издание серии «Одесская библиотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 2 (85), 2021
Издается с 2000 г.

Учредитель и издатель: Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
(свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010 г.)
Председатель редакционного совета: Иван Липтуга
Редактор: Феликс Кохрихт
Редакционная коллегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора), Иван Липтуга
Технический редактор: Геннадий Танцюра
Верстка, корректура: Татьяна Коциевская

Свидетельство о государственной регистрации печатных средств массовой информации:
КВ № 19644-9444Р от 08.01.2013 г.

Адрес редакции: 65001 Украина, Одесса, ул. Ак. Заболотного, 12, а/я 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»
Украина Одесса ФЛП Карпенков О.И.
Свидетельство ОД №21 от 20.01.2003 г.
Тел.: +38 (067) 486-20-34
E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua
Тираж 100 экз.
Заказ № _____

Літературно-художнє видання серії «Одеська бібліотека»
«Дерибасовская – Ришельевская». Альманах
№ 2 (85), 2021
Видається з 2000 р.

Засновник і видавець: Видавнича організація АТ «ПЛАСКЕ» (свідоцтво ДК № 3673 від 21.01.2010 р.)
Голова редакційної ради: Іван Ліптуга
Редактор: Фелікс Кохріхт
Редакційна колегія: Євген Голубовський (заступник редактора), Іван Ліптуга
Технічний редактор: Геннадій Танцюра
Верстання, коректура: Тетяна Коцієвська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації:
КВ № 19644-9444Р від 08.01.2013 р.

Адреса редакції: 65001 Україна, Одеса, вул. Ак. Заболотного, 12, а/с 299
Тел.: +380 (48) 7-385-385
books@plaske.ua
www.plaskepress.com

Надруковано з готового оригінал-макету у типографії «ТакиБук»
Україна Одеса ФОП Карпенков О.І.
Свідоцтво ОД №21 від 20.01.2003 р.
Тел.: +38 (067) 486-20-34
E-mail: takibook.odessa@gmail.com www.takibook.od.ua
Наклад 100 прим.
Замовлення № _____

© АО «ПЛАСКЕ», 2021
© «Дерибасовская – Ришельевская», 2021

От редакции

Памяти неизменного члена редколлегии Олега Губаря

На обложке 85 выпуска нашего альманаха, который вы сейчас перелистываете, Олег Губарь, попавший в объектив в День освобождения Одессы – 10 апреля, но не нынешнего года, а прошлого или позапрошлого… На фотографиях, сделанных у обелиска, он разный – и пацанчик с Успенской, которого привел за руку отец-фронтовик, и дембель, вернувшийся домой с далеких позиций, и журналист, и писатель, и отец, и даже дед. Почетный гражданин Одессы.

До 10 апреля 2021 наш товарищ не дожил совсем немного. Сраженный и ужасным, но привычным недугом – онкологией, и недавним вирусом, он боролся мужественно и без пафоса, по телефону рассказывал о героизме медиков и был уверен, что мы, как это случается много лет, встретимся перед входом в парк и пойдем к памятнику Неизвестному матросу…

Не случилось.

Губарь на обложке – уже во второй раз, всего во второй раз за 21-й год биографии альманаха. Впервые – восемь лет назад, когда ему стукнуло 60 лет. Улыбается. Тот номер, 55, вышедший в 2013 году, принадлежит иному времени – он мирный, в нем немало материалов, рассказывающих о ярких событиях в культурной жизни города. Мы дали обширный отчет о прошедшем в Одессе Международном литературном фестивале, вспомнили о наших великолепных кавээнщиках, сообщили о новинках «Одесской библиотеки», в которой вышла и уникальная книга Губаря «Автографы Одессы»…

Раздел «История, краеведение» открывался поздравлением юбиляру, которого мы сравнили с героем сказки Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». И сегодня, когда столь многое изменилось в нашей жизни, этот образ не представляется легкомысленным… Те, кто знал Олега не понаслышке, кто был свидетелем, а то и участником его предприятий –

конкретных и принципиальных действий, знают об отваге и бесстрашии Губаря – и в профессии журналиста, и в призвании историка, и в статусе гражданина. Свое слово о Губаре тогда сказали его высокие друзья.

Михаил Жванецкий:

«Олег Губарь. Мой любимый писатель. Он прекрасен среди умерших и живых. В его книгах Одесса, перевернутая прошлым вверх. До нас он еще не дошел. Мы к нему в длинной очереди, заказываем свои портреты. Пиши нас, милый Губарь! А мы отведаем из старинной бутылочки чего-то современного. Твой неподалеку – Михаил Жванецкий».

Историк Одессы профессор Патриция Херлихи (США):

«Скажите, кто и где может найти лучшего гида, чем Губарь, влюбленный в Одессу, ее прославленный историк и трубадур?»

А ведь тогда, восемь лет назад, Губарь еще не приступал к созданию, пожалуй, главной своей книги – пушкинского путеводителя по Одессе. Мы знакомимся с молодым городом у Черного моря вместе с молодым поэтом, встречаемся с его друзьями и подругами, узнаем места, воспетые в одесской главе «Евгения Онегина», в лирических стихах… Этот труд – два объемистых тома, снабженных уникальными иллюстрациями, сверстаны и готовы к печати. По убеждению специалистов, он станет явлением в мировой пушкинистике. Наш долг, наша обязанность объединить силы гражданского общества – интеллигенцию, предпринимателей, городские власти – и достойно издать этот двухтомник.

И далее в 55 номере – статья Олега об истории градостроительства Одессы, глава из будущей книги, которую мы печатали из номера в номер. Фундаментальная монография вошла в золотой фонд литературы о нашем городе, о том, строилась и росла Одесса.

В те годы родился и еще один уникальный труд Олега Губаря (совместно с Михаилом Пойзнером), призывающий к исторической памяти: история первого городского кладбища, на котором были захоронены фундаторы и первостроители Одессы, представители разных сословий и конфессий. В лихие годы некрополь сравняли с землей… Губарь и его единомышленники инициировали создание здесь Мемориального парка и музейного комплекса. На его открытии Губарь был узнаваем – с лентой почетного гражданина Одессы, которую надевал редко…

Так сложилось, что одесситы прощались с ним здесь – в Преображенском парке, у первых стел с именами наших предков, чьи имена и дела он возвращал в XXI век.

…Еще раз напомним строку из Жванецкого, написанную в дни 60-летия Олега: «Он прекрасен среди умерших и живых».

Сегодня, когда с нами нет ни того, ни другого, когда жатва смертей увела в небеса многих наших товарищей – Аркадия Львова, Ивана Череватенко,

Александра Дорошенко, Ефима Ярошевского, как-то новый смысл вкладывается в эти простые слова – «Он прекрасен среди умерших и живых».

Шестьдесят семь лет было отпущено Губарю небесами… Но мы помним его молодым, двадцатипятилетним.

Молодой Пушкин. С тем же обаянием. С пачкой первых романтических рассказов.

Взрослел на глазах. Часами сидел в архиве. Выписки, выписки. Всё от руки. Но он никогда не был книжным червячком. Веселый. Кумир девушек. Певец с гитарой. Знаток алкогольной топографии Одессы. Как же это сочеталось? Гармонично.

Сегодня находятся моралисты, которые его упрекают в прожигании жизни. Хотим им напомнить слова Булата Окуджавы, написанные по подобному поводу:

Говорят, что грешил, что не к сроку свечу затушил…
Как умел, так и жил, а безгрешных не знает природа.

Тридцать книг выпустил, тысячи статей написал, бесчисленному количеству людей помог – справками, советами, подставив плечо.

Не забудем участие в археологических раскопках. А бесконечные поездки по области, когда стал корреспондентом «Вестника региона» с Ваней Череватенко, а ежегодная жизнь в лесу, чтоб отдохнуть от города…

И при этом невероятная работоспособность. Он знал и понимал старую Одессу, ему ясна была логика ее первостроителей. И поэтому он стал защитником Одессы от варваров, от манкуртов.

Вначале казалось, весь уходит в науку, даже литературу воспринимал как второстепенное дело. Но постепенно в нем рос общественный темперамент. После 2 мая 2014 года он стал не только кабинетным ученым, правда без кабинета, но и трибуном, не побоимся пафоса – совестью города.

Как завершал записку Губарю Михаил Жванецкий: «Твой неподалеку – Михаил Жванецкий».

Как ни трудно поверить, представить – сегодня они действительно неподалеку.

Но неподалеку Олег Иосифович и от нас, продолжающих выпускать альманах – наше общее детище.

Мы читаем Губаря. Мы издаем Губаря. Мы продолжаем дело Губаря. Мы его любим и помним. И главное, Одесса его любит и помнит.

Михаил, ты прав!

Это задумывалось как интервью. И действительно, мы встретились с Михаилом Михайловичем Жванецким в Доме актера в феврале 1989 года, я задал ему вопросы, он, естественно, тут же ответил на них. Сразу придумал я заголовок будущей беседы, он был в духе нынешнего политического лексикона – «Михаил, ты прав!».

Хоть тут же подумал, что еще несколько лет назад назвал бы этот разговор «Ворованный воздух», вспомнив удивительную фразу из «Четвертой прозы» Осипа Мандельштама: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первое – это мразь, второе – «ворованный воздух».

Записал ответы Жванецкого. Но на бумаге его устная речь вдруг потеряла пружинистость, потеряла его интонацию. Дал ему перечитать. Но писатель – это писатель. Он взял мой текст домой, чтобы что-то добавить, а потом сел писать – то ли новый рассказ, то ли… интервью.

Чтобы было понятно, какие вопросы побудили Жванецкого к размышлениям, назову некоторые из них:

– Как сегодня определяются для тебя границы гласности?

– Что нужно делать для того, чтобы город не покидали люди талантливые – люди искусства, науки, мастера?

– Нужно ли чего-либо сейчас бояться? Преодолел ли ты страх?

И, наконец, первый вопрос, с которого и начался наш разговор:

– Легендарный старенький портфель, с которым ты выходил на сцену многие годы, стал одной из примет нашего времени. Есть ли в нем сатирические миниатюры, которые устарели?

Такие вот «детские вопросы», после которых родился новый монолог Михаил Жванецкого.

Евгений Голубовский

ДИАЛОГ, ПЕРЕХОДЯЩИЙ В МОНОЛОГ

МИХАИЛ, ТЫ ПРАВ!

* * *

– Да нет. Я так подумал… пожалуй, устаревших нет. Которых нет смысла читать – есть. Они не устарели – они постарели, к сожалению, остальные можно читать. Ну, может, про холеру в Одессе устарела. Ну просто потому, что холеры пока нет (тьфу, тьфу, тьфу). А как тогда жилось хорошо? А обсервация на «Таджикистане»? Это же была кампания. Сколько там неожиданных детей появилось. Вот, кстати, холера. Тоже время сложное, а какое настроение было! Обсервация была сделана по советско-одесски. После тщательных анализов нас всех, чистых и стерилизованных, собрали на пароход, чтобы мы шесть дней ждали, не разовьются ли среди нас холерные палочки, а потом грязные машины, грузчики стали завозить туда пиво, вино, водочку, закуску.

Все это было тогда в Одессе. И люди были тогда на месте, не было этих опустошительных отъездов.

Боже! Люди уезжают. Эвакуация. Ну что, Голубовский, мы останемся с тобой последними. И Деревянко с нами, он депутат, ему нельзя.

У меня опустела телефонная книжка. Я туда плохих не записывал. Мы остаемся одни. Правы те, кто уезжает, правы те, кто

остается. Но очень больно. Какая бы музыка ни играла. Ну и что будет дальше? Опять выгоняем интеллигенцию, будь мы прокляты. Как собак из дома – криками и проклятиями. Не хватает на все, пусть едут! И не от голода бегут, нет, не от одежды. У этих людей в нашей стране вековое чутье на гонения.

Если в наших душах осталась хоть малейшая любовь к этой стране, кто-то же должен о чем-то подумать, что-то себе представить. Если люди боятся, нужно десять раз в день говорить об их охране. Их нельзя держать, но можно удерживать.

Что же это за такая страна Америка? Мы хоть подумали над этим? Что же она нас так выручает на протяжении всей истории советской власти? Проклинаем и враждуем, а как чего-нибудь главного не хватает, премся в Америку. За паровозами, за автозаводами, за портальными кранами, за боевыми самолетами, за студебеккерами, за сульфилином и вот за хлебом. И наших людей она принимает, и сливки наши, и наши отбросы. И всех устраивает. И всем дает жилье, еду, лечение, даже пенсии тем, кто работал здесь, а отдыхает там. Почему же мы шапку не снимаем перед этой страной, где нашли приют все наши гении, от литературного до уголовного мира? Почему мы не способны на такое? Почему для нас беженец из собственной страны хуже волка?

Как врача, у которого никто не выздоровел, меня мало что волнует. Меня просто интересует: что с нами будет?

Есть ли сегодня границы гласности?

Есть, Женечка, – порядочность, достоинство. Не убивать, не скликать на убийство, не целиться в другую нацию. Подумаешь, враги. Они даже не могут ответить на вопрос, почему я плохо живу!

А почему я плохо живу?

Из-за тебя.

А я из-за тебя.

Чувствуете этот бред сивой кобылы? И убиваем-то своих. Противник цел и невредим. А когда много набьем своих с той и другой стороны, он въедет на танке и утвердится, и мы опять будем бегать уже с немым вопросом в глазах. Опять дурака сваляли. Своих надо беречь! Я в этой войне на одной стороне – на стороне порядочных и честных. И я их безошибочно найду – и безошибочно пойду с ними, и не струшу столько, сколько будет надо.

Я с Сахаровым, Травкиным, Собчаком, со своей мамой и со своей совестью. С Горбачевым, в конце концов. Тебя, Голубовский, возьму и Деревянко. Симоненко возьмем и после некоторого перевоспитания дело ему поручим. Человек нормальный. Я мало знаю одесское руководство, а вот в Ильичевске познакомился с Борисом Непомнящих, Кухарским Валерием. Наши люди из ОИИМФа, хорошую одесскую школу прошли. Не через стенгазету и комсомол, а через порт, стройку, штангу. Хоть и начальники, но приличные. Собирать надо порядочных людей под знамя Одессы.

Время, которое мы переживаем, или которое нас переживает, сложное. Не знаю, что хорошее создается, но что-то плохое разваливается. В этих благоприятных условиях можно наловчиться и кое-что сделать для Одессы. Вот ради этой Родины – Одессы, и ради этой партии – одесской. Не знаю, то ли прямо с Одессы, то ли начать с Ильичевска, и создавать здесь свободную экономическую зону.

Я, кстати, живу на Старопортофранковской.

Построим на берегу Одесского залива новый Сингапур, без налогов и пошлин. То есть граница и таможня отодвинуты вглубь после города, а не перед ним. Всем выгодно. Все, что строится на территории СССР, все, что производится, – для СССР и других стран, но здесь все свободны, люди и материалы перемещаются по всему свету. Скумбрия появится в Одессе. Она бежала. Она вернется.

Симоненко, мэр, тоже болен этой идеей. Он одессит. Любит маму и котлеты. Альпинист, в общем, не с улицы, а со специальностью. Он может это дело пробить. Только его надо крепко держать, чтобы этим и только этим занимался, и только правду говорил. И только граждан своих слушал. И только на граждан своих работал. Он город знает. Дело знает, парень красивый, да и другого нет. Конечно, смелось они все растеряли, пока ими другие командовали. Так партия от хозяйства отходит. А город должен начать жить самой красивой и долгой жизнью.

Надо еще пожить в новом городе, рано нам помирать на хилых фронтах гражданской войны. Если Азербайджан хочет отделиться, я его отпускаю. И Прибалтику отпускаю. А Одесса будет в свободной зоне.

И такая у меня мысль: «Всемирный клуб одесситов».

Все, кто уехал, все, кто остался, должны стать членами этого клуба. Взносы обязательны. Допустим, 100 рублей и 100 долла-

ров в год. На эти деньги по особому заказу мы приведем в порядок чью-то могилу и чью-то квартиру, проложим куда-то дорогу, построим пару отелей для членов клуба. Я серьезно! Купим пару дач под Одессой. Пусть он живет в Америке, но если он член клуба, для него и семьи месяц в Одессе забронирован. То же самое для одессита где-нибудь в Лос-Анджелесе!

Нас здесь около миллиона и там тысяч двести или сто пятьдесят. Денег хватит.

Симоненко я это дело рассказал, он закричал – я вступаю! Чего кричать? Все вступят. И не так уж эта идея наивна.

Невозможно расстаться с Одессой. Я это знаю по себе. Думаю, и тем, кто еще дальше сорвался, совсем неплохо будет иметь свое законное место в Одессе. Это же чего-нибудь стоит!

«Приезжайте. Между Вами и Вашими неприятностями встанем мы – «Всемирный клуб одесситов».

И не будет трагедией сегодняшний отъезд наших друзей, и не будем мы с ними так горько прощаться. Америка – не тот свет. Хоть и не этот.

Мы здесь остаемся! И давайте не бояться друг друга. То есть страх испытывать можно, но бояться не надо. Хватит! 70 лет боялись, боялись, дрожали. И что? И ничего! Нас сажали, и мы подыхали под занавешенными окнами соседей.

Ничего не бояться и на крик соседа выходить всем!

Мне что-то всегда казалось, что порядочных людей больше. А чтобы не было крови, ее надо не бояться.

Да и устали уже.

И о городе думать надо.

И работать для него надо.

И времени уже нет.

Михаил Жванецкий

«Вечерняя Одесса», 23 февраля 1989 года

Перепечатывается впервые

Юрий Михайлик

«Так уж им позволено – хотят и поют»

* * *

На глинистый берег, шипя, выкатывается вода.
И это, быть может, единственное, что не кончится никогда.
Разбитый рыбачий курень, забытый замшелый баркас.
И это, быть может, все, что останется после нас.
Тень от велосипеда бежит по пыльной земле,
четыре бутылки водки в авоське висят на руле.
Старик в обвисшей тельняшке – на спине она парусит.
Когда он домой доедет, он станет и пьян, и сыт.
И вот он спешит и крутит, стараясь держать по прямой.
Волна превращается в воду, пока он едет домой.
А я сижу над обрывом – вода, беда, ерунда –
и прямая черта над морем истаивает навсегда.

* * *

Сергею Рядченко

Сколько ж нужно горя вынести,
Чтобы так окаменеть…
Иван Рядченко. Стихи о каменных бабах

Степь приварена к морю припоем – полоской прибоя,
ярой сварой январской и жаркою сваркой июля,

и поди разбери, кто над кем тут стоит, карауля,
оловянные очи рассыпав в ночи над тобою.

Просто море и поле – отзвучия горя и боли,
лишь украшены волн и холмов полуночной резьбою,
паруса или кони по кромке, как тени разбоя –
там, где вольное море касается дикого поля.

Эти волны и травы тихи, но полны непокоя,
в них блуждают то рыбы, то звери, то тайные страсти…
И застыть, каменея от горя, и, обжегшись, заплакать от счастья,
если к ним прикоснуться – пускай не рукой, но строкою.

* * *

Матрос разбитого корабля,
захлебываясь в кислой воде,
еще прошепчет – земля, земля, –
зная, что земли никакой нигде.
Он слышит, что там, внутри темноты,
его настигает подводный гул.
На все ваши конкурсы красоты
следует приглашать акул.
Онемевшими пальцами шевеля,
он к волне, к последней любви, приник,
может, где-то во мраке и есть земля,
но гораздо ближе острый плавник.
Мягким властным изгибом волну рубя,
не спеша, но помня – еще быстрей! –
Большая Белая догонит тебя –
королева южных морей.
Нет земли нигде – но звезда вдали,
но предсмертное небо стоит стоймя,
где циклон опрокидывает корабли,
острозубых красавиц во тьме кормя.

* * *

Соловьи на зиму улетают в Магриб,
в Северную Африку, в кустарники на песке
и живут, посвистывая, хотя могли б
нечто ностальгическое распевать в тоске.
В соловьиных трелях, гремящих окрест,
дюны, будто волны, пытаются петь.
Александр Пушкин – из этих же мест –
не сюда ли рвался уплыть, улететь?
И на Черной речке, в морозном дыму,
ощутить внезапный обжигающий зной
да короткий посвист, сказавший ему –
нет, не перелетный, не выездной.
Соловьи вернутся под Курск и Тамбов,
в маленькие рощи вокруг села.
И во всю черемуху – такая любовь –
что любая Африка сгорит дотла.
Соловьи на зиму к теплу улетят,
просто через море – и дальше на юг.
Так у птиц заведено – летят как хотят.
Так уж им позволено – хотят и поют.

* * *

Прости-прощай, форгет энд форгив –
это чайный клипер проходит пролив,
австралийская шерсть и китайский чай,
форгет энд форгив, прости-прощай.

Китайский чай, австралийская шерсть,
океанов пять, континентов шесть,
свои белые крылья вполнеба раскрыв,
там чайный клипер уходит за риф.

Прощай и прости, форгив энд форгет,
ни на суше, ни в море спасенья нет,
над волной впереди полыхнет закат,
подними свой взгляд – паруса горят.

Австралийская шерсть и китайский чай,
эти скалы зовутся Прости-Прощай,
сколько старых галер пошли ко дну,
чтобы чайный клипер резал волну.

Оправданье погибших, надежда живых –
чайный клипер в ревущих сороковых,
это чая глоток, это шерсти клок,
этим курсом дьявол пройти не смог.

Бушприт над волной – смычок над струной,
небеса, наполненные тишиной, –
звезды яростной жизни – чумной, шальной –
это чайный клипер летит над волной.

Восемнадцать узлов, прости-прощай,
не ходи на причал, никого не встречай,
Паруса ушли облаками в рассвет.
Нас нигде уже нет. Форгив энд форгет.

* * *

Бедняги, вам не сладить с этим делом,
покуда к палке тянется рука,
законом, плетью, топором, расстрелом
не возродить родного языка.
Теплом и светом – к родине и дому,
добром к чужим неведомым словам,
на том же языке – но по-другому
и о другом… А главное – не вам.

* * *

Гвельфы и гибеллины – политическая возня,
в муниципальных архивах и не такое хранится.
«Божественная комедия» писалась на злобу дня,
потом для нее отлили серебряные страницы.
Обилие хищных животных. Флоренция – это рысь.
И пятна на рысьей шкуре от средневековых споров –
светская власть иль папская… Мгновение – повторись!
Восемь веков не сходят чумные следы узоров.

Поэма вполне актуальна, особенно в наших местах.
где папа и император не спорят, а совпадают,
где в народе царит ликованье, переходящее в страх,
рыдают сперва от счастья, а после просто рыдают.
Дело, конечно, не в этом, восемь веков – не срок.
И не в том – о чем и зачем – сочинял стихи Алигьери.
Теперь о его поэме написано больше строк,
чем те, что в ней уместились. Раз в десять, по крайней мере.

Комментаторы обозначат – где гвельф, а где гибеллин,
что в аду и в каком ряду, и в какой из частей поэмы…
При этом никто не помнит – в одной из русских былин
давно живет персонаж – воплощение сей проблемы.
Происхожденье сомнительно. Хазар, а может, еврей.
Повстречав его на дороге, считай, ты уже покойник.
В сегодняшнем нашем тексте интересно, что он Соловей,
и, судя по качеству свиста, неважно, что он Разбойник.

Злоба довлеет дневи. Мы в ярости – кто да с кем,
а тот – холуй у тирана, а тот – на смерть за свободу.
Но дело, поверьте Данту, только в качестве наших поэм,
а вовсе не в нашей злобе, истаивающей сквозь годы.
Злоба дня увлекает. Но этот костер прогорит.
Уже спустя полстолетия никого не сразить сюжетом.
Жизнь создают интонация, энергетика, страсть и ритм,
И все соловьи и данты прекрасно знали об этом.

Сидней

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

История, краеведение

18 **Олег Губарь**
Путеводитель по пушкинской Одессе

40 **Константин Васильев, Елена Васильева**
Испанка в Одессе

59 **Андрей Добролюбский**
«Будь счастлив!»

74 **Александр Сурилов**
Визит французской делегации

Олег Губарь

Путеводитель по пушкинской Одессе*

Одесский автограф Пушкина

Коль скоро речь зашла о сражениях семейства Кобле с саранчой, позволю себе поместить здесь следующий сюжет.

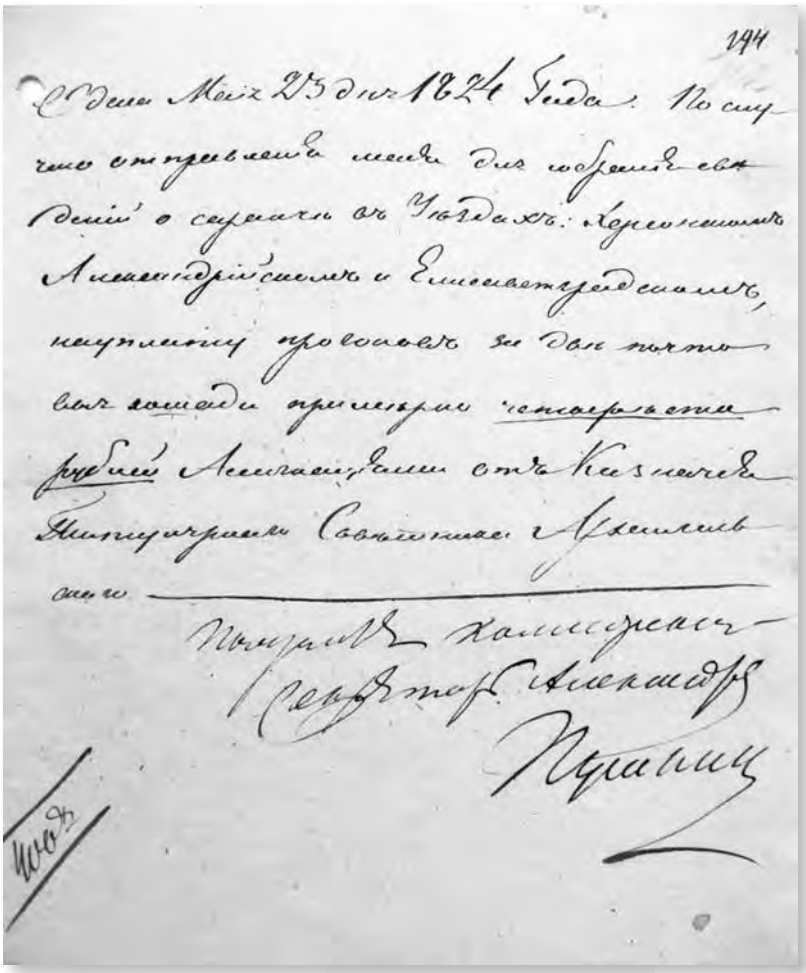
В Облгосархиве этот автограф сохранился чудом, скорее даже благодаря курьезу. Когда изымали документы для Пушкинского дома, сверялись с реестром «расписок разных чиновников и других лиц в получениях денег на прогоны и другие надобности из сумм, хранившихся в канцелярии новороссийского генерал-губернатора и полномочного наместника Бессарабской области, с 21-го сентября 1823-го по 10-е число августа 1826 года». Так вот в этот реестр изначально вкрались ошибки. Сверившись с ним, лица, изымавшие автографы, не обнаружили на соответствующем листе искомую пушкинскую расписку. Вместо нее там оказалась расписка другого коллежского секретаря, Перовского, и тоже от 23 мая 1824-го. Не оказалось ее и на ближайших листах. Вот они и махнули рукой, уникальная бумага осталась в Одессе. Невольно вспоминается старый анекдот: «С вашей бесхозяйственностью вы непобедимы».

Лет 30 назад мне свободно выдали это дело на руки. Удивился вслух, и мне ответили, что нет никаких формальных оснований отказывать. Перчаток, естественно, не полагалось. Старался не прикасаться. Как вели себя другие пользователи, не ведаю.

Текст, понятно, многажды публиковался, но все же воспроизвожу его таким, каким переписал:

---

* Продолжение. Начало в кн. 64, 66-84.



194

Одесса Маiя 23 дня 1824 Года. По случаю отправленія меня для собранія свѣдѣній о саранчѣ въ Уѣздахъ: Херсонскомъ Александрійскомъ и Елисаветградскомъ, на уплату прогоновъ за двѣ почтовыя лошади примѣрно четыреста рублей Ассигнаціями отъ Казначея Титулярнаго Совѣтника Архангельскаго

Поручикъ Коллежскій
Секретарь Александръ
Пушкинъ

Одесский автограф Пушкина от 23 мая 1824 года

«*Одесса. Мая 23 дня 1824 года. По случаю отправления меня для собрания сведений о саранче в уездах: Херсонском Александрийском и Елисаветградском, на уплату прогонов за две почтовых лошади примерно четыреста рублей ассигнациями от казначея титулярного советника Архангельского –*

Получил коллежский
Секретарь Александр Пушкин».

Ниже слева приписка – *400 р.*[1]

Кстати, этот самый казначей канцелярии генерал-губернатора почему-то отсутствует в справочниках о пушкинском окружении, хотя, даже если подходить с формальной стороны, неоднократно выдавал Поэту прогонные и прочие суммы. *Иван Яковлевич Архангельский* в сказанной должности успешно прослужил много лет, впоследствии надворный советник, награжден орденами Св. Станислава III степени, Св. Владимира IV степени, Св. Анны III степени, золотою медалью за ликвидацию чумной эпидемии в Одессе в 1837 году. Оклад его в 1823 году составлял 300 рублей серебром, что соответствовало 1.119 ассигнационным рублям (по курсу 3,73).

Информация о том, что «на саранчу» отправляли исключительно низших чиновников, действительности не соответствует. Саранча была стихийным бедствием, катастрофой для обширного региона, так что в прорыв кидали, невзирая на лица. К слову, в архивном деле, на которое ссылаюсь выше, имеются и две расписки В.И. Туманского, фиксирующие его почти синхронные маршруты: Одесса – Маяки – Овидиополь – Дальницкие хутора – Одесса, Одесса – Севериновка – Созоновка – Одесса.[2]

Софиевская улица

На языке современных риелторов улицу Софиевскую можно было назвать «тихим центром». Лежащая параллельно главной транспортной магистрали, Херсонской, в одном квартале от нее и в двух кварталах от Соборной площади, она и в самом деле была спокойной и тихой. Нечетная сторона и вовсе проходила по приморскому обрыву. Прокладка служившего продолжением этой

улицы Нарышкинского спуска началась лишь в конце 1810-х, однако из-за крутизны пользовались им на порядок менее интенсивно, нежели Херсонским спуском.

В период градоначальства герцога Ришелье здесь постепенно обустроились представители преимущественно нобилитета, а ближе к Пересыпи и Лесной пристани – крупные купцы-лесоторговцы, которые, впрочем, позднее продали свою недвижимость опять-таки аристократам. Первичное устройство тут было не дворовым, а усадебным: приличные двухэтажные барские особняки, службы, магазины, обширные сады. В числе первых фигурантов мы находим дворян Гельфрейта (адъютант Ришелье), Лопухиных, Скаржинских, Турчанинову, Потоцких, Дитерихса, фон Бейера, Кулеша, Козена, Войцицкую, Корнеева, Карпова, Богдановича, Жевахова, Верлейна, Теплова, Черноглазова, Семенова, Селеховых, Акацатову, Мещерских, Елиашевича, Кюрье, Давыдовых, Нарышкиных, купцов-лесоторговцев Католикова, Унтурова и др., архитектора Джованни Фраполли. Правда, некоторые из них в итоге обосновались в других кварталах города (Лопухины, Жевахов, Богданович) либо не застроились вовсе (фон Бейер, Семенов, Кулеш, Теплов, Верлейн, Черноглазов).

Известно, что Пушкин наверняка бывал в этом районе, по крайней мере в доме Давыдовых, где по приезде обосновалась княгиня В.Ф. Вяземская с детьми и прислугой. Вполне вероятно, Поэт мог посещать, скажем, особняки Потоцких, Турчаниновой и вплотную примыкавший ко двору Давыдовых со стороны Елисаветинской улицы дом и участок Вицмана. В то же время дома Давыдовых и Вицмана располагались через дорогу от особняков Потоцких и Турчаниновой.

Дома Давыдовых

Их локализация и атрибуция остается столь же актуальной, как и участков с домами Бларамбергов, об одном из которых речь уже шла, а о другом мы еще будем говорить. Помимо чисто градостроительной проблематики тут значима и мемориальная, связанная с пушкинским окружением и пребыванием Поэта в Одессе.

Первый серьезный исследователь этой проблемы, В.А. Чарнецкий, собрал и проанализировал ряд первоисточников, на основании чего сделал следующее заключение. «В областном архиве, в книге записей утвержденных проектов домов значится, что «проект плана и фасада для постройки дома генеральше Давыдовой на Греческом форштате, в LXXVII квартале, на участках под номерами 801 и 803 выдан 21 июня 1822 года». Речь идет о месте по Софиевской улице, № 14, угол Конной, № 1. В одной из описей числится дело о выдаче открытого листа (свидетельство об окончании постройки дома) Давыдовой на двух листах, но само дело утрачено. Имеется документ, выданный в 1846 году жене подполковника Хоперского (очевидно, купившей этот дом), о выдаче ей проекта фасада магазина на этом месте. В конце документа справка о том, что открытый лист на имеющийся на этом месте дом «был выдан генерал-майорше Давыдовой 17 мая 1824 года». Таким образом, во время приездов Раевских и Давыдовых дом Давыдовой только строился. Вяземская, проживавшая в нем в июне, отзывалась о доме как непригодном для жительства в холодное время года – очевидно, недавно законченный, он был еще сырым».[3]

Дом Давыдовых со стороны улицы Конной. Снимок Натальи Евстратовой, начало 2010-х гг.

Мне удалось разыскать в ГАОО все документы, о которых упоминает Владимир Адамович. В «Книге на записку планов, утвержденных Комитетом» в 1822 году, действительно значится план и фасад дома генеральши Давыдовой на сказанном месте, выданный, правда, не 21, а 19 июня.[4] Нашел и название упомянутого утраченного дела от 28 марта 1824 года «О выдаче открытого листа генеральше Давыдовой на дом в 3-й части.[5] Опять-таки, отыскал и дело 1846 года «О фасаде на магазин полковницы Варвары Хоперской»[6].

Однако реально ход событий развивался не так, как предполагал В.А. Чарнецкий. На самом деле сюжет начался задолго до 1822-1824 годов, и сделанная в это время постройка лишь дополняла уже существующие, причем гораздо более значимые. Еще 7 августа 1816 года генерал-майорша Катерина Давыдова подала в ОСК прошение об отводе мест № 59-60 в VIII квартале Военного форштата. Это участки на углу нынешних улиц Дерибасовской, № 7, и Пушкинской, № 6. Но поскольку места эти были уже давно отданы в приватные руки (уточняю: архаичные строения небезызвестного семейства Железцовых, в августе 1818-го перешедшие к помещице Булацель) и частично застроены, то она попросила два других – как раз тех, о которых мы говорим: № 801 и № 803 в LXXVII квартале Греческого форштата. При этом назначался срок застройки – один год, считая с 1 мая 1817 года.[7]

Официально строительство должно было окончиться 1 мая 1818 года, однако фактически оно продолжалось дольше, что вообще случалось довольно часто: когда ОСК видел, что намерения застройщика серьезны, и работы ведутся качественно, никто особых претензий по соблюдению сроков не предъявлял. Насколько дольше, пока точно сказать нельзя. Но, как мы увидим ниже, дом был готов ранее 1821 года. Что касается некоторых любопытных обстоятельств самого строительства и личности проектанта, мне повезло найти на этот счет замечательный ответ. И возможным это стало по причине давней скандальной истории – конфликта двух градостроителей. Привожу симпатичный архивный документ полностью:

«Получено 12 июля 1818. В Одесский комитет. Архитектуры гезеля (то есть архитекторского помощника. – **О. Г.**) 14 класса (то есть коллежского регистратора. – **О. Г.**) Колесова. Рапорт.

Нескольким жителям города Одесса начертаны мною капитальным зданиям планы, с правилом и красотою гражданской архитектуры, по которым планам и строения производятся, именно госпожи помещицы генерал-майорши Скаржинской тож генерал-майорши Давыдовой, первой гильдии купца и почетного гражданина Кошелева, а многих не упомню; июня месяца 24 числа дан мною план трем жителям, имеющим на новом базаре с колоннадою лавки, чтоб строили с противуположной стороны по другой улице двухэтажное здание, заключающее в себе дворы, по которому плану начали производить строение.

Но господин архитектор Фраполли (Джованни. – **О. Г.**), потребуя от тех жителей план на месте строения, без всякого внимания и не представя к начальству на рассмотрение, разорвал план, хотя от Комитета и не утвержденный, то и тогда я не виноват, что хозяева сделали упущение; таковой его, господина Фраполли, неблагоразумный поступок и противузаконный ни в какой нации терпим быть не может. И я почитаю сие к поношению чести моей, чувствую немалую обиду; представить честь имею на благорассмотрение Комитету, покорнейше прошу обратить внимание и от порока, причиненного мне Фраполли, защитить.

Архитектуры гезель 14 класса Колесов

Июля (число не проставлено, но ясно, что это было незадолго перед 12-м. – **О. Г.**) дня 1818 года».[8]

Чем закончился конфликт, я не знаю, информации пока нет. Здесь важен тот факт, что: а) летом 1818-го сказанные дома активно строятся; б) все они расположены в одном районе, принадлежат известным фигурантам региональной истории; в) все эти здания были довольно значительными, лучшими синхронными постройками в 3-й части города. Об этом говорит и их оценочная стоимость, и доходность в 1821-1823 годах, а отдельно в 1824 году, каковыми сведениями мы располагаем. Так, в первой из этих ведомостей значится полученный от генерала Давыдова налог с недвижимости в сумме 60 рублей.[9] Это – на уровне наиболее солидных домовладений, и к тому же означает, что дом доходный.

В ведомости за 1824 год (взыскание налога с 30 апреля) прямо указана оценочная стоимость дома генеральши Давыдовой – 40.000 рублей, и новая величина налога 80 рублей.[10] Поскольку

Старый флигель дома Давыдовых в глубине двора. Снимок Натальи Евстратовой, начало 2010-х гг.

величина налога с недвижимости оставалась неизменной с 1818 года, это может означать, что оценочная стоимость принадлежавшей Давыдовой недвижимости после достроек 1822-1824 годов увеличилась на четверть. Если взглянуть на план города, составленный архитектором Джорджо Торичелли в 1827-1828 годах, то мы увидим на интересующих нас местах три немалых по тем временам строения. Два из них – на месте № 801, на том, что ближе к середине квартала: одно – в глубине двора, параллельное улице Софиевской, другое – перпендикулярно ей, торцом. На угловом же месте № 803 – еще один флигель, по красной линии улицы Конной, торцом к Софиевской, несколько короче предыдущего.[11] Очевидно, он и построен в последнюю очередь.

Как было сказано, общая стоимость этих домостроений довольно велика. Для сравнения, мы видим в той же ведомости, например, что дворец графа Разумовского на Водяной балке оценен вместе с садом в 42.000 рублей, а дома Бларамберга и графини Потоцкой оценены по 30.000 рублей каждый.[12] То есть дома Давыдовых изначально были двухэтажными.

Из предыдущих выкладок следует, что большая и лучшая часть домостроений Давыдовых по Софиевской улице построена и функционировала по крайней мере в 1821 году, а скорее всего, даже в 1819-1820 годах. И, таким образом, во время приездов Раевских и Давыдовых в Одессу они вполне могли ими пользоваться, а Пушкин – посещать во все время своего пребывания в городе не только в 1823-1824 годах, но и ранее.[13]

Сегодня из трех сказанных строений сохранилось два: первичный дворовой флигель и тот дом, что был окончен постройкой весной 1824-го. Этот последний позднее достроен в направлении Елисаветинской улицы: с фасада оба строения сливаются, но во дворе причленяются уступом, ибо достройка шире. Есть информация о дальнейшей эволюции этой недвижимости.

9 июля 1830 года в муниципальной газете «Одесский вестник» помещено следующее объявление от Одесского коммерческого суда: «…на удовлетворение Киевского Приказа общественного призрения и частных лиц продается дом полковника Василия (Львовича. – **О. Г.**) Давыдова – 3 ч., Греческий форштат, 77 квартал, № 801 и 803, с принадлежащими к нему строениями и землею,

Фрагмент плана Одессы. 1828 г. Архитектор Джорджо Торичелли

оцененный в 12.500 рублей ассигнациями. Последний торг 9-го, а переторжка 10 июля».[14] Единственное, что здесь удивляет, это низкая оценка домостроений, каковые всего шестью годами ранее оценивались, как мы видели, в 40.000. А поскольку трудно предположить, что они могли так быстро обветшать, остается предположить, не подверглись ли они пожару. Впрочем, нельзя уж вовсе исключить и продажи строений по частям.

Дата перестройки бывшего дома Давыдовых бароном Александром Стуартом
Снимок Натальи Евстратовой, начало 2010-х гг.

О дальнейшей судьбе строений и мест отчасти говорилось выше: в 1846 году ОСК утвердил фасад на магазин полковницы Варвары Хоперской, позднее встроенный меж существующими флигелями по красной линии Софиевской улицы. Когда именно? Пока можно сказать, что постройка окончена не ранее 1848-го, ибо в оценочной ведомости одесской недвижимости на этот год она еще не значится.[15] Еще одна перестройка зданий, изначально принадлежавших Давыдовым, относится к 1873 году, о чем сообщает лепнина на аттике фасадного флигеля (см. фото). В это время прежний магазин был перестроен в жилой дом тогдашним владельцем – муниципальным деятелем бароном Александром Стуартом.[16]

Этот мемориальный адрес – улица Софиевская, № 14, – внесен в проект «Пушкинский маршрут» международного ежегодного поэтического фестиваля «Пушкинская осень в Одессе». На нем, как и на ряде других объектов, связанных с пребыванием Поэта (дома Кирьякова, Бларамберга, де Рибаса, Кошелева и др.), намечено установить памятный знак.

Иоганн Вицман

Иван Иванович (*Иоганн Христиан*) *Вицман* (*Витцман*), – один из первых исследователей бальнеологических характеристик одесских лиманов и автор монографии по этой проблематике (1835): на основании пятнадцатилетнего опыта он, в частности, описал и попытался объяснить эффект свечения воды, способы грязелечения и др. Этим, собственно говоря, практически исчерпывается доступная широкому кругу читателей информация о Вицмане.

Не хочется прибегать к назидательности, но насколько же мы все-таки ленивы и нелюбопытны, и притом на каждом шагу горделиво бьем себя в грудь и клянемся в вечной бескорыстной любви к Одессе и нашим достойным предшественникам. Да ни хрена мы не знаем, и знать не хотим, в чем нетрудно убедиться хотя бы вот на этом конкретном примере.

И.И. Вицман – военный врач, служил полевым генерал-штаб-доктором (в гражданском чине надворного советника) во 2-й Западной армии под началом генерал-майора графа Э.Ф. Сен-При (начальника главного штаба; о нем бы нужен разговор особый). Участвовал во многих горячих делах, в том числе под Бородино, имел высочайшие награды. По армии он состоял и ранее, ибо сохранилось медицинское свидетельство, подписанное им, тогда коллежским асессором, 29 ноября 1809 года, и выданное полковнику князю Б.А. Четвертинскому, брату небезызвестной фаворитки императора Александра Павловича, М.А. Нарышкиной, командиру эскадрона лейб-гвардии гусарского полка. К слову, Четвертинский тоже связан с Одессой.

В 1813 году Вицман управлял военно-временными госпиталями в Калужской, Тульской и Орловской губерниях. Условия в госпиталях – Калужском, Козельском, Белевском, Одоевском, Орловском и Мценском – тогда сложились суровые: эпидемии, скученность раненых, дефицит персонала, медикаментов, продовольствия, и это приводило к росту смертности. В то время Вицман, между прочим, вел переписку с начальством, ходатайствуя об использовании пленных врачей, прежде всего, немцев и поляков, в военных госпиталях после сдачи соответствующих

экзаменов. Это предложение нашло поддержку. Показательно, что именно И.И. Вицман, прикомандированный к военному госпиталю в Галле, свидетельствует о ранах и смерти Кутузова от инсульта в апреле того же года в Медицинский департамент Военного министерства. Мало того, Вицмана воспел сам В.А. Жуковский в стихотворении «К Кавелину» (1814):

Кавелин! друг, поэт, директор
И медиков протектор,
Я с просьбою к тебе!
Угодно было так судьбе,
Чтоб я в Орле узнал Гаспари.
Природа не дала ему той важной хари,
С какою доктора
Одной чертой пера
Подписывают нам патенты на могилу!
Нет! доктор – Антиной!
Как ртуть живой.
И смерть с ним потеряла силу.
За то, что он в Орле
С известным генерал-штаб-доктором Вицманом
В военном заседал гошпитале,
И докторским своим фирманом
Над ним всех древних прав навеки смерть лишил;
За то, что не дал он потачки
Вербовщикам ее сестры – гнилой горячки…

Даже доблестные специалисты в области литературного краеведения не заметили столь замечательного человека, прожившего в Одессе много лет и проявившего себя на разных поприщах. Что до врача Гаспари, то он вместе с Вицманом боролся с эпидемией тифа в Орле, за что был представлен к ордену Святой Анны II степени, о получении каковой награды и хлопотал Жуковский; поневоле вспомнишь доброго доктора Гаспара из «Трех толстяков». Кстати, во время наполеоновского вторжения Иоганн Гаспари служил во врачебной управе Херсона, имея чин коллежского асессора, и наверняка бывал в Одессе. В том же 1814 году Василий

Андреевич еще раз упоминает о Вицмане, правда, иронически, в шуточном стихотворении, адресованном любимой крестнице Сашеньке Протасовой, каковую, как в ту пору принято было говорить, пользовал наш доктор.

Сослуживцами Вицмана по 2-й Западной армии были многие будущие видные одесситы и их родственники: Сен-При, Левенстерн, Дембровский, Ферстер, Маевский, братья Лесли. Так что после окончания военных походов Вицман, как и некоторые другие, осел в Одессе – не позднее 1817 года. В то время он вступил в масонскую ложу «Понт Эвксинский».[17] В ее состав входили многие влиятельные лица, начиная с градоначальника и военного губернатора графа Ланжерона, руководителя этой ложи. Можно начать с военных – одесского коменданта, весьма заслуженного воина Силина, командира одесского артиллерийского гарнизона Облеухова, адъютантов Ланжерона Волконского, Дункеля, Флуки, затем офицеров Вегелина, Мейера и др., полицмейстера Достанича, капитана 2-го ранга Телесницкого.

В ложе состояли профессора Ришельевского лицея Пиллер, Виард и др., врачи Стуббе, Эпитес, Камоэн и др., чиновники Неженец, Шмидт (фармацевт), Голиков, Гибаль (один из первых одесских журналистов), Шааль (архитектор), Гельмерсен (военный инженер), Десмет (знаменитый садовод), негоцианты Кортацци, Ксенис, Гогель, Андре (гофмаклер одесской биржи), Пасто (биржевой маклер), Коллен (один из первых книготорговцев и содержателей частных библиотек), Вальб (крупный строительный подрядчик), Этлингер, Гаторно и др. Официально деятельность масонских лож прекращена в январе 1822 года, и с тех пор все государственные служащие подтверждали неучастие в каких-либо тайных обществах стандартной распиской.

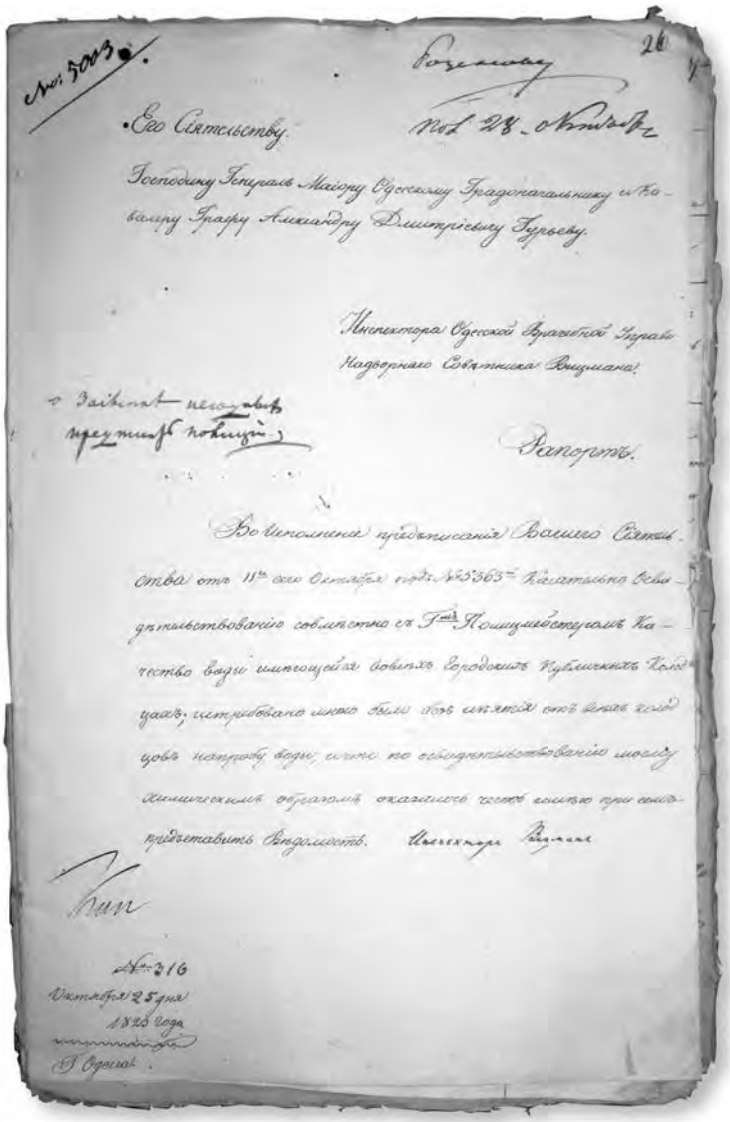
Свою гражданскую службу в Одессе Вицман начал товарищем инспектора портового карантина в чине надворного советника, имея к тому времени ордена Святой Анны II и Святого Владимира IV класса.[18] В первой половине 1820-х Вицман служил (до 1826-го) первым инспектором, то есть руководителем, Одесской врачебной управы, высочайше учрежденной 25 октября 1820 года; эта институция имела право действовать независимо от таковой же губернской управы. Инспектору назначался довольно приличный

оклад 1.500 рублей в год. Ему подчинялись доктор (штаб-лекарь), городской врач и письмоводитель. Трудно даже перечислить функции Врачебной управы в городе, находившемся в поистине адовом эпидемиологическом котле, да еще близ театра военных действий. Проиллюстрирую эту сторону деятельности Вицмана следующим примером.

Испытывавшая острейший дефицит в питьевой воде, Одесса пользовалась не только подземными водами, но и колодцами, о чем мало кто знает. На самом первом этапе существования города граждане рыли их в складчину. Если колодцы копали не в балках, а на высоком Одесском плато, дело было трудоемкое, дорогое, поскольку глубина залегания водоносных горизонтов порой превышала 40 метров. Герцог Ришелье постановил употреблять на водоснабжение таможенный сбор, и таким образом поддерживалась исправность общественных колодцев. Однако контролем состава и качества колодезных вод по-настоящему занялся лишь Вицман – по распоряжению одесского градоначальника графа А.Д. Гурьева. До нас даже дошла ведомость пробам воды, отобранным из 13 общественных колодцев в пушкинское время. Кроме всего прочего, это удивительный научный документ для нынешних гидрогеологов и экологов. В том эпизоде Вицман работал вместе с такими известными фигурантами региональной истории, как военные инженеры Гаюи и Круг, полицмейстер Василевский. Сохранились архивные документы 1823-1824 гг., отражающие эту работу.[19]

Разумеется, Иван Иванович занимался и частной практикой, поскольку был не просто дипломированным доктором медицины и хирургии, но полевым военным хирургом с огромным практическим опытом. Можно уверенно говорить о том, что большинство обосновавшихся в Одессе военных и их семей были его пациентами. Что касается медицинского образования Вицмана, он получил его в старинном университете (1665) города Дуйсбурга, близ Дюссельдорфа, в земле Северный Рейн – Вестфалия.

И тут возьму на себя смелость сделать одно предположение. В ряде архивных документов имя супруги Вицмана записано не только в форме Роза, но и Рейза, что не может интерпретироваться иначе, как указание на ее еврейское происхождение.



№ 5003.

Розенкову

26

Его Сіятельству

Пол. 28 Октября

Господину Генералъ Маіору Одесскому Градоначальнику и Кавалеру Графу Александру Дмитріевичу Гурьеву.

Инспектора Одесской Врачебной Управы Надворнаго Совѣтника Вицмана.

о Заявленіи негодованія предъ [illegible] полиціи

Рапортъ.

Во исполненіе предписанія Вашего Сіятельства отъ 11го сего Октября подъ № 5363 касательно освидѣтельствованію совмѣстно съ Г-мъ Полицмейстеромъ качество воды имѣющейся во всѣхъ Городскихъ Публичныхъ Колодцахъ, истребовано мною было безъ изъятія отъ всѣхъ колодцовъ на пробу воды, и что по освидѣтельствованію моему химическимъ образомъ оказалось честь имѣю при семъ представить Вѣдомость. Инспекторъ Вицманъ

Кип

№ 316

Октября 25 дня 1823 года

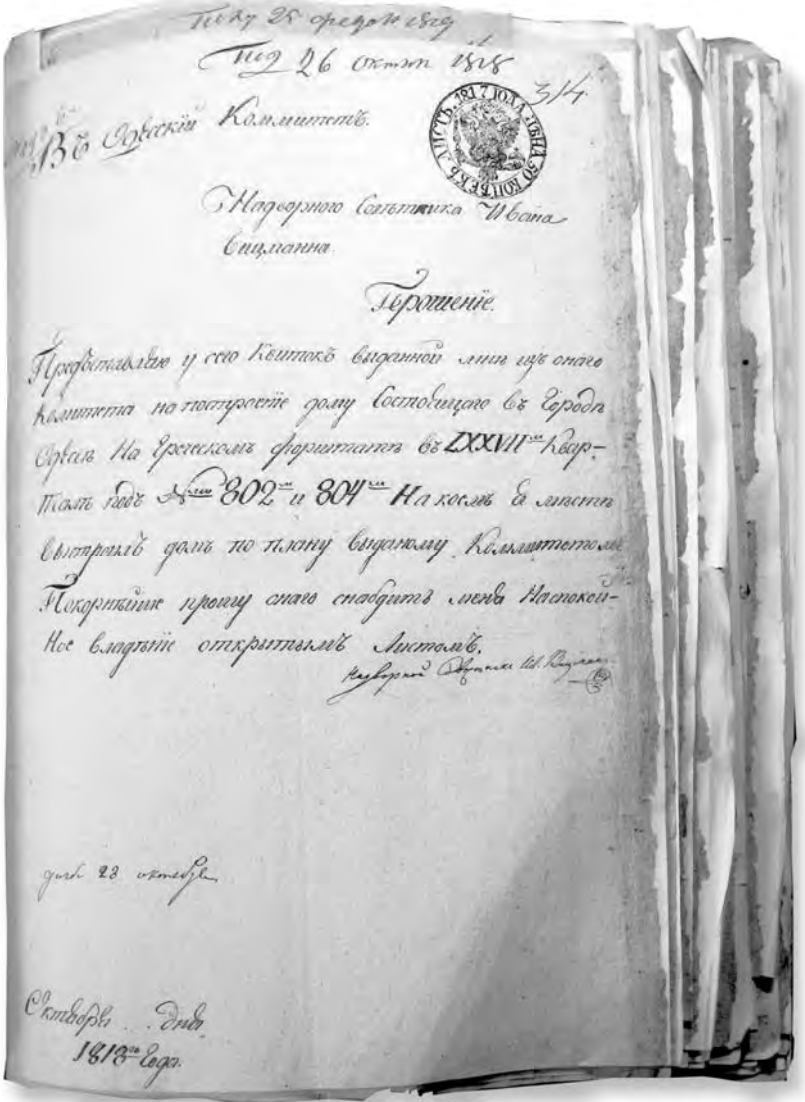
Г. Одесса.

Рапорт инспектора Врачебной управы Вицмана градоначальнику графу Гурьеву относительно исследования качества воды в городских колодцах от 25 октября 1823 г.

Но тогда, не исключено, и сам Иван Иванович – из выкрестов. Еще в начале прошлого столетия немецкие исследователи свидетельствовали: в университете Дуйсбурга обучалось медицине множество евреев из рейнских городов, а в самом городе еврейская община существовала еще в XVII веке. В этом смысле показательно второе имя Вицмана, Христиан, которое теоретически могло быть получено при крещении. Впрочем, это всего лишь мое предположение. А вот насчет супруги, по-моему, можно говорить более определенно. Сохранившиеся метрические записи, кстати, фиксируют единичные бракосочетания лютеран с иудейками в Одессе, разумеется, после их крещения.

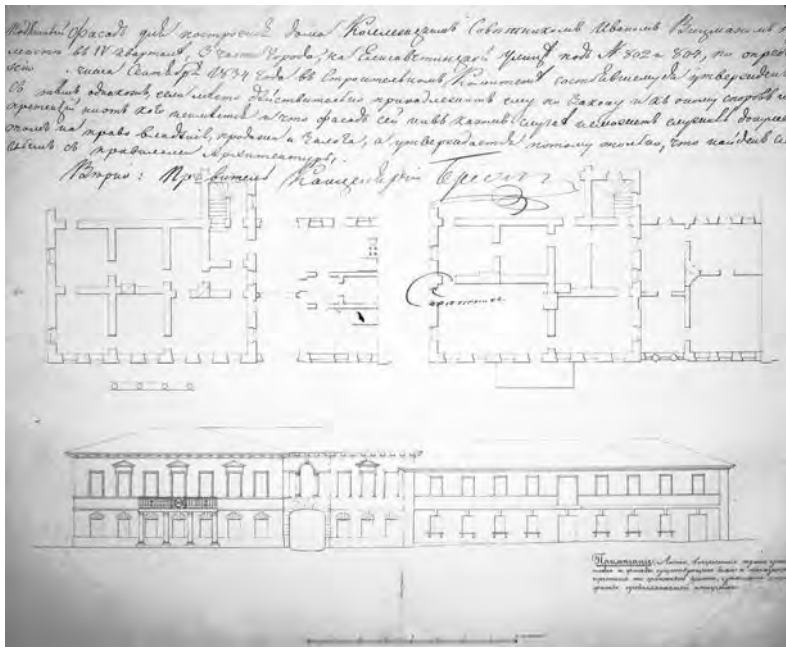
Представляю тут очень славный, в том числе в смысле каллиграфии профессионального писца, документ, подписанный Вицманом в октябре 1818 года. В нем он сообщает Одесскому строительному комитету о том, что застроил по выданному плану два отведенных ему места, под № 802 и 804 в LXXVII квартале Греческого форштата.[20] Это половина квартала нечетной стороны нынешней улицы Щепкина (Елисаветинской), от Конной в направлении Торговой. В настоящее время, по счастью, сохранилась значительная часть исторической застройки – левый фасадный флигель под № 1. В реестре объектов культурного наследия он почему-то датирован 1824 годом, хотя, как мы увидим ниже, сохранившимся планом 1834 года намечена лишь достройка к уже существовавшему с 1819-го солидному плановому.

Согласно архивным документам, Вицман получил места под застройку 3 января 1818 года и, располагая всеми необходимыми ресурсами, сумел окончить работы в течение одного строительного сезона, весной-осенью 1818-го. К слову, были и другие соискатели этих мест, но получил их Вицман. В начале следующего года архитектор Александр Дигби доложил Комитету о том, что застройщик превосходно справился со своими обязательствами. Подобное случалось нечасто, то есть подчеркнуто позитивная оценка контролирующего зодчего, напротив, чаще они отмечали отдельные недоработки или несоответствия проекту. Не исключаю поэтому, что проект составил сам контролер. Так или иначе, а 28 февраля 1819 года Вицман получил владельческие документы.[21]



Прошение надворного советника Ивана Вицмана о получении владельческих документов на выстроенный дом. Подано 26 октября 1818 г.

В 1823 году комплекс домостроений прошел тщательную процедуру оценки – с тем чтобы мог служить залогом по масштабным казенным подрядам.[22] Во второй половине 1824-го вся эта недвижимость Вицмана, получившая оценку 100.000 рублей в несгораемых материалах (!), уже находилась в залоге по подрядам на поставку продовольствия во 2-ю армию,[23] которой тогда временно командовал знаменитый генерал от инфантерии И.В. Сабанеев, командир 6-го корпуса этой армии. И снова мы видим очевидную связь «отставного» генерал-штаб-доктора с его армейскими товарищами, причем, так сказать, с одесским акцентом. Помимо того, что недвижимость Вицмана находилась в залоге, она сдавалась в аренду, скажем, большой магазин, то есть хлебный амбар, и давала неплохой годовой доход.[24]



План достройки дома Вицмана. Архитектор И.С. Козлов, 1834 г.

Помимо беспокойной службы и обширной частной практики Вицман серьезно занимался наукой, как было сказано, изучал лиманы, а с 1822 года состоял корреспондентом Медицинского совета Медико-хирургической академии. Примерно в конце 1820-х ему пришлось опробовать изучаемое грязелечение на себе: он перенес болезнь, когда-то убившую его высокого начальника Кутузова, – инсульт. Был он тогда еще нестарым человеком, около 50-ти лет, и сказанное самолечение помогло. Тогда Вицман стал пропагандировать лиманную бальнеологию – сперва в периодике, а затем и в монографии.

К сожалению, точная дата кончины нашего героя мне пока неизвестна. Ранее 1832 года он уже имел чин коллежского советника, в 1834-м осуществил некоторые мероприятия по перестройке своих домов, согласно проекту выдающегося архитектора Ивана Козлова (чертеж прилагается)[25], а годом позднее издал книжку о целебных свойствах одесских лиманов. Не позже 1832-го доктор владел и еще одним домом – в 1-м полицейском квартале 2-й части города.[26] Из архивных документов видно, что в начале марта 1838 года его супруга, тогда уже вдова, переоформляет владельческие документы на принадлежащий им в Одессе хутор.[27] Она же, коллежская советница Рейза Вицман, и снова по тому же поводу фигурирует в архивном деле 1841 года.[28] Хутор был куплен Вицманом еще летом 1820-го.[29]

Около середины 1840-х годов дом Вицмана перешел во владение купца первой гильдии Андрея Эрлаха (Эрлака). В 1848 году «дом и три магазина купца Эрлака» оценены в 17.600 рублей серебром, а в 1855 году – 19.090.[30] В 1860-х и позднее принадлежал еще одному крупному коммерсанту, тоже купцу первой гильдии, турецкому консулу в Одессе – Рафаилу Хаве,[31] солидному хлеботорговцу. Известный бытописатель А.М. де Рибас вспоминает, как в начале 1860-х его семейство квартировало в дворовом флигеле этого дома, и как их донимала пшеничная пыль из упоминавшегося выше хлебного магазина (амбара), да и огромные воинственные крысы. Впоследствии, вплоть до самой революции, хозяевами дома были опять-таки крупнейшие предприниматели – представители известного греческого купеческого рода Вучина.

Вицман был прихожанином лютеранского храма, но на этот счет я не располагаю синхронными метрическими записями. Есть лишь более поздние, в которых фиксируется кончина Катарины Вицман (30.08.1829 – 10.10.1877) – очень похоже, его незамужней дочери. Во всяком случае, имя отца указано как Христиан, что соответствует аутентичному Иоганн-Христиан. Зато Вицман упоминается в одной из метрических книг Соборной церкви – как восприемник при крещении сына небезызвестного канатчика, будущего городского головы Якова Новикова, Иоанна, 3 января 1824 года.[32] Кто знает, что их связывало… Они были ровесниками. Возможно, Вицману как хирургу обязана роженица.

Круг общения его был очень широк. Трудно представить себе, что пути Вицмана не пересекались и с одесскими маршрутами коллежского секретаря Пушкина, тем более – при столь значительном числе общих знакомых и упомянутом соседстве недвижимости доктора и Давыдовых.

Примечания

[1] ГАОО, ф. 1, оп. 248, д. 411, л. 102 (194).

[2] Там же, л. 116, 117, 127.

[3] В.А. Чарнецкий. Древних стен негласное звучанье… – Одесса: Друк, 2001, с. 69.

[4] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 11, л. 4 об.

[5] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 358. – 2 л. Утрачено.

[6] Там же, оп. 2, д. 940. – 3 л.

[7] Там же, оп. 1, д. 96, л. 515-516.

[8] Там же, оп. 1, д. 127, л. 202.

[9] Там же, ф. 4, оп. 1А, д. 133, № 414.

[10] Там же, д. 215, № 160 (ч. 3 и 4).

[11] РГВИА, ф. 846, оп. 16, д. 22278, л. 1; ОГИКМ, инв. № К-584.

[12] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 133. – 48 л.

[13] Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина: 1799-1826. – Ленинград: Наука, 1991. – 786 с.

[14] Одесский вестник – 1830, 9 июля, № 55.

[15] Список домам и домовладельцам, состоящим в 3-й части города Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке. – Б. м., б. г., с. 33.

[16] К. Висковский. Путеводитель по городу Одессе. – Одесса, 1875, с. 55.

[17] А.И. Серков. Русское масонство: 1731–2000. Энциклопедический словарь. – М: РОССПЭН. – 2001, с. 186.

[18] Месяцеслов с росписью чиновных особ, или Общий штат российской империи на лето от Р. Х. 1820. – Ч. 2, с. 251.

[19] ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 260. – 92 л.

[20] Там же, ф. 59, оп. 1, ч. 1, л. 171, 172, 173.

[21] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 275, л. 157.

[22] Там же, д. 284, л. 583 об. – 584.

[23] Там же, д. 287, л. 331 об.

[24] Там же, ф. 4, оп. – 1А, д. 133, № 410; Там же, д. 215, в 3-й части, № 157.

[25] ОГИКМ, инвентарный № К-104.

[26] ГАОО, ф. 4, оп. 8, д. 942, № 95.

[27] Там же, ф. 59, оп. 3, д. 296. – 6 л.

[28] Там же, д. 370. – 4 л.

[29] Там же, д. 22. – 22 л.

[30] Список домам и прочим строениям, состоящим в I-IV частях города Одессы, оцененным для платежа полупроцентного сбора с 1848 года, подлежащим и не подлежащим оценке. – Б. м., б. г., с. 33; То же на 1855 год, ч. 3. № 149.

[31] ГАОО, ф. 274, оп. 1, д. 2, л. 33; К. Висковский. Путеводитель по Одессе. – Одесса. 1875, с. 56.

[32] ГАОО, ф. 37, оп. 6, д. 3, л. 100.

Продолжение следует

Константин Васильев, Елена Васильева

Испанка в Одессе

Грипп 1918-1920 годов, который тогда у нас также называли инфлюэнцей (инфлуэнцей), вошел в историю под названием испанки, испанской болезни, или испанского гриппа.

Большинство исследователей считают, что пандемия гриппа возникла в США, которые сохраняли нейтралитет в первые годы Первой мировой войны (то есть в 1914-1917 годах) и только в 1917 году вступили в войну на стороне стран Антанты (Россия, Великобритания, Франция); с октября этого года американские войска воевали на Западном фронте, а с июля 1918 года на Итальянском фронте. Таким образом американские солдаты привезли испанку в Европу. Во Франции работали тысячи испанцев, которые, вернувшись на родину, распространили ее по Испании, а так как Испания не участвовала в Первой мировой войне, цензура была относительно либеральная, и именно на страницах испанских газет впервые была опубликована информация об этой эпидемии гриппа. Отсюда и появился новый термин – испанская болезнь, испанка.

Пандемия испанки 1918-1920 годов имела три волны. Первые две волны были в 1918 году (первая и вторая половина года соответственно), а третья в первой половине 1919 года. Наглядно три волны пандемии испанки представлены на рисунке 1.

Считается, что в Украине пандемия испанки обнаружилась во время второй волны,[1] и что в пределы Украины ее занесли оккупационные немецкие войска. Появление испанского гриппа в Одессе заставило Общество одесских врачей провести специальное заседание, посвященное этой болезни. Оно состоялось 22 сентября 1918 года. Открыл заседание общества его пред-

седатель Я.Ю. Бардах. Он указал на то, что настоящая эпидемия гораздо тяжелее эпидемии гриппа 1889-1890 годов, свидетелем которой он был 30 лет назад, когда общественные и учебные заведения пустовали из-за массовых заболеваний инфлюэнцей.

После этого был доклад доктора В.Д. Зеленского, который представил краткий обзор 73 случаев испанского гриппа, наблюдавшихся им в Еврейской больнице (ныне Городская клиническая больница № 1). Больные с гриппом туда стали поступать в большом количестве «сейчас же после происходивших в районе Бугаевки взрывов, заставивших целые массы населения провести несколько ночей под открытым небом при плохих условиях питания». Выходит, что в «большом количестве» больные с испанским гриппом начали госпитализироваться в первых числах сентября 1918 года, так как известно, что взрыв артиллерийских складов, повлекший разрушение зданий на Бугаевке, в Слободке-Романовке, в Дальницком районе и у станции Одесса-Застава, произошел в Одессе 31 августа 1918 года. По данным доктора Зеленского, большинство больных (до 60%) были в возрасте от 20 до 30 лет. В 41 случае, то есть у 56% всех больных гриппом, были осложнения воспалением легких (пневмонией).

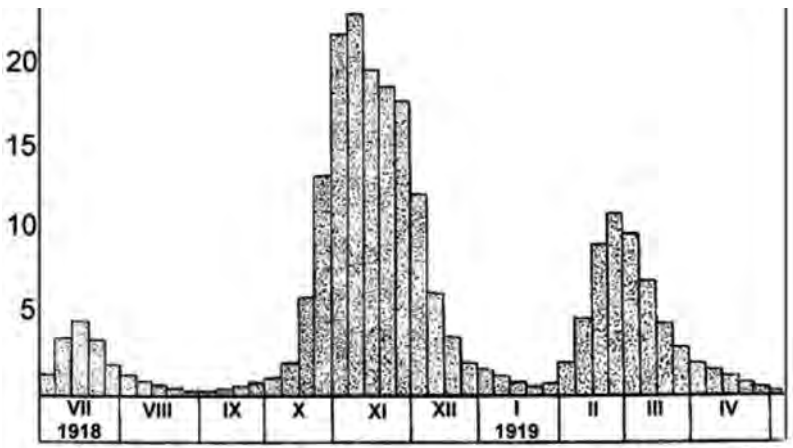


Рис. 1. Смертность от испанки в Англии в 1918-1919 гг. (В.М. Жданов с соавт., 1958)

В прениях Я.М. Раймистр рассказал о случае «фамильного иммунитета» при испанском гриппе; М.Н. Нейдинг – об особом действии «яда гриппа» на висцеральную нервную систему; К.М. Юзефович – о межмышечной флегмоне как осложнении гриппа. И, наконец, Л.Б. Бухштаб отметил, что, по его наблюдениям, еще долго после болезни остаются явления «сердечной слабости».[2]

Медицинское общество при Новороссийском университете также рассмотрело вопрос об испанской болезни. 23 ноября 1918 года на заседании этого общества, проходившем под председательствованием профессора А.К. Медведева, было заслушано сообщение докторов И.К. Хмелевского и И.М. Миркина «Эпидемия гриппа и гриппозной пневмонии по данным Новой городской больницы». Докладчики разработали клинический материал, касающийся 746 больных, бывших под их наблюдением в Новой городской больнице (ныне Городская клиническая больница № 11). Больничная летальность, то есть доля умерших от всех госпитализированных больных испанкой, для всех больных с гриппом (в том числе с гриппом, осложнившимся пневмонией) составила 11,5%, а у тех из них, у которых на фоне гриппа развилась пневмония, – 44%. В прениях участвовали: петроградский профессор Г.Ю. Явейн, бежавший от большевиков на юг распадавшейся страны; одесские профессора А.К. Медведев и А.Э. Янишевский; доценты В.К. Стефанский и М.Б. Зиле; приват-доцент М.М. Тизенгаузен; помощник прозектора Новой городской больницы М.А. Мисиков.[3]

В 1927 году, к 25-летнему юбилею Одесской окружной больницы (в ту эпоху так называлась Новая городская больница), был издан сборник, в котором помещены краткие сведения о движении больных за 25 лет, и в том числе приведены данные по гриппу. В больнице под диагнозом «грипп» (influenza) всегда проходило в среднем за год около 800 больных, либо не дававших вовсе больничной летальности (ряд лет), либо дававших больничную летальность в пределах 0,2-0,5%. Так, в 1916 году через больницу прошло 1152 больных гриппом с больничной летальностью 0%; а в 1918 году – 1750 больных с больничной летальностью 8,45%; в 1919 году – 807 больных, давших больничную летальность 6,8%.[4]

На 1919 год, когда в Новой городской больнице больничная летальность от испанки составила 6,8%, приходится третья волна пандемии этой болезни. Как раз в начале этого года в Одессу прибыла писательница Тэффи. Ее невольное путешествие началось в Москве, откуда она приехала в Киев, но 5 февраля 1919 года после трехдневных боев Красная армия вступила в город, а еще до этого все, кто мог, подались дальше на юг. Так известная писательница оказалась в нашем городе, но ей нужно было где-то жить. Позднее она напишет:

«Вспомнила свои поиски в Одессе. <…> там была свирепая «испанка». Кто-то снабдил меня в Киеве письмом к одному одесскому инженеру, который обещал предоставить мне комнату в своей квартире.

Тотчас по приезде пошла по указанному адресу. Звонила долго. Наконец дверь чуть-чуть приоткрылась, и кто-то шепотом спросил, что мне нужно. Я протянула письмо и сказала, в чем дело. Тогда дверь приоткрылась пошире, и я увидела несчастное изнуренное лицо пожилого человека. Это был тот самый инженер.

– Я не могу вас впустить в свою квартиру, – все так же шепотом сказал он. – Место у меня есть, но поймите: пять дней тому назад я похоронил жену и двоих сыновей. Сейчас умирает мой третий сын. Последний. Я совсем один в квартире. Я даже руку не смею вам протянуть – может быть, я уже заражен тоже. Нет, в этот дом входить нельзя.

Да. Там (то есть в Одессе. – **Авт.**) была «испанка».[5]

Так Тэффи запомнилась третья волна испанской болезни в Одессе.

Вернемся в 1918 год. В Новой городской больнице проводились научные совещания врачей, и в период пандемии испанки на одном из заседаний был зачитан доклад Л.Ф. Дмитренко «К эпидемии гриппа 1918 года», содержание которого, увы, не сохранилось,[6] а вот о демонстрации доктором Г.Л. Бисти больного с поражением нервной системы на почве заболевания испанским гриппом известно больше. Эта демонстрация состоялась 21 ноября 1918 года на заседании научного совещания врачей при клинике нервных болезней Новороссийского университета, которое проходило под председательствованием

профессора А.Э. Янишевского. Демонстрируемый докладчиком больной был интересен в том отношении, что поражение нервной системы развилось у него во время болезни испанкой. Началось заболевание с общей слабости, повышения температуры; так продолжалось 4-5 дней. На 5-й день появились хрипы в левом легком. В ночь с 5 на 6 октября 1918 года развилась правосторонняя гемиплегия с афазией (то есть паралич мышц правой половины тела с нарушением речи), после чего больной был доставлен в клинику, где у него была обнаружена и атрофия зрительного нерва.

Тогда же, в 1918 году, по свежим следам уже начавшейся второй волны пандемии испанки в издававшемся в Одессе Российским обществом Красного Креста журнале «Медико-санитарный сборник» были опубликованы две статьи, посвященные испанскому гриппу. Это работы старшего врача Старой городской больницы и заведующего Одесской бактериологической станцией им. И.И. Мечникова доцента В.К. Стефанского о клинике и бактериологии испанской болезни и заведующего патологоанатомическим кабинетом той же больницы приват-доцента М.М. Тизенгаузена о патологической анатомии пандемического гриппа.

Рис. 3. Обложка отдельного оттиска статьи В.К. Стефанского об испанке 1918 года из «Медико-санитарного сборника» Архив К.К. Васильева

Вячеслав Карлович Стефанский, который тогда возглавлял Старую городскую больницу (ныне Одесская клиническая инфекционная больница), а в 1921 году организовал первую кафедру инфекционных болезней в Украине, обобщил данные по госпитализированной заболеваемости испанской болезнью.

Автор указал, что первые случаи «инфлуэнции» появились в Старой городской больнице еще в мае 1918 года – 119 больных; максимум был в сентябре – 716, и октябре – 618; затем в ноябре эпидемическая вспышка начала ослабевать. Всего с мая и до половины ноября в больнице было больных «инфлуэнцей» 2216 человек, из которых 679 имели осложнения пневмонией; из 679 больных умерло всего 192 человека (больничная летальность при гриппозной пневмонии – 28%), а в целом больничная летальность при гриппе составила 8,7%. В.К. Стефанский уточнял, что действительная больничная летальность при испанке, которая осложнилась пневмонией, была не 28%, а «значительно выше», так как в статистику не вошли больные, скончавшиеся уже спустя несколько часов после поступления в больницу, причем диагноз пневмонии у них установлен был только на секции. (Надо считать, что этим объясняется то, что В.К. Стефанский говорит о всего 192 умерших, а больничный прозектор М.М. Тизенгаузен только за четыре месяца о 271, см. ниже.) Кроме того, в статистику умерших от «инфлуэнции» не попали больные, у которых испанка развилась в качестве осложнения других заболеваний, таких как туберкулез, брюшной тиф, дизентерия, аборт и др.

Рис. 2. В.К. Стефанский, 1915 г.
Архив К.К. Васильева

В тех случаях, когда испанка осложнялась пневмонией, течение болезни заметно ухудшалось. Диагноз еще больше выяснялся, если появлялась кровянистая мокрота, столь характерная для «гриппозной геморрагической пневмонии», иногда у больных наблюдались даже довольно обильные кровохарканья; мокрота никогда не давала того ржавого оттенка, который наблюдается

при крупозной пневмонии. Гриппозные поражения легких характеризовались тем, что они обыкновенно были двухсторонними и в короткое время захватывали обширные участки легких.

«Гриппозная пневмония» представляла еще ту особенность, что она развивалась по преимуществу в возрасте от 16 до 30 лет и именно в этом возрасте давала наибольшую летальность. Иногда, несмотря на небольшие размеры легочного поражения, бросалась в глаза сильная одышка, часто сопровождающаяся явлениями резкого цианоза; число дыханий было «необыкновенно» учащенно, больные жаловались на чувство «задушения»; наблюдались возбуждение, бессонница, беспокойство, тоска, прострация.[7]

Рис. 4. М.М. Тизенгаузен.
Фотография на вкладном листе в № 1-6
«Одесского медицинского журнала» за 1927 г.

Большой интерес представляет и сообщение барона Михаила Михайловича фон Тизенгаузена, который, впрочем, давал свою фамилию без приставки «фон» и без дворянского титула «барон». Он писал, что пандемия испанки в Одессе «с особой силой разразилась в конце лета». За четыре месяца в Старой городской больнице от этой болезни умер 271 человек: в августе – 5, в сентябре – 62, октябре – 115, и ноябре – 89. Все 271 умерли от пневмонии; 82 из них были вскрыты автором статьи. При вскрытии во всех без исключения случаях в легких были найдены изменения, носившие «совершенно особенный, вполне типичный для настоящей пандемии характер геморрагической бронхопневмонии». Прозектор Тизенгаузен проанализировал

количество смертных случаев в Старой городской больнице от пневмонии за ряд лет.

Оказывается, что в больнице за 6 лет – 1912-1917 годы – от пневмонии умерло 248 человек (среднегодовое число умерших составило 41,3), то есть меньше, чем за три месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь) 1918 г., – 266. В эти три месяца абсолютное число умерших от пневмонии было выше в 27-34-25 раз соответственно, чем в среднем за те же месяцы за шесть предшествующих лет. По данным М.М. Тизенгаузена, большинство умерших от пневмонии были молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет: из 271 скончавшегося с августа по ноябрь 1918 г. – 138 (51%) были именно в этом возрасте.

Таким образом, его данные соответствовали материалам В.К. Стефанского, который писал, что испанка осложнялась пневмонией преимущественно у больных в возрасте от 16 до 30 лет и именно в этом возрасте давала наибольшую летальность у госпитализированных (см. выше), а также наблюдениям многочисленных авторов во всем мире. Диаграмма смертности по возрасту от гриппа обычно имела U-образный вид, а смертность от испанки следовала распределению в форме буквы «W» (см. рисунок 5).

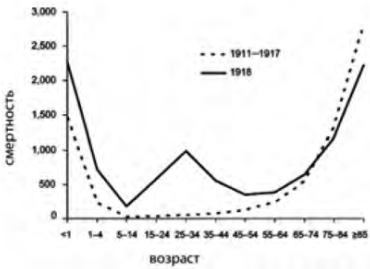


Рис. 5. Смертность от гриппа по возрасту (на 100 000 соответствующего населения). Сплошная линия – испанский грипп, пунктирная – средняя смертность от гриппа в 1911-1917 гг. Рисунок из Интернета: https://dralexandra.livejournal.com/384972.html

Для сравнения даем столбиковую диаграмму повозрастных данных по смертности при нынешней пандемии Ковида-19 (см. рисунок 6). Мы видим, что, в отличие от испанки, при которой

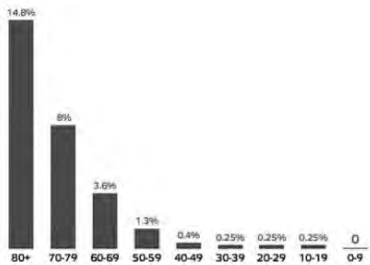


Рис. 6. В каком возрасте чаще умирают от коронавируса. Рисунок из Интернета: https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5689937,00.html

была высока смертность в возрасте 15-34 года, при новой коронавирусной инфекции умирают в основном пожилые люди, и чем возраст их больше, тем больше для них вероятность умереть.

М.М. Тизенгаузен указывал, что пневмония является постоянной анатомической находкой в случае смерти от пандемического гриппа; в неосложненных случаях изменения в других органах бывают исключительно токсического характера; пневмония представляет собой настолько характерную патологоанатомическую форму, что при вскрытии ее всегда можно отличить от других видов воспаления легких.[8]

Итак, по данным В.К. Стефанского, первые случаи испанского гриппа появились в Одессе еще в мае 1918 года, а на осень пришелся подъем в заболеваемости этой болезнью, что противоречит устоявшемуся мнению, согласно которому в пределах распавшийся империи, той ее части, из которой в 1922 году образован был СССР, испанка появилась во время начала второй волны пандемии этой болезни, то есть в августе 1918 года. Выходит, что испанку занесли в Одессу оккупационные немецкие и австро-венгерские войска еще во время первой волны пандемии испанского гриппа.

И это могло так и быть. Еще 9 февраля 1918 г. в Брест-Литовске Центральные державы (Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царство) подписали с представителями Украинской Народной Республики (Українська Народна Республіка – УНР) договор, согласно которому, в том числе, предусматривался ввод немецких и австро-венгерских войск на всю территорию Украины. 2 марта 1918 года вместе с немецкими союзниками войска УНР вошли в Киев. С 13 марта 1918 года берет начало оккупация Одессы.[9]

Считается, что не позднее мая испанка получила распространение в Германской империи. Выходит, что после этого от немецких военных она перешла на гражданское население Одессы, и в мае 1918 года первые одесситы начали поступать с диагнозом «инфлуэнция», по свидетельству В.К. Стефанского, в Старую городскую больницу. С августа 1918 года заболеваемость и смертность от «инфлуэнции» резко возрасла, и ее стали отождествлять с испанским гриппом (наблюдения врачей Старой городской больницы, Новой городской больницы и Еврейской больницы).

Здесь надо сказать, что с 18 декабря 1918 года по 4 апреля 1919 года в Одессе находились войска союзников России: военные силы состояли из двух французских, двух греческих и одной румынской дивизий, а всего 35 000 военных. Как раз на первую половину 1919 года приходится третья волна пандемии испанки, а значит, роль этих военных контингентов в завозе и распространении испанской болезни в Одессе мы также не можем сбрасывать со счетов. (Ниже приведены некоторые данные по смертности от испанки во французской армии.)

Таким образом, из вышеизложенного следует, что в Одессе больничная летальность при испанке в 1918 году (вторая волна) колебалась в пределах 8,45-8,7-11,5%, а в 1919 г. (третья волна) была 6,8%. В том же случае, если испанка осложнялась пневмонией, больничная летальность среди этих больных увеличивалась и составляла 28-44%.

В Одессе хорошо была поставлена статистика общественного здоровья и здравоохранения. С 1897 года санитарное бюро Одесского городского общественного управления издавало «Сведения о врачебно-санитарной организации и эпидемической заболеваемости г. Одессы». В это периодическое издание входил «Еженедельный бюллетень санитарной статистики г. Одессы», который содержал следующие сведения: 1) естественное движение населения города (рождаемость и смертность); 2) причины смерти и, в том числе, количество умерших от гриппа (общее число, по полу, по участкам, по возрасту, отдельно мужчины и женщины); 3) заболеваемость эпидемическими болезнями, где также выделен в отдельную строчку грипп (общее число, число заболевших мужчин и женщин, данные по участкам, по возрасту – мужчины и женщины). Однако в связи с трудностями Первой мировой войны в 1916 году было прекращен выпуск этого издания. Поэтому мы не имеем данных по заболеваемости испанкой в Одессе, а число умерших мы можем только приблизительно попытаться определить.

Впрочем, в 1929 году вышел восьмой том «Большой медицинской энциклопедии» (первое издание), где в статье о гриппе И. Добрейцер привел данные о смертности, летальности и заболеваемости. При этом автор дал некоторые сведения по пандемии испанки в СССР, а он имел возможность запросить местные

санитарные организации с целью получить от них собранный, но не опубликованный ими из-за Гражданской войны материал. По Одессе он приводит всего две цифры – зарегистрированную смертность от гриппа в 1918 году и 1919 году, которая соответственно была 100,7 и 66,0 на 100 000 населения.[10]

По данным советской переписи 1920 года, в Одессе 427 831 житель, а в «пригороде», который входил в состав Одесского градоначальства до установления советской власти, – 26 356.[11] Значит, всего 454 187 жителей. Мы будем использовать это число жителей для определения абсолютного числа умерших от испанского гриппа в Одесском градоначальстве.

Путем несложного подсчета получаем удивительно маленькие числа – 454 умерших в 1918 году и 300 – в 1919 году, а всего 754 человека, скончавшихся от испанки за два года в Одессе. Представляется, что данные И. Добрейцера очень неполны, а значит, не соответствуют действительности.

В США, где сравнительно хорошо был поставлен учет заболеваемости и смертности в сравнении с воевавшей Европой и тем более с просторами бывшей Российской империи, во время второй волны пандемии испанки смертность от нее в сентябре была 1000-1500 на 100 000 населения, а в октябре-ноябре 1918 года повышалась до 6000-6500 на 100 000 населения. Во французской армии, опять же в период второй волны заболевания, смертность от испанки составила 938 на 100 000 – значит, была в 9 раз выше, чем в Одессе в 1918 году по данным И. Добрейцера.[12]

Профессор Л.В. Громашевский с соавторами обращал внимание на то, что больничная летальность обычно больше общей летальности, которая состоит из больничной и внебольничной летальности (общую летальность мы для краткости будем называть одним словом – летальность). Если допустить, как писали те же авторы, что за два года пандемии (1918-1919 годы) переболел испанкой каждый житель земного шара, а умерло 20 млн человек, и общая численность всего человечества того времени была 1 800 млн, то нетрудно посчитать, что летальность от испанского гриппа составит 1,1%, то есть ≈1%.[13] Если число жителей в Одессе было 454 187, летальность при испанском гриппе 1%, и если все одесситы переболели испанкой, то из них умерло за два года 4 541, или около 4 500.

Профессор В.А. Башенин, который, к слову сказать, так же, как до него Л.В. Громашевский, одно время возглавлял кафедру эпидемиологии в Одесском медицинском институте, в статье, посвященной эпидемиологии гриппа, опирается на расчеты французского эпидемиолога Ch.-H.-A. Dopter (1926), который определял число умерших от испанки в 20 миллионов человек, а если считать численность населения в мире на период пандемии испанского гриппа в 1 800 млн, то смертность от испанки была в среднем 555,5 на 100 000 населения в год.[14] Исходя из этих цифр, в Одессе в 1918-1919 годах от испанки умерло 5046 человек.

Таким образом, используя два разных подхода, мы получаем около 4500-5000 умерших в Одессе от испанки в 1918-1919 годах. Значит, если бы население нашего города было около 1 млн человек, то есть как сейчас, то всех скончавшихся за эти годы от испанской болезни было бы 10 000-11 000.

Здесь мы должны сделать уточнение – это старые авторы определяли число скончавшихся во всем мире от испанки в 20 млн человек, новые же увеличивают эту цифру до 50 млн или даже до 100 млн, а летальность при испанке определяют не в 1%, как Л.В. Громашевский, но увеличивают ее до 2-3-4 и даже до 10%. Если мы примем более высокие уровни смертности и летальности, то соответственно мы должны будем увеличить число скончавшихся от испанки в Одессе.

Обсуждая вопрос об испанке в Одессе, нужно помнить, что у нас пандемия испанского гриппа проходила на фоне эпидемии холеры, широкого распространения брюшного тифа, пандемии паразитарных тифов. Все эти эпидемии инфекционных заболеваний затмили у нас собой пандемию испанки, которая дала свечку во второй половине 1918 года (вторая волна пандемии), и был подъем ее в первой половине 1919 года (третья волна), а затем она выраженно не проявила себя.

В воспоминаниях большевика В.Л. Елина, который в 1918-1919 годах жил в Одессе, а с 1924 года возглавлял кафедру микробиологии в Одесском медицинском институте, о ней нет даже упоминания, в отличие от вышеназванных других инфекционных заболеваний.[15]

В больничные стационары в ту эпоху госпитализировали бедное население, где лечение было бесплатное. Так было и в XIX веке, и в начале XX столетия. С началом Гражданской войны пребывание больных в больницах стало далеко не комфортным, так как городская система здравоохранения оказалась в критическом положении, город был не в состоянии содержать свои больницы. Палаты, перевязочные и операционные не всегда имелась возможность отапливать, прекращалось электрическое освещение, для освещения не всегда можно было достать керосин. 31 августа 1918 года произошел взрыв складов артиллерийских снарядов (об этом мы писали выше), от которого пострадала Новая городская больница – были выбиты все стекла в окнах, двери вырывались с рамами из гнезд, снаряды пробивали крыши в корпусах больницы. Лишь к 1922 году были по-настоящему залечены раны, нанесенные этой катастрофой.

В дооктябрьском российском государстве средний класс и богатые при гриппе лечились в домашних условиях и в тех случаях, когда грипп осложнялся пневмонией, – никаких преимуществ тогдашняя больница не могла предоставить в сравнении с амбулаторным лечением. Значит, эти больные обращались за медицинской помощью, как тогда говорили, к вольнопрактикующим врачам. Это не значило, что доктор, занимавшийся частной практикой, нигде не служил. Он мог быть врачом в городской больнице или работать в университетской клинике, а часть своего времени посвящать «вольной практике». При этом у профессора-клинициста доходы от частной практики могли быть значительно больше его университетского содержания. Ниже как раз речь пойдет об амбулаторном лечении испанки у одесских вольнопрактикующих докторов.

* * *

В сентябре 1918 года в Одессе, на Среднем Фонтане, на даче у своих хороших знакомых супругов Льва Алексеевича и Марианны (Мариамны) Адриановны Давыдовых отдыхал композитор Кароль Шимановский.[16] Уроженец Украины и этнический поляк, он приехал в Одессу из Елизаветграда (ныне Кропивницкий),

а в следующем – 1919 – году он уехал из Елизаветграда во вновь приобретшую государственность Польшу.

Тогда же – в начале сентября – к композитору из Киева в Одессу приехал писатель Ярослав Ивашкевич. В то время К. Шимановский вынашивал идею написать оперу (позднее опера получила название «Король Роже» – на польском «Król Roger»). Композитор и писатель договорились, что первый напишет общий сценарий для всех трех актов оперы, а последний составит по этому сценарию либретто. После этого Я. Ивашкевич вернулся в Киев, затем уехал на жительство в Польшу, а К. Шимановский заболел испанским гриппом, что задержало его в Одессе на две недели; и только в начале октября он вернулся в Елизаветград. Во время болезни испанкой, по свидетельству самого композитора, в одну из бессонных ночей у него в голове сложилась идея сценария оперы. Так как болезнь была достаточно тяжелой, скорее всего, пишут украинские биографы композитора, детальный вариант сценария на ее основе был написан не в Одессе, а сразу после возвращения в Елизаветград – с 11 по 14 октября 1918 года.[17, 18]

В Одессе переболел испанкой и писатель Константин Паустовский, о чем он сам написал в повести «Начало неведомого века». Жил он тогда на Ланжероне, на небольшой и пустынной Черноморской улице, которая тянется над обрывом моря. Тогда там находился частный санаторий для нервнобольных доктора Ландесмана, где Константин Георгиевич со своим приятелем устроились в качестве сторожей – они должны были охранять пустующий санаторий, следить, чтобы не рубили на дрова небольшой сад около дома. Писатель не указывает дат своей болезни, но краеведы установили, что жил он в указанном доме в 1920-1922 годах (это отмечено на мемориальной доске, которая ныне установлена на доме № 8, где жил писатель). В самом начале данной статьи мы отметили, что пандемия испанки была в 1918-1920 годах, то есть она не закончилась в 1919 году, а ее хвост захватил и следующий – 1920 – год. Мы очень мало знаем об испанской болезни в 1920 году у нас, и, стало быть, свидетельство Константина Паустовского для нас бесценно.

Если К. Паустовский и К. Шимановский только переболели испанской болезнью, то наиболее заметной жертвой испанки

в Одессе стала самая знаменитая актриса кинематографа Российской империи Вера Холодная (урожденная Левченко; 1893, Полтава, – 1919). Она скончалась во время третьей волны пандемии испанки. В одесских газетах было сообщено, что «смерть Веры Холодной последовала от испанского гриппа, осложнившегося воспалением легких».[19]

Королева немого кино проболела всего несколько дней. Почувствовав себя больной, она из гостиницы «Бристоль» перебралась в дом Папудова на Соборной площади, где жила ее мама. 16 февраля весь день она дышала назначенным ей кислородом, к вечеру ее состояние ухудшилось, она причастилась и в семь часов умерла.[20] Сестра киноактрисы София вспоминала: «Лечили ее профессора мединститута Коровицкий, Усков, Бурда. Бальзамировал ее профессор-патологоанатом Тизенгаузен».[21] Да, лечащими врачами актрисы были профессора-терапевты Новороссийского университета: Константин Илларионович Коровицкий и Леонтий Иванович Усков, а также известный одесский доктор – не профессор (sic!) – Михаил Константинович Бурда. Бальзамирование тела сделал уже нам известный приват-доцент (позднее ставший профессором) кафедры патологической анатомии университета М.М. Тизенгаузен. Отпевание состоялось в рядом находившемся Спасо-Преображенском кафедральном соборе, похороны были 19 февраля.

Рис. 7. Памятник Вере Холодной. Фотография К.К. Васильева. 2020 г.

В. Катаев в «Записках о гражданской войне» свидетельствовал: «<…> кинематографическая артистка умерла от болезни, называвшейся «испанкой» и сильно распро-

страненной в то время среди населения. <…> На ее похороны собрались несметные толпы народа».[22] Факт того, что проститься с умершей пришла буквально вся Одесса, зафиксировала и кинохроника. Как видим, карантинных мероприятий в связи с испанским гриппом, наличие которого подтверждает и писатель Катаев, в Одессе не было и в помине. Набальзамированное тело в металлическом гробу было помещено в часовне на Первом христианском кладбище, так как предполагалась после гражданской войны перевезти его в Москву. Но вскоре скончалась мама, и в конце концов тело было предано земле на этом же кладбище, которое в 1932 году было уничтожено.

В 2003 году около дома Папудова был установлен бронзовый памятник актрисе (скульптор А. Токарев), а в 2013 году «Укрпошта» выпустила почтовую марку, посвященную 120-летию со дня рождения Веры Холодной.

* * *

Госпитализированные больные с испанкой получали бесплатное лечение теми медикаментами, которые выписывали ординаторы из больничных аптек. Больные же испанским гриппом, лечившиеся дома, отправлялись с рецептами, которые оставляли им вольнопрактикующие врачи, в ближайшую аптеку. Точнее – их родственники или прислуга шли в аптеку. Добавляют некоторые штрихи к истории борьбы с пандемией испанки цитаты из журнала «Южный вестник аптечного труда», который издавал в нашем городе Профессиональный союз служащих аптек г. Одессы. Это журнал левого, социалистического, но не большевистского толка, на его страницах особенно много критических высказываний по отношению к «аптекарям», как тогда называли владельцев аптек. Они были работодателями для фармацевтов и аптекарских учеников.

«Испанка» – болезнь для населения, но здоровье – для аптекаря. Самая что ни есть дрянненькая аптечка «снимает» тысчонку в день.

Аптекарь с недоверчивостью считает кассу, но, продержав ее некоторое время в руках, думает, что могла бы быть больше. А фармацевтов? – их могло быть меньше!..

И фармацевтов становится меньше. Их тоже «снимают» с работ, но не союз (то есть Профессиональный союз служащих аптек г. Одессы. – **Авт.**), а «испанка».[23]

«В Херсоне. В связи с эпидемией испанской болезни – в аптеках масса работы, штаты же служащих сокращены до минимума, и больному населению приходится ожидать лекарства по несколько часов. Объясняется это не недостатком фармацевтов, которых здесь имеется достаточно, а исключительно желанием аптекарей «сэкономить».[24]

«На днях (первая половина октября 1918 г. – **Авт.**) скончался от испанской болезни в г. Тирасполе тов. Бендерский. Покойный состоял членом союза (Профессиональный союз служащих аптек г. Одессы. – **Авт.**), одно время работал в аптеке Гаевского (крупнейшая одесская аптека. – **Авт.**) и считался хорошим товарищем.

Бывшие сослуживцы его из аптеки Гаевского собрали 60 руб. Взамен венков эти деньги присланы в фонд журнала «Южный вестник аптечного труда».[25]

«12 ноября (1918 года. – **Авт.**) скончалась от заболевания «испанкой» аптекарская ученица Ф.Я. Файнблат. Покойная состояла членом союза и имела всего 21 год от роду. Похороны принял на свой счет аптекарь Штернгас, в аптеке коего Файнблат работала».[26]

* * *

Итак.

1. Испанка появилась в Одессе не в начале второй волны пандемии гриппа, то есть не в августе 1918 года, когда начался заметный подъем заболеваемости ею, что отмечено в литературе о гриппе, а в мае этого года. Значит, во время первой волны испанского гриппа, когда он получил широкое распространение в Германской и Австро-Венгерской империях, войска которых еще в марте 1918 г. оккупировали Украину.

2. Возможно, определенную роль в завозе в Одессу испанки в период третьей волны этой болезни (первая половина 1919 г.) сыграли военные Франции, Греции и Румынии.

3. Как и в других местах мира, для испанки в Одессе был характерен W-образный вид смертности по возрасту. Поэтому смерть от испанки 25-летней Веры Холодной и некой аптекарской ученицы

Ф.Я. Файнблат 21 года от роду (о ней в самом конце нашей статьи), как раз и иллюстрирует характерную особенность этой болезни.

4. Больничная летальность (среди всех больных испанкой, как без осложнений, так и с пневмонией) в одесских больницах во вторую волну пандемии испанки находилась на уровне 8,45-11,5%; во время третьей волны – 6,8%. Испанка с пневмонией давала больничную летальность больше: 28-44%.

5. Заболеваемость испанкой в месяцы ее наибольшего подъема увеличивала абсолютное число умерших от пневмонии в 25-34 раза в сравнении со среднемесячными числами за те же месяцы в предыдущие шесть лет.

6. Абсолютное число умерших от испанского гриппа в Одессе в 1918-1919 годах, по нашим расчетам, составило около 4500-5000 человек. Если бы население Одессы было такое же, как сейчас, то есть около 1 млн жителей, то от испанки умерло бы около 10 000-11 000 одесситов.

Примечания

[1] Гамалея Н.Ф. Грипп и борьба с ним. – М.; Л., 1942, с. 9.

[2] Зеленский В.Д. Общество одесских врачей. (1918-1919 гг.) // Современная медицина. 1921, № 1, с. 103-105.

[3] Медицинское общество при Новороссийском университете. Заседание 23-го ноября 1918 г. // Медико-санитарный сборник. 1918. № 4 (ноябрь), с. 70-71.

[4] Беленький М.С. Одесская окружная больница, ее прошлое и настоящее // Юбилейный сборник Одесской окружной больницы: 1902-1927 гг. – Одесса, 1927, с. 46, 5-56.

[5] Тэффи Н.А. Воспоминания // Н.А. Тэффи. Житье-бытье: Рассказы. Воспоминания. – М., 1991, с. 382.

[6] Кранцфельд И.М. Отчет о деятельности научных совещаний // Юбилейный сборник Одесской окружной больницы: 1902-1927 гг. – Одесса, 1927, с. 57-65.

[7] Стефанский В.К. К вопросу о клинике и бактериологии так называемой «испанской болезни» // Медико-санитарный сборник. 1918. № 4 (ноябрь), с. 1-11.

[8] Тизенгаузен М.М. К патологической анатомии пандемического гриппа: Broncho-pneumonia haemorrhagica epidemica // Медико-санитарный сборник. 1918, № 4 (ноябрь), с. 11-20.

[9] Малахов В.П., Степаненко Б.А. Одесса, 1900-1920 / Люди… События… Факты… – Одесса, 2004, с. 385.

[10] Добрейцер И.А. Грипп. Статистика // Большая медицинская энциклопедия. 1-е изд. – М., 1929. Т. 8, стб. 99.

[11] Гава О. Демографические изменения в Одесской губернии в начале 1920-х годов по материалам всероссийской переписи 1923 года // Юго-Запад. Одессика. – Одесса, 2009. Вып. 8, с. 53-61.

[12] Жданов В.М., Соловьев В.Д., Эпштейн Ф.Г. Учение о гриппе. – М., 1958, с. 404-405.

[13] Громашевский Л.В., Вайндрах Г.М. Частная эпидемиология. – М., 1947, с. 384.

[14] Башенин В.А. Эпидемиология инфлюэнцы // Гигиена и эпидемиология. 1926, № 5, с. 27-35.

[15] Елин В.Л. Как зарождалось советское здравоохранение на Одесщине. (Из воспоминаний современников) // Советское здравоохранение. 1957, № 11, с. 48-52.

[16] Таран Г. Кароль Шимановський, його близькі та родина Давидових у спогадах Маріанни Давидової // Шимановські, Блюменфельди, Нейгацзи: музичні родини на перехресті культур. Колективна монографія. – Кропивницький, 2019, с. 311-321.

[17] Полячок Д. Пісні Кароля Шимановського, написані в Україні в роки Першої світової війни Єлисаветградом // Там же, с. 349-371.

[18] Полячок О. Театрально-музичні зв'язки Кароля Шимановського з Тимошівкою і Єлисаветградом // Там же, с. 331-339.

[19] Малахов В.П., Степаненко Б.А. Одесса, 1900-1920 / Люди… События… Факты… – Одесса, 2004, с. 415.

[20] Островский Г.Л. Легенда о звезде. Жизнь и смерть Веры Холодной. – Одесса: Optimum, 2005, с. 18-25.

[21] Холодная С. Воспоминания о сестре // Советский экран. 1990. № 14, с. 28-29.

[22] Катаев В. Записки о гражданской войне // В. Катаев. Собрание сочинений в десяти томах. – М., 1986. Т. 10, с. 275-305.

[23] «Испанские» аптекаря // Южный вестник аптечного труда. 1918. № 8, 1 октября, с. 5.

[24] В Херсоне // Южный вестник аптечного труда. 1918, № 8, 1 октября, с. 7.

[25] Хроника // Южный вестник аптечного труда. 1918, № 9, 15 октября, с. 9.

[26] Хроника // Южный вестник аптечного труда. 1918, № 11, 15 ноября, с. 9.

Андрей Добролюбский

«Будь счастлив!»
غلتق / وسلوب ن /

«…Везде по полям и в реках лежало полно татарских трупов…»
Матей Стрыйковский

Все смешалось в Ябу-городке. Археологические раскопки, которые периодически проводились в Ябу-городке – летнем стойбище «князя» Хаджибея (поселение Торговица), – показывают, что кипучая жизнь в этом ордынском городе оборвалась внезапно. Повсеместно, на всех изученных участках и объектах прослежены следы всеохватывающего пожара – город сгорел едва ли не в одночасье. Нежданность катастрофы особенно очевидна по остаткам одной из гончарных мастерских, где наглядно сохранились следы прерванной работы. Здесь в заполнении горна среди фрагментов шлака и обломков керамики находились три целых красноглиняных сосуда. Рядом с одним из тандыров на приступке лежали 9 сфероконусов*, которые туда положили остывать после обжига. Еще один сфероконус забыли прямо в самом тандыре. Это означает, что мастерская была в спешке покинута. Ее хозяин успел лишь соорудить небольшой потайной подвальчик для вещей, которые были слишком громоздкими или тяжелыми, а потому обременительными в бегстве. В этом погребке были сложены железные орудия труда, котлы, конская сбруя, большие красноглиняные сосуды. Хозяин мастерской так торопился спрятать свою домашнюю утварь, что один из котлов

* Сфероконус – толстостенный сосуд высотой 10-15 см со сферическим корпусом, очень узкой горловиной и с коническим дном, предназначенный для дорогостоящих жидкостей.

поставил в тайник не отмытым после приготовления пищи – на его внутренних стенках сохранились следы жировых потеков.[1]

На этом же пепелище как при раскопках, так и на поверхности найдены во множестве железные наконечники стрел, среди них – черешковые, ромбической формы, с оформленными выступающими верхними гранями. Все они датируются XIV в. Такое количество стрел в контексте со всеобщим пожаром может указывать на внезапное нападение на Торговицу, которое ее, несомненно, погубило.

Спасавшиеся обитатели надеялись вернуться. Это подтверждается и кладом «*из серебряных золотоордынских и чешских монет, а именно: ханов Токтогу* (*1310-1311 гг.*), *Узбека* (*1313-1340 гг.*), *Джанибека* (*1341-1355 гг.*), *Бирдибека* (*1357-1359 г.*), *Кульны* (*1359-1360 гг.*), *Неуруза* (*1359-1360 гг.*), *и чешских королей: Венцеслава II* (*1278-1283 г.*), *Иоанна* (*1310-1346 гг.*) *и Карла I* (*1346-1348 гг.*), *который был случайно найден в р*(*е*)*ч*(*ке*). *Синюхе в 1894 г. крестьянками м. Торговицы, Уманского уезда*».[2]

В слоях же Торговицы, как и в описанном кладе, на младшую дату ее существования указывают монеты хана Навруза. Это значит, что город погиб, а клад зарыт в начале 1360-х гг. По мнению историков, это могло произойти осенью 1362 г. во время или сразу же после известной Синеводской битвы, в которой великий князь литовский Ольгерд с князьями Кориатовичами разбили ордынских «князей» Кутлуг-бугу, Хаджибея и Дмитрия.

Ольгерд, великий князь литовский

Странная битва в «пустыне истории». Это было время, когда в Золотой Орде бушевала кровавая смута, продолжавшаяся более 20 лет. Она была названа русскими летописцами «Великой Замятней», или же «Булгаком» (*тюрк.: булгак – тревога, суета; мятеж, смятение*). Вскоре после смерти хана Джанибека, который скончался (скорее был убит) летом 1357 г., началась полоса непрерывных дворцовых переворотов, сопровождавшихся кровавым кошмаром. Ханы сменяли друг друга с такой калейдоскопической быстротой, что летописцы не успевали даже вносить их имена в свои записи. Поэтому история Золотой Орды (Улуг Улуса) этого времени темна и крайне запутана, сведения чрезвычайно ограничены и противоречивы. «Восточные источники умалчивают об этом ужасном периоде, – пишет австрийский востоковед, барон Йозеф фон Гаммер-Пургшталь, – только скудные данные русских летописей и монеты ханов служат теми вехами, которые указывают путь в этой пустыне истории».[3]

Золотоордынский «князь». XIV в. Реконструкция

Хан Джанибек

Хотя эти немногие «вехи» и «скудные данные» общеизвестны, не сочтем излишним их здесь частично воспроизвести. Так,

о Синеводском сражении впервые говорится в летописном сказании «О Подолье», написанном в начале 1430-х гг. Его автор, служивший в канцелярии Великого княжества Литовского, сообщает, что «*...коли господаремь был на литовьскои земли князь великий Олгирд и, шедь в поле с литовьским воискомь, побиль татар на Синеи воде, трех братовь: князя Хачебея и Кутлубуга и Дмитрия. А тыи трии браты Татарьское земли, отчичи и дедичи Подольскои земли, а отт них заведали атамани и боискаки, приеждючи от тыхь атамоновь, имовали с Подольскои земли дан*».[4] Подобные известия об этой битве содержатся в более поздних летописях – в «Рогожском летописце»*, (сер. XV в.), в «Густынской летописи» (нач. XVII в.) и в еще более поздней так называемой «Хронике Быховца». Эти сведения можно считать как бы исходными, хотя все они опосредованы, ибо отдалены от времени битвы на многие десятилетия. А значит, в них отразилась не столько реальность, сколько «народные чаяния» (выражение О.В. Белецкой).

Так, в том же сказании «О Подолье» утверждается, что в битве вместе с Ольгердом участвовали «*княжятя Коръятевечи три браты: князь Юръи а князь Александр, князь Костентин и князь Федор со князя великого Олгирдивым презволениемь и с помочию Литовския земли пошли в Подольскую землю*». А после победы «*тыи княжата Корьятовичи, пришед в Подольскую землю, и вошли у приязнь со атаманы, почали боронити Подольскую землю от татарь и боскаком выхода не почали давати*». Значит, они избавились от татарской дани – «выхода». Между тем, по сведениям иных источников, эта дань продолжала исправно выплачиваться.[5] А Матей Стрыйковский в своей «Хронике...» (1582 г.) более чем через два столетия после Синеводского сражения решает умертвить ордынских вожаков «*...на побоище остались убиты три их царька: Кутлубах, Качибей... и султан Димейтер, и вместе с ними очень много мурз и уланов*».[6] Гибель ордынских князей тоже является чистым вымыслом – все трое здравствовали еще многие годы после этого события.

* «Рогожский летописец» указывает на «осень» 6871 г. (византийская эра), то есть период с 24 сентября по 25 декабря 1362 г.

Достоверными можно считать, пожалуй, лишь археологические данные, которые указывают на внезапную гибель Торговицы. Сама же история Синеводской битвы нам известна лишь по свидетельствам литовско-польской стороны, «провозгласившей» победу Ольгерда. Между тем факты таковы, что владения разбитых и бежавших ордынских «князей» достаются вовсе не победителям – Ольгерду с Кориатовичами, а лишь другому ордынскому властителю – Мамаю, имя которого в этой связи ни в каких источниках даже не упоминается. Что касается подольских земель, то их жители и князья продолжали исправно платить ордынцам «выход» еще очень долгие годы. Это довольно странно – «победители» ведут себя как побежденные.

Значит, победителем в битве оказался эмир Мамай, а противостоявшие ему ордынские вельможи явно с ним не поделили амбиции и сферы влияния. Более всего это похоже на междоусобицу, самую обычную для времен «Великой Замятни». Но ордынская сторона хранит об этом событии гробовое молчание.

Родственники «девственной» ханши. Попытаемся разобраться в хитросплетениях обстоятельств и родственных связей, которые стоят за этим молчанием. Сведения о них более чем туманны. Достоверно известно лишь то, что все упомянутые ордынские «князья» были сановными аристократами и самыми близкими родственниками. По одним данным, «князь» Хаджибей (Качибей, Хачебей)** был кереем, то есть из племени кереитов, а по другим данным – кийятом (как и его предок Чингис-хан), а значит – чингизидом. Его имя в смысловом переводе может означать «Почтенный правитель». Имеются также предположения, что он был отцом (или дядей) самого Мамая.[7] Считается, что Мамай родился около 1335 г. Значит, Хаджибей должен быть как минимум на 15-20 лет старше, и ко времени Синеводского сражения ему было более 40 лет. Сам он был сыном или племянником погибшего Атламиша, зятя хана Джанибека, «одним из 70 эмиров», «начальником» своего собственного улуса, расположенного

** Правописание имен ордынских ханов и вельмож пребывает в хаотическом состоянии [22]. Мы здесь стараемся придерживаться некоего условного единообразия, распространенного в литературе.

между Днепром и Днестром, и помимо него владел в Крыму округом Кырк-Ор (Чуфут-Кале)[8].

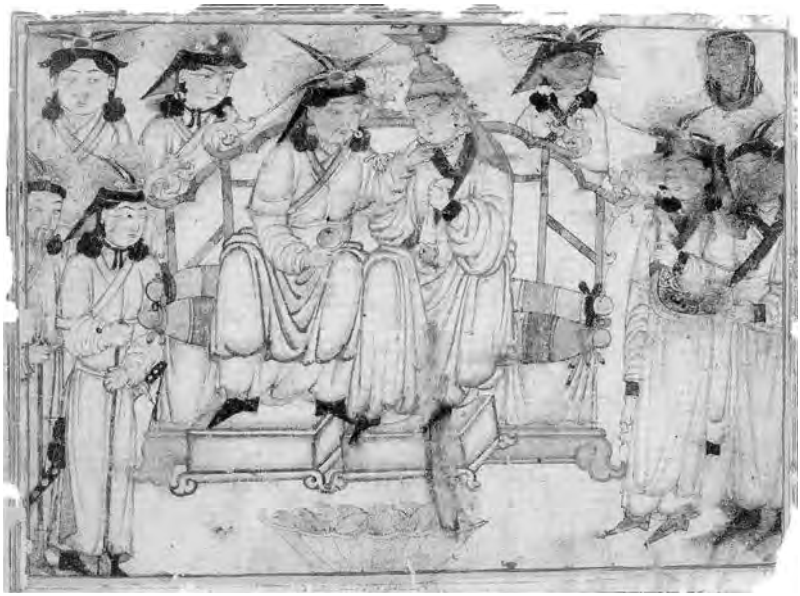
Другой «претендент» на то, чтобы быть возможным отцом Мамая, – это «брат» Хаджибея Кутлуг-буга (Кутлубуга). Его имя в смысловом переводе означает «Благодатный бык», или «Бык, приносящий счастье». Это имеет значение для нашего сюжета. Наверное, ему тоже было более 40 лет. И он, как будто, тоже был кийятом. Ко времени Синеводской битвы он был даругой (наместником) Крыма, правителем Солхата и одновременно старшим эмиром правого крыла* Золотой Орды, то есть номинальным «начальником» всей этой территории как преемник своего отца (или дяди) Атламиша. Атламиш, будучи зятем (гургеном) хана Джанибека, командовал войсками всего правого крыла, и Кутлуг-буга, судя по всему, претендовал на то же.

А вероятным отцом их третьего «брата» Дмитрия (Тимура-Ходжи, или Темира, что значит «Железный») историки считают Могул-бугу («Монгольский Бык»), старшего брата Кутлуг-буги. Его улус находился к западу от Днестра, и он также владел Мангупом и княжеством Феодоро в Крыму.

Все трое «братьев», как можно видеть, принадлежали к самой верхушке ордынской элиты. Но они были чингизидами, а не джучидами, а потому никто из них не имел права на ханский престол.

Чтобы почувствовать их отношения, кратко коснемся нравов при дворах Узбека, Джанибека и Бердибека. Самым сановитыми были Могул-буга и Кутлуг-буга – родные братья ханши Тайдулы (Тай-Тоглу, Тайтуглы-хатун), старшей жены хана Узбека с 1323 г. Хан, по словам Ибн-Баттуты, «*очень любил ее за одну свойственную ей особенность, которая* (*состояла*) *в том, что каждую ночь он находит ее как бы девственницей*».[9] Как Тайдуле это удавалось – неясно, но хан очень считался с ее мнением. Она недолюбливала своего

* Тюрки, определяя исходное положение, обращались лицом к югу. Справа оказывался Запад, слева – Восток. Поэтому правое крыло Золотой Орды находилось к западу от ханской ставки (Сарай на Волге), а левое крыло – к востоку. У тюрок белый цвет обозначал Запад, а синий – Восток. Западная орда называлась Белой ордой (Ак-Орда), а Восточная орда – Синей ордой (Кок-Орда). Но у иранцев, наоборот, синий цвет обозначал Запад, а белый – Восток. Это создавало (и создает) путаницу в толковании источников.



Хан и Хатунь

старшего сына Тинибека**, несмотря на то (а может быть, именно за то), что он, по мнению того же Ибн-Баттуты, «*наружностью был одним из красивейших созданий Аллаха*». Зато младшего сына Джанибека она очень любила. Причем так сильно, что с 1339-1340 гг. даже монеты Золотой Орды чеканились с указанием имен Узбека и Джанибека, а в дипломатических письмах в приветствиях упоминались Узбек, Джанибек и Тайдула. А ее дядя Тоглу-бай – «*окаянный Товлубий*» русских летописей – занимал должность беклярбека***. Наверное, потому что был он «*зело мудр и силен*».

** Тинибек, по слухам, не был родным сыном Тайдулы, а усыновлен ею по желанию Узбека.

*** Беклярибек (улугбек) – управляющий государственной администрацией в Золотой Орде. К ведению беклярибека относились внутренняя и внешняя политика, экономика и войско. В смысловом значении «князь князей», «эмир над эмирами».

Хатунь со свитой

После смерти Узбека в 1341 г. Тайдула желала видеть на троне только Джанибека. И никого другого. Но для этого следовало убить конкурентов – сначала Хызрбека, сына (или внука?) Узбека от другой жены, а затем и своего старшего сына Тинибека, Ей это хоть и не сразу, но удалось – «*она уговорилась с эмирами относительно умерщвления Тинибека и насчет того, чтобы они убили его, когда он явится. Когда он приблизился, то они вышли навстречу ему, а пришедши к нему, они все собрались для целования руки его; потом они ударили его и умертвили его, когда он был перед ними. Затем они вернулись к брату его, Джанибеку, и уведомили его*».[10]

Как бы там ни было, Тинибек «*был убит за постыдные дела, которые с ним приключились, и воцарился брат его Джанибек, который был лучше и превосходнее его*». Это случилось в 1342 г. Ханская мать заняла совершенно исключительное положение – она теперь заседала в диване, и ее голос всегда оказы-

вался решающим в государственных делах. Кроме того, она получила ряд владений, в частности, Тулу с округой. На ее имя была также отписана ввозная пошлина с христианских кораблей, заходивших в Азов (Азак), – она имела там собственный штат таможенников. Венецианский дож обращался к ней в переписке как к *«светлейшей и превосходнейшей государыне Тайталу-катун, достопочтеннейшей повелительнице татар»*.[11] Она даже снискала себе репутацию *«христианской заступницы»* – якобы за то, что московский митрополит Алексий излечил ее от слепоты, и благодаря ей *«царь Чанибекъ Азбяковичъ добръ зело къ христіанству, и много лготу сотвори земле Русстей»*.

Возведение хана на престол

Интронизация хана

Кроме Джанибека Тайдула также благоволила к своим братьям и, видимо, к дяде Тоглу-баю, который поддерживал ее, но предпочитал иметь дело с ее старшим братом Могулбугой. Поэтому они и сделали его беклярибеком после воцарения Джанибека. А младший брат, Кутлуг-буга, остался обделенным и, видимо, отчаянно интриговал. Ему самому хотелось занимать эту должность. Братья стали врагами и соперниками.

Митрополит Алексий излечивает Тайдулу

Монета с легендой «Справедливый хан Джанибек»

И случай представился – примерно в 1349-51 гг. по каким-то причинам «справедливый хан Джанибек» (как гласит легенда на его монете) казнил сына Тоглу-бая Сумая, а самого Тоглу-бая удалил от двора. А Могул-бугу, ставленника Тоглу-бая, убрал с поста беклярибека и назначил на этот пост Кутлуг-бугу, которому этот статус удавалось сохранять за собой до самой смерти Джанибека в июле 1357 г.

На этом пике должностной и сановной карьеры Кутлуг-бага, используя свое положение, вводит в ханское окружение своего сына (племянника?) Мамая, который был ровесником и другом детства ханского сына

Казнь в присутствии хана

Бердибека. Оба мальчика носили одинаковое мусульманское имя – Мухаммед. Но Бердибека называли Улуг-Мухаммед (Большой Мухаммед), а Мамая – Кичик-Мухаммед (Малый Мухаммед).[12] Впрочем, Мамая могли прозвать «малым» из-за маленького роста. Кстати, его природная малорослость установлена археологически – скелет Мамая был длиной лишь около 150 см.[13]

А имя Тоглу-бая вновь всплывает в источниках в связи с убийством Джанибека – именно Тоглу-бай своими руками зарезал своего хана прямо на ковре во время одного из приступов буйства. Так он отомстил хану за смерть своего сына. А затем позвал ханского наследника Бердибека, «*посадил на тот ковер, на котором он убил его отца, и убил каждого, кто не подчинился…*». А Бердибек, со своей стороны, «*…вызвал к себе всех царевичей и за один раз всех их уничтожил. Одного его единородного брата, которому было 8 месяцев, принесла на руках Тай-Тоглу-хатун и просила, чтобы он пощадил это невинное дитя. Бердыбек взял его из ее рук, ударил об землю и убил*».[14] Всего было истреблено 12 братьев (родных и двоюродных) нового хана.

В поисках подходящего хана. Оказавшись у власти, внук Тайдулы Бердибек возвращает на должность беклярибека ставленника Тоглу-бая Могул-бугу, а Кутлуг-бугу с нее смещает. При этом он не попадает в полную немилость и продолжает значиться среди главных беков Бердибека наряду с тем же Тоглу-баем, его сыном Яголтаем и двумя другими. К тому же Кутлуг-буга продолжает быть даругой (правителем) Крымского тумена и главой родовых князей правого крыла Золотой Орды, старшим, в том числе, над эмирами Хаджибеем и Дмитрием. Не исключено, что сохранением своих позиций при ханском дворе он обязан Мамаю. Ибо в это же самое время позиции Мамая резко укрепляются – он женился на дочери Бердибека Тулунбек-ханум и тем самым стал его «гургеном»[15], и на правах ханского зятя заботился о безопасности державной семьи – женах, детях и других его родственниках. Формально это мало что значило, но, несомненно, давало ему немалое влияние при дворе.

Мера любви и симпатии Тайдулы к своим братьям и родственникам, равно как и их статусные места при дворе Бердибека, отражены в ее так называемой «Платежной ведомости». Ханша

была очень заинтересована в бесперебойной торговле венецианцев в Азове, ибо, как уже говорилось, получала долю от ввозной пошлины с каждого судна. Эта ведомость – список лиц, которым Тайдула в марте 1359 г. выплатила компенсацию за ущерб, нанесенный их интересам в связи с ограблением венецианцами ордынских купцов. Ограбление произошло еще при Джанибеке. Кое-что из похищенного венецианцы вернули, но немалая часть долга оставалась не выплаченной.

Став ханом, Бердибек потребовал от правителей Крымского и Азовского туменов немедленно взыскать всю сумму долга с венецианских купцов в Азове. Сложившуюся обстановку попыталась разрядить Тайдула. И направила венецианскому дожу личное послание, в котором требовала срочно оплатить всю сумму ущерба. И сообщала, что в присутствии в ее ставке в Гюлистане венецианских послов она раздала из своей личной казны 550 сомов серебра (102 кг 960 г) заинтересованным ордынским сановникам и купцам. К посланию Тайдулы прилагался реестр лиц, получивших материальное возмещение, – ее самых близких родственников, которые и были высшими сановниками при Бердибеке. Это была своеобразная «табель о рангах».

Более всего она заплатила своему старшему брату Могул-буге-беку (тогда беклярибеку) и членам его семейства – 1156 безантов*. А брату Кутлуг-буге-беку (тогда главе Крымского тумена) и супругам его – всего лишь 1105 безантов. Куда меньше – сыну Могул-буги-бека Тимуру (эмиру Дмитрию – участнику Синеводской битвы. – **А. Д.**) и членам его семейства – 500 безантов, и Кичиг-Мухаммеду (Мамаю) – лишь 521 безант. Таковой была тогда их котировка в глазах Тайдулы, а значит, и при дворе.

При отсутствии сведений в «пустыне истории» для понимания мотивов и смысла поступков персонажей этого повествования историку позволительно воспользоваться герменевтической методикой, с тем чтобы вчувствоваться в положение каждого из них.[16] Так, Кутлуг-бугу никак не устраивало лишь второе место в придворной иерархии, которое он занимал (и воспринимал) лишь как жалкую подачку за дружбу и бли-

* Безант = динар = 1/20 сома.

зость к хану его сына Мамая. Смириться с этим невозможно. Значит, нужно сменить хана и снова стать при нем «эмиром над эмирами». И он инициирует мятеж некоего Кульпы (или Кулны), который объявил себя «уцелевшим» сыном Джанибека, то есть братом Бердибека. Заговор удался.

Факты таковы. Кульпа восстал в Приазовье в конце 1358 г. и через 9 месяцев овладел столицей. Примерно в то же время, в августе или сентябре 1359 г., Бердибек умирает – то ли от какой-то болезни, то ли был убит заговорщиками. Одновременно с его смертью был убит Тоглу-бай и другие лица из ханского окружения. И «*...сел в Орде на царство Кулпа, царствовал 6 месяцев и 5 дней* (от августа-сентября 1359 г. до января 1360 г. – **А. Д.**), *и много зла сотворил*»[17].

В своем навязчивом стремлении стать «эмиром над эмирами» Кутлуг-буге пришлось опереться на явного самозванца. Видимо, он и стал его беклярибеком. С этого самого времени и началась та самая ханская чехарда, которая была названа летописцами «Великой Замятней». В этом смысле Кутлуг-буга может даже считаться ее зачинателем.

Однако со своей стороны те же Могул-буга и Тайдула, оставшиеся в живых по какому-то недосмотру Кутлуг-буги, его небрежности или «преступной беспечности» (выражение И.В. Сталина), тоже стали подыскивать себе хана-самозванца. Им это тоже удалось. И Кульпа не усидел на престоле, потому что «...*не потерпел этого суд божий, и его убил Наурус с двумя своими сыновьями*...». Этот Навруз также самозвано объявил себя сыном Джанибека и восстал против Кулпы в Азаке в январе 1360 г., после чего Навруз занял Сарай-ал-Джедид и казнил Кулпу, а Могул-буга стал его беклярибеком, как и при Бердибеке, – этой должности его как бы никто не лишал. А Тайдула даже сумела уговорить Навруза на ней жениться, чтобы придать хоть какую-то легитимность своему правлению.

Монеты Кульпы (Кулны)

Казнь Кульпы

Тогда Кутлуг-буга, со своей стороны, вместе с эмирами Ак-Орды (правого крыла), «*начали тайно ссылать с Хидырем... лукавствующие на своего царя Науруса, и составися тайная лесть их в дело*». Они и выдали Навруз-хана и его сына Темура сопернику.[18] Уже в мае-июне 1360 г. Навруз был свергнут и убит Махмудом Хызром, который, в отличие от своих двух предшественников, самозванцем не был – он был дядей правителя ханской части Кок-Орды (Синей Орды, левого крыла). Захватив столицу, Хызр-хан казнил Могул-бугу и его сторонников, «*изби моалбузину чадь*». Ханша Тайдула в отчаянии предложила было и Хызру жениться на ней. Но тот под настоянием Кутлуг-буги отказался. И по его же наущению решил ее казнить. Поэтому, с грустью пишет персидский хронист Муир ад-Дин Натанзи, «*посадили бегим* в крытые санки, полость крепко завязали и, заложив [в санки] бешеного жеребца, отпустили на все четыре стороны. Этот бешеный конь понес санки и бил [их] по оврагам и буеракам, пока бегим не погибла*».[19]

Окончание следует

* Бегим (перс.) – яркий (радостный) изумруд. В смысловом переводе – «светлейшая». Упоминание «санок» свидетельствует, что ханша была убита зимой 1360-1361 года.

Примечания

[1] Козир І. Торговицький археологічний комплекс та проблема локалізації Синьоводської битви 1362 року // Наукові записки. Серія: Історичні науки. Випуск 20: Синьоводська битва 1362 року в контексті історії Східної Європи. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014, с. 10-17.

[2] Гошкевич В.И. Клады и древности Херсонской губернии. Книга первая с художественными иллюстрациями. – Херсон, 1903, с. 32.

[3] Цит. по: Сафаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды. – Саранск, 1960, с. 111-112.

[4] Слуцкая летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 35: Летописи белорусско-литовские. – М., 1980, с. 74.

[5] Белецкая О.В. Подолье и татары во второй половине XIV – первой половине XV в.: эволюция даннических отношений // Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны: навук. зб. Вып. 4 / рэдкал.: С.М. Ходзін (адк. рэдактар) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2008, с. 96-108.

[6] Stryjkowski M. Kronika Polska, Litewska, Žmódzka i wszystkiej Rusi. – Warszawa, 1846. – T. 2, s. 6-7.

[7] Зайцев И.В. Отец Мамая // Мамай. Опыт историографической антологии. Сборник научных трудов / Под ред. В.В. Трепавлова, И.М. Миргалеева. – Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010, с. 198-205.

[8] Добролюбский А. «Я попал в какой-то другой мир…» // Дерибасовская – Ришельевская. Одесский альманах. Кн. 83. – Одесса: «ПЛАСКЕ», 2020, с. 32-44. http://odessitclub.org/publications/almanac/alm_83/alm_83-032.pdf

[9] Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1 – СПб., 1884, с. 295.

[10] Там же, с. 263.

[11] Григорьев А.П., Григорьев В.П. Послание ордынской ханши Тайдулы венецианскому дожу (1359 г.) // Вестник С.-Петербург. ун-та, 1996. Сер. 2. Вып. 4, с. 18-23.

[12] Талах В. Полдень и сумерки Великого Края. – Сноски 611-612. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.myslenedrevo.com.ua/ru/Sci/History/UlugUlus/Berdybek.html

[13] Крамаровский М.Г. Золотоордынская (Старокрымская) экспедиция // Экспедиции. Археология в Эрмитаже / Государственный Эрмитаж. – Санкт-Петербург: АО «Славия», 2014, с. 150; Григорьев А.П., Григорьев В.П. Платежная ведомость Тайдулы (1359 г.) // Вестн. С.-Петербург. ун-та. 1997. Сер. 2. Вып. 3, с. 18-27.

[14] Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. 1. – 1884. с. 129.

[15] Там же, с. 389.

[16] Добролюбский А.О. Имя дрока. – Одесса: ВКО, 2019, с. 34-36.

[17] Цит. по: Талах В. Указ соч., сноска 624.

[18] Цит. по: Талах В. Указ. соч., сноска 632.

[19] Талах В. Указ. соч., сноска 633.

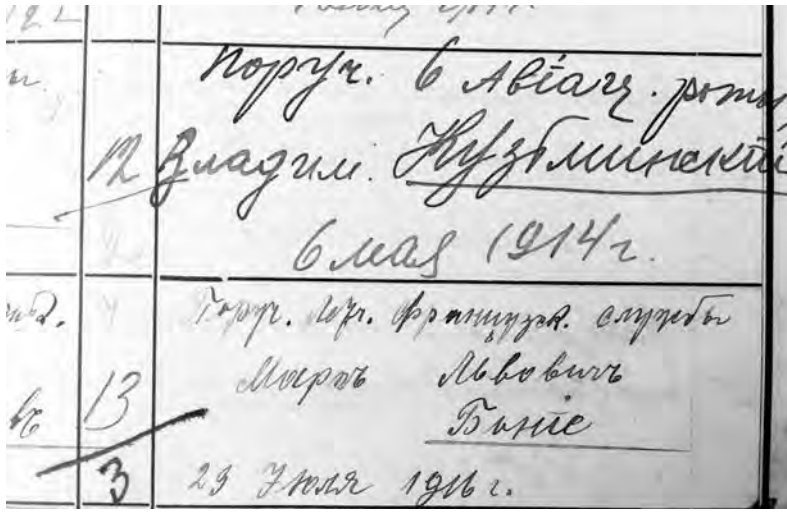
Александр Сурилов

Визит французской делегации

11 ноября 2020 года – в мировой истории событие, когда Европа, и в первую очередь, разумеется, Франция, отметили 102-ю годовщину подписания Копьенского перемирия, завершившего Первую мировую войну. Не осталась в стороне и Одесса. В этот день на территории Одесского авиационного завода состоялась торжественная церемония открытия мемориальной скрижали-доски в честь погибшего в 1916 году во время испытательных полетов французского летчика, героя той войны Марка Бонье. Поминальный ритуал проходил при участии вице-премьер-министра Украины О.С. Уруского, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Франция Этьена де Понсена, военного атташе посольства г-жи Андре Эврар и руководства предприятия. А начиналось все так…

Три года назад, когда мы занимались подготовкой выставки, отражавшей участие Одессы в событиях Первой мировой войны, удалось обнаружить неизвестные ранее документы. Они проливали свет на судьбы французских пилотов, направленных в 1915-17 гг. по условиям союзнического договора меж державами Антанты испытателями на завод аэропланов Артура Антоновича Анатра.

Известно, что вплоть до 1916 года основу производственных программ фирмы «Анатра» составляли самолеты французских проектов – «Фарманы», «Вуазены», «Мораны» и «Ньюпоры»


Поруч. 6 Авіац. роты
12 Владим. Кузьминский
6 мая 1914 г.
Поруч. Летч. французск. службы
13 Марк Львович
Боніе
3 29 Июля 1916 г.

разных модификаций. Из этих самолетов наиболее широко использовался на фронте только двухместный биплан «Вуазен».

Первый контракт на поставку «Вуазенов» был заключен с одесской фирмой 10 мая 1915 года. Он предусматривал изготовление 30 аппаратов модели «Voisin LA», а также комплекта запчастей к ним – на общую сумму 550 228 рублей.

Другим типом бипланов французской разработки-конструкции, которые строились фирмой «Анатра», был «Фарман», с которого и начиналась военная программа одесского авиазавода. За период с ноября 1914 г. до февраля 1917 г. в Одессе было выпущено 278 этих крылатых машин.

Следующим дальновидным шагом Анатры после получения серийных заказов на лицензионные копии иностранных самолетов стала организация собственного конструкторского отдела. На должность главного конструктора пригласили француза Е.А. Декампа, в Одессе прозванного Деканом.

Для условий производства в России был адаптирован легкий самолет Р 20 немецкой фирмы «Авиатик», получивший в Одессе название «Анатра Д», коротко – «Анаде». В процессе адаптации

немецкий мотор «Оберурсель» заменили французским двигателем «Гном-Моносупап» мощностью 100 л. с. «Анаде» представлял собою типичный для периода Первой мировой войны двухместный многоцелевой самолет-биплан целиком деревянной конструкции.

Первые результаты испытаний, а проводил их также француз – летчик-испытатель фирмы «Анатра» Жан Робине, показали слабую управляемость машины. После устранения недостатков она была принята к производству авторитетной комиссией военного министерства, которую возглавлял полковник Александр Николаевич Вегенер. На протяжении 1916 года одесская фирма набрала огромный пакет заказов на самолеты «Анаде», который составлял 759 единиц!

При скрупулезном сопоставлении сохранившихся фрагментов исторических хроник удалось выяснить, что легендарный французский пилот Марк Бонье погиб в 1916 году. Выполняя во время испытательного полета фигуру высшего пилотажа, летчик

не смог удержаться на вираже, и его «Анатра-Анасаль» рухнул с высоты 50 метров на поле Школьного аэродрома.

С учетом законов военного времени жесткие правила военной цензуры не позволяли детализировать происходящее в телеграмме, отправленной из генштаба родственникам летчика в Париж. Потому более ста лет потомки Марка Бонье не знали, где именно навсегда упокоился их знаменитый прадед, совершивший в 1913 году знаменитый перелет Париж – Каир – Иерусалим и нареченный Папой Римским «воздушным пилигримом Франции» за посадку самолета на Святой земле.

К слову, в Военном музее Израиля Марку Бонье посвящен целый зал.

Опираясь на некролог из одесской газеты за 1916 год и архивные документы, удалось выяснить, что М.Л. Бонье был похоронен на католическом участке 2-го Христианского кладбища Одессы.

Более того, чудом сохранившиеся записи в погребальной книге кладбища позволили установить и точное место могилы.

На этом же участке, как вскоре выяснилось, нашли свой вечный покой еще два пилота-испытателя завода Анатры, погибшие уже в 1917 году, а именно упомянутый выше лейтенант Жан Робине (Jean Robinet) и капитан Люсьен Марсель Шандон (capitaine Lucien Marcel Chandon).

Данная информация была направлена в адрес Посольства Франции в Украине, и вскоре в Одессе встречали первую делегацию. В ее состав входили тогдашний Посол Франции в Украине г-жа Изабель Дюмон, военный атташе майор Роман Прати и сотрудница посольства В. Харченко.

Символично, что первое посещение французской делегацией места захоронения летом 2019 года происходило с соблюдением воинского церемониала в присутствии командора В. Маньяна и членов команды минного тральщика ВМС Франции «Capricorn», прибывшего в Одессу с дружественным визитом.

Далее благодаря поддержке Посольства Франции в Украине удалось не только расширить данные о французских пилотах, но и найти родственников М. Бонье во Франции.

И вот 30 ноября того же года в присутствии Посла Франции, военного атташе, тогдашнего командующего ВМС Украины адмирала И.А. Воронченко, а также командира фрегата ВМС Франции «Commandant Birot», прибывшего в Одессу несколькими днями ранее, капитана третьего ранга Максима Леруа, на восстановленной могиле Марка Бонье состоялось торжественное открытие мемориальной стелы. На ней изображен самолет «Анатра-Анасаль» и нанесены имена двух товарищей Марка Бонье по оружию, чьи памятники до наших дней, увы, не сохранились.

Соблюдая верность традициям и подчеркивая неразрывную связь времен, в церемонии наряду с почетным караулом ВМС Украины и французскими моряками приняли участие члены Одесского военно-исторического клуба «Защитник».

К сожалению, из-за преклонного возраста родственник героя не смог прибыть лично, однако переданные им слова были зачитаны господином послом, а у памятника был возложен венок в бело-зеленых фамильных цветах рода Бонье.

Так благодаря поисковой работе, проведенной при содействии Посольства Республики Франция в Украине, были возвращены из небытия имена тех, кого много лет признавали на родине пропавшими без вести в одесском небе…

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Одесский календарь

Базарная улица

82 Алена Яворская
«Наша длинная Базарная улица», или Трое с Базарной

Алена Яворская

«Наша длинная Базарная улица», или Трое с Базарной

Одесские улицы воспеты поэтами и прозаиками. Дерибасовской, «королеве всех улиц мира сего», посвящены и стихи, и даже целая повесть. Не обошли литераторы вниманием и Итальянскую-Пушкинскую, и Екатерининскую. Но это улицы центральные, барственные (по крайней мере в начале своем).

А вот Базарная не то чтобы окраинная, но и совсем не в центре, и название не очень уж благозвучное – приземленное, житейское, можно сказать, мещанское. Но при этом сколько же на ней родилось писателей, прославивших Одессу, – ни одна друга улица таким изобилием похвастаться не может.

Начнем с первых номеров. По нечетной стороне дом, в котором родился Александр Козачинский. Почти напротив, в доме на четной стороне, родились Валентин Катаев и Евгений Петров. А потом, дальше, в таком же шахматном порядке дома, в одном из которых в детстве жил Яков Бельский, а во втором увидел свет Эдуард Багрицкий.

В фондах Одесского литературного музея хранится старая фотография, подаренная Валентином Петровичем Катаевым. На ее обороте Катаев написал: «Слева направо Багрицкий, Катаев, Яша Бельский. Какой год – не помню. Это может быть и 25, и 26, а может, даже 31 (хотя вряд ли)». В каком бы году ни была она сделана, встретились три друга не на Базарной, улице своего детства.

Как удивительно сплелись их судьбы, сколько совпадений! Они погодки – старший Эдуард родился в 1895 году, Валентин – в 1896, Яков, самый младший, в 1897.

Писали стихи Катаев и Багрицкий, рисовали очень неплохо и порой зарабатывали этим на жизнь Багрицкий и Бельский. Писали прозу Катаев и Бельский. Багрицкий и Бельский – псевдонимы Эдуарда Дзюбина и Якова Биленкина.

В 1920 году Багрицкий и Катаев сидели в ЧК на Маразлиевской, неподалеку от Базарной. А Бельский служил в ЧК. И именно он, самый младший, спас от расстрела Валентина Катаева и, скорее всего, он же помог и Багрицкому.

Где они впервые встретились, трое жителей Базарной улицы, как познакомились? Какими были?

О Багрицком-подростке писал в воспоминаниях Борис Скуратов в 1935: «За порогом его бедной квартиры <…> шумел большой южный город. Уходило вдаль море, был чудесный порт, покачивались корабли всех стран, плыли дубки, полные арбузов, рыбачьи шаланды. …Багрицкий любил этот сверкающий мир, любил исключительной любовью, которая с детских лет сделала его «веселым бродягой».

Но годом ранее со слов того же Скуратова (для анкеты Института мозга, куда был передан мозг Багрицкого) были записаны более откровенные воспоминания: «Багрицкий был самым заметным из всех сверстников, был очень компанейским товарищем, всегда принимал участие во всех шалостях и вылазках, например в драках, прогулках и т. д.».

И быт семьи описан не совсем бедняцкий: «Жили в Одессе, недалеко от Александровского парка. Ежедневно ходил гулять с бабушкой в этот парк. Был в детстве очень красивый мальчик, так что обращали на это внимание. Несмотря на то, что имел много игрушек, играть в них не любил, предпочитал сам вырезать себе из бумаги игрушки. По-видимому, товарищей в период раннего детства не было. Семья была средней зажиточности, с достатком, имелась домашняя работница. Семья придерживалась еврейских обрядов, но в значительной степени с внешней стороны имела тяготение быть «светской». Это относится главным образом к матери, которая стремилась всегда хорошо одеваться, «по моде».

Скуратов описывает и увлечение Багрицкого птицами, и его нелюбовь к точным наукам:

«…единственный ребенок, был в центре всей семьи. Был любимцем, все с ним возились и уделяли ему много внимания, за исключением отца, который уделял ему меньше времени. Но сам Э. Г. вспоминал впоследствии о том, что отец ему купил клетку с птичкой и этим привил ему любовь к птицам. <…>

До поступления в школу занимался дома, с учителем. Занимался старательно и прилежно, в этом отношении было наблюдение со стороны родных. Занимался также и древнееврейским, но плохо – по-видимому, это его совершенно не интересовало. Первое время по поступлении в частное реальное училище (ему было тогда 10 лет) учился очень хорошо, аккуратно и прилежно, имел все «пятерки». <…> Приблизительно с третьего класса поведение резко изменилось, начал относиться к учению небрежно, пропускать уроки («править казну»), получал переэкзаменовки, учился на одни двойки.

<…> уроков обычно не готовил. <…> Единственным исключением являлись словесность и история, по которым имел «пятерки». <…> В летнее время часто пропадал из дому на несколько дней, «отбился от рук» совершенно, стал «вконец испорченным мальчиком». Это сопровождалось крупными семейными сценами, отец кричал на него, сын отвечал ему тем же, мать была в отчаянии. Справиться с Эдуардом, несмотря на все усилия, не удавалось».

Возможно, именно в это же время познакомились Эдуард и Яков, может, были в одной компании. Скуратов вспоминал: «Компания, с которой водился, была небольшая, около пяти человек, состояла почти исключительно из еврейских мальчиков, но не той школы, в которой учился Багрицкий. Эта компания все свое время проводила вне дома, на море или пляже. Сильно хулиганили. Например, в парке любили смущать парочки тем, что громко нецензурно ругались или садились на шляпы, лежавшие подле на скамейке».

Именно в те годы появляется страстное увлечение птицами и рыбами: «Весной, вместо того чтобы идти в школу, шел в парк и там ловил птичек, раскидывая сети и приманивая птиц подражательными звуками. На это занятие часто ходил один. Одним из излюбленных дел было: вместе с рыбаками ловить рыбу и продавать ее на базаре», – вспоминал Скуратов.

О Багрицком в 1912 он написал: «Худой, высокий мальчик, со своеобразным лицом, как будто птичьим, сам весь похож был на какую-то птицу (хищную). Уже в то время знал наизусть очень много стихов, читал стихи Бальмонта. Очень сильное впечатление произвели на него «Жемчуга» и «Капитаны» Гумилева и «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского. Читал эти стихотворения и другим товарищам».

Сам Багрицкий о своем детстве писал достаточно жестко, а об улице и вовсе не вспоминал:

Я не запомнил – на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
Качнулся мир.
Звезда споткнулась в беге
И заплескалась в голубом тазу.
Я к ней тянулся… Но, сквозь пальцы рея,
Она рванулась – краснобокий язь.
Над колыбелью ржавые евреи
Косых бород скрестили лезвия.
И всё навыворот.
Всё как не надо.
Стучал сазан в оконное стекло;
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;
Плясало дерево.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали –
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец –
Всё бормотало мне:
– Подлец! Подлец! –
И только ночью, только на подушке
Мой мир не рассекала борода;
И медленно, как медные полушки,

Из крана в кухне падала вода.
Сворачивалась. Набегала тучей.
Струистое точила лезвиё…
– Ну как, скажи, поверит в мир текучий
Еврейское неверие моё?
Меня учили: крыша – это крыша.
Груб табурет. Убит подошвой пол,
Ты должен видеть, понимать и слышать,
На мир облокотиться, как на стол.
А древоточца часовая точность
Уже долбит подпорок бытиё.
…Ну как, скажи, поверит в эту прочность
Еврейское неверие моё?

Катаев и Багрицкий родились на одной стороне Базарной, но в разных ее концах. И познакомились два молодых поэта, если верить Катаеву, только в 1914, когда Петр Пильский пригласил молодых поэтов для устройства поэтического вечера: «…я прошу молодых поэтов собраться в литературном клубе сегодня, в 9 час. вечера».

И во время отбора Катаев «подошел к окну. На подоконнике сидел юноша в форменной куртке с отрезанными пуговицами.

– Вы гимназист? – спросил я его.

– Я реалист, – мрачно ответил он… и заносчиво шмыгнул носом, как бы показывая, что ему на все решительно наплевать с высокого дерева. <…>

Он говорил специальным плебейским, так называемым «жлобским» голосом. Это было небрежное смягчение шипящих, это было «е» вместо «о». Каждое слово произносилось с величайшим отвращением, как бы между двух плевков через плечо. Так говорили уличные мальчишки, заимствующие манеры у биндюжников, матросов и тех великовозрастных бездельников, которыми кипел одесский порт. Это был высший шик в районе Дюковского сада, Молдаванки, Александровского парка.

<…> Молодые, безвестные, очень одинокие среди фланеров с папиросами «Сальве» в зубах, южных франтов в желтых ботин-

ках и панамах, наполнявших жарким шарканьем подошв улицы центра, мы долго шлялись по городу, провожая друг друга, – и читали, читали стихи, которые казались нам в эту ночь замечательными».

Так написал Катаев в 1935 году. А спустя сорок лет, в 1975, он напишет в «Алмазном венце»:

«...я не мог не восхищаться и даже завидовать моему новому другу, романтической манере его декламации, даже его претенциозному псевдониму, под которым писал сын владельца мелочной лавочки на Ремесленной улице. Он ютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым томом «Жизни животных» Брема – его любимой книгой – на антресолях двухкомнатной квартирки (окнами на унылый, темный двор) с традиционной бархатной скатертью на столе, двумя серебряными подсвечниками и неистребимым запахом фаршированной щуки.

Его стихи казались мне недосягаемо прекрасными, а сам он гением».

Валентин Петрович с детства мечтал стать писателем. И знал, что будет им. Может быть, и это решение он принял в доме на Базарной, и первые свои, детские, стихи сочинил именно здесь. «Одесса, хорошо знакомый мне город, в котором я родился и жил на Базарной улице».

Три фотографии времен жизни семьи Катаевых на Базарной. На одной, достаточно известной и часто воспроизводимой, – младенец, «китайчонок», как называли его за немного раскосые глаза. На второй малыш, еще в девичьем платьице, а в руках – книжка с картинками. На третьей, почти выцветшей, счастливая семья – улыбающиеся отец и мать, и хохочущий мальчик. Единственная фотография, где они втроем…

В «Волшебном роге Оберона» Катаев часто вспоминает об улице, на которой родился. Именно на ней он впервые услышал музыку города, а мама не поверила:

«– Не слышу никакой музыки. Все тихо.

– Нет, музыка, – упрямо повторил я.

– Ты ужасный фантазер, – сказала она и, взяв меня за ручку, повела по нашей Базарной улице обратно домой, но все равно по дороге, стуча новыми башмаками по плиткам лавы,

которой были замощены многие улицы нашего города, я слышал за своей спиной странную, ни на что не похожую музыку, то как бы отливавшую, то приливавшую, то смолкавшую, то усиливающуюся».

Музыка города, дом, наполненный любовью и счастьем, первая книга, которую читает мать, волшебные ночи: «за окнами светилась невероятно яркая лунная ночь и вся Базарная улица за окном была зеленой, с очень черными тенями голых деревьев и телеграфных столбов. Длинная железная оцинкованная крыша фабрики напротив была посеребрена лунным светом».

И даже выход из дома на улицу подобен чуду, да и встретить на улице можно много чудесного:

«Для того чтобы выйти на нашу Базарную улицу, следовало пройти под каменными сводами, в конце которых как бы в подзорную трубу виднелась резная арка ворот, а за нею до рези в глазах яркая и по-воскресному пустынная улица – центр моего тогдашнего мира.

Мне было года три, и я шел рядом с папой, не держа его за руку и даже отваживаясь иногда опередить его, чувствуя себя при этом как-то особенно молодцевато-самостоятельным, независимым и от этого еще более счастливым.

Опередив папу, я выбежал из ворот и в сияющей перспективе Базарной улицы заметил фигуру приближающегося человека. Еще никогда в жизни я не видел такого красивого господина – щеголя в летнем люфовом шлеме с двумя козырьками (один спереди, другой сзади), так называемый «здравствуй-прощай», что уже это одно само по себе привело меня в восхищение, так как я впервые в жизни увидел такой красивый оригинальный головной убор».

На Базарной неподалеку от дома, где жила семья, были аптека и магазин Карликов. И за лекарством заболевшему Вале кухарка бегала «в аптеку, в ту самую аптеку против магазина Карликов…». И гуляя, Елизавета Катаева с маленьким Валей проходили мимо аптеки.

«Я уставал идти по улице, держа маму за палец в лайковой перчатке, и просился на ручки, на что мама – помнится мне – всегда говорила одно и то же:

– Как не стыдно! Такой большой, хороший бутузик, а ходить до сих пор как следует не научился.

Она меня ласково называла «китайчонком», а иногда Ли Хунчангом.

И я продолжал шаркать своими туфельками по гранитной мостовой, когда мы со всеми предосторожностями переходили на другую сторону против уже знакомой мне аптеки с двумя громадными стеклянными графинами, наполненными один лиловой, а другой зеленой жидкостью, ярко светящейся, как бы сквозь увеличительное стекло, в больших окнах, где виднелись черные полки с белыми фаянсовыми банками, помеченными зловещими надписями, которые я не умел прочитать».

А неподалеку был магазин, в котором мама покупала «приклад, необходимый для шитья своих платьев у модистки Фани Марковны, а для меня цветные карандаши, резинки, липки, а также переводные картинки и просто разноцветные картинки, целыми листами висевшие на бельевых защипках над ящиком прилавка с потертыми, почти матовыми стеклами, огражденными сверху от локтей покупателей медными прутьями. <…>

Я очень любил, когда мама брала меня с собой в магазин Карликов за покупками. Должен прибавить, что сам Карлик всегда был в котелке, отчасти напоминая этим старьевщика, так как все старьевщики нашего города носили котелки и назывались не старьевщиками, а «старовещиками».

Мальчик взрослел, но «по-прежнему за окнами была видна Базарная улица с телеграфными столбами, белыми баночками изоляторов и сетью телеграфных проводов. <…> Вечером, когда в комнатах уже горели сумрачные лампы, освещающие цветы на обоях, а за окнами шумел зимний, предвесенний дождь, всегда особенно печальный в городе, и по нашей Базарной улице текли пенистые потоки, низвергаясь водопадами сквозь решетки городской канализационной сети, вделанные в гранитные обочины мостовой».

На Базарной родится его младший брат Женечка:

«Несколько раз ребеночек, не раскрывая глаз с набухшими веками, издал ротиком довольно громкий крик:

– Кува, кува, кува!

И тогда мама, лежавшая на кровати, по-девичьи разметав по подушке свои смоляные волосы, с нежным усилием улыбнулась искусанными губами и проговорила почти совсем пропавшим голосом:

– Ах ты мой маленький кувасик.

С тех пор моего братика долгое время называли Кувасиком.

Когда же Акилина Саввишна положила спеленатого ребенка рядом с мамой, приложив его личико к ее надутой, влажной, с кораллово-коричневым соском и каплей молока на нем груди, мама с усилием протянула ко мне ослабевшую смуглую руку, погладила меня по голове с двумя макушками и, с трудом шевеля губами, сказала:

– Поцелуй своего братика».

Через полгода мать простудилась и умерла от воспаления легких. А «за окнами так непостижимо обычно простиралась и жила своей будничной жизнью наша улица со всем своим тарахтеньем извозчиков, шагами пешеходов, криками старьевщиков, скрипом тачек».

И «похоронная процессия двинулась вниз по Базарной улице мимо аптеки, где в окнах зловеще светились графины с разноцветной жидкостью; где-то сбоку проплыл магазин Карликов, на пороге которого стояли, провожая мамин гроб испуганными глазами, мадам Карлик в накладной прическе и сам Карлик, держа в руке свой старый суконный котелок на белой шелковой, сильно порыжевшей подкладке».

К осиротевшим племянникам приезжает сестра матери, и вскоре Катаевы переехали: «С появлением у нас тети мы уже не могли поместиться в нашей дешевой, старомодно и скромно обставленной квартире на Базарной улице, рядом со Стурдзовской общиной, почти на углу Французского бульвара».

Семья Катаевых переезжает с Базарной после смерти матери. А семья Биленкина-Бельского, наоборот, переезжает на Базарную после смерти отца, в 1908 году. В рассказе «Американское наследство» он напишет:

«После смерти отца мы поселились в четырехэтажном кирпичном доме на Базарной улице. Из окон нашей кварти-

ры были видны серо-желтые стены соседнего дома. Только из одной комнаты открывался вид на длинный двор, вымощенный серыми квадратами лавы, которую итальянские пароходы компании «Ллойде-Триестино» брали с собой как балласт, когда шли за хлебом в Одессу. Тридцать одинаковых балконов, издали напоминающие клетки для птичек, уставленные всяким скарбом и вечно увешанные бельем, дополняли унылый пейзаж.

Мы были самыми бедными в этом бедном доме на Базарной улице. У нас не было отца».

Дома Бельского и Багрицкого неподалеку друг от друга.

Бельскому 11 лет, Багрицкому – 13. Была ли препятствием разница в два года? Входил ли Яша Биленкин в компанию друзей Эдди Багрицкого? Во всяком случае, на Ланжероне проводили время и один, и второй.

«Стоило только пробежать несколько кварталов, и через белую арку, на которой было написано французское слово «Ланжерон», мы видели море.

Ласковое или бурное, бирюзовое или черное, но всегда одинаково прекрасное. Вот почему одесситы полжизни проводят на улице, всегда веселы и никогда не унывают. И куда бы ни забросила их судьба, они всю жизнь вздыхают, вспоминая о море, и даже из далеких стран часто приезжают на родину умирать.

Но тогда, в чудесный майский день, о котором я хочу рассказать, мне было только десять лет, и я еще не знал цены этим богатствам. Море, и небо, и акации – все это было каждый день и рядом».

Дата знакомства Багрицкого и Катаева известна. А Бельский, скорее всего, познакомился с Катаевым уже во время Гражданской войны, на поэтических вечерах. Сам Катаев об этом нигде не писал, но его сын Павел писал об аресте (явно со слов отца):

«Итак, двадцатые годы, тюрьма, и отец, ждущий своей участи.

Собственно говоря, спасти заключенного может только чудо.

И чудо происходит.

На очередном допросе его узнает один из чекистов (фамилия известна), завсегдатай поэтических вечеров, в которых в числе прочих одесских знаменитостей (их имена также хорошо известны)

всегда участвовал молодой и революционно настроенный поэт Валентин Катаев.

Это не враг, его можно не расстреливать.

И отец оказывается на свободе.

Чекист, спасший жизнь молодому одесскому поэту, – Яков Бельский».

В 1921 году Валентин Катаев уезжает в Харьков, а затем в Москву. В 1922 Бельский уходит из ЧК. Как вспоминал его друг Мацкин, Бельский говорил, что «не был создан для чекистской работы, его раздражали постоянные тайны, не по нутру была охота на людей, даже когда они этого заслуживали». Он стал журналистом, работал в Николаеве. И туда приезжает к другу Эдуард Багрицкий. «В начале июля 1923 года я получил письмо от Эдуарда. В письме он сообщал, что сидит в Одессе без дела, что от Вальки (Катаева) и Юрки (Олеши) из Харькова никаких вестей нет и что он хочет приехать в Николаев работать. <…>

Может быть, из-за Багрицкого я до сих пор горячо люблю Николаев, в котором прошли лучшие дни нашей дружбы, дни юности и весны.

Когда я думаю о Николаеве, я – еще юноша, и Эдуард Багрицкий жив».

Так написал Бельский после смерти друга. Впрочем, в уже упоминавшихся материалах Института мозга немного другая версия поездки. «Багрицкий ушел вместе с товарищем из дому и не возвратился на ночь. Впоследствии оказалось, что [он] сильно выпил в компании и в мертвецки пьяном виде был увезен одним товарищем, работавшим в николаевской газете (Бельским), из Одессы в Николаев, причем по приезде товарищ прислал жене Багрицкого телеграмму, что он находится в Николаеве и чтобы она не беспокоилась».

В 1925 году Катаев способствует переезду Багрицкого в Москву. А Бельский повторяет путь Катаева – в Харьков, и только затем – в Москву.

Забавный портрет Бельского харьковского периода в воспоминаниях Юрия Смолича: «Жив самотою, не одружений, мало не щомісяця міняв квартирю (в ті часи в Харкові це було можливо – наймати десь кімнату).

Слева направо: Эдуард Багрицкий, Валентин Катаев, Яков Бельский

Причина була відома. Він вдягався завжди елегантно, але чомусь соромився віддавати носки в прання. Носки, коли вони бруднилися, кидав у кошик; коли кошик заповнювався вщерть, він міняв квартирю, виїздив, забравши всі речі, тільки кошик з брудними носками залишав на покинутій квартирі.

Так по всьому Харкову були розкидані кошики з брудними носками Бельського. Не знаю, чи так було й в Москві, куди він переїхав, запрошений «Крокодилом».

В Москве Бельский появился в 1930. И друзья вновь встретились. Ненадолго.

В 1934 умер Эдуард Багрицкий.

В 1937 был арестован и расстрелян Яков Бельский.

Валентин Катаев прожил долгую жизнь. О Багрицком он написал и в киноповести «Поэт», и в «Алмазном венце». А о Бельском только рассказывал. Но именно эти рассказы и помогли восстановить биографию Якова Бельского.

Ведь на той самой фотографии трех друзей при печати в книгах сидящего справа Бельского часто отрезали – и не потому, что он был репрессирован, а потому, что никому не известный человек в компании двух писателей казался лишним.

Но никто не был лишним в компании трех друзей, трех писателей с улицы Базарной, улицы их детства и юности.

На Базарной, № 4, мемориальная доска Валентину Катаеву, № 40 – Эдуарду Багрицкому. А на номере 49, где жил Бельский, доски нет. Есть лишь на доме в Москве табличка «Последний адрес».

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Проза

96 **Вадим Ярмолинец**
Моя гоголиана

100 **Виктория Коритнянская**
Одесские рассказы

105 **Елена Андрейчикова**
Курить у моря

109 **Константин Чебанюк**
Убийство Головахи. Письмо. От первого лица

Вадим Ярмолинец

Моя гоголиана

Нос 2.0

Николай Васильевич Гоголь, как вы, наверное, слышали, очень боялся, что заснет летаргическим сном и его похоронят заживо. И действительно, когда гроб вскрыли, я даже не скажу по какому поводу, увидели, что Николай Васильевич лежит на боку. Так рассказывают.

Выходит, он лежал-лежал на спине, а потом повернулся на бок и продолжил спать мертвым сном? Другой бы, наверное, все перевернул в этом гробу. Порвал обивку, сломал ногти, перекусил вены, сжевал с голодухи цветы, а Николай Васильевич спокойно повернулся на бок и продолжил сопеть в свой длинный нос, пока не умер уже по-настоящему. Нет, я думаю, дело было не так. Скажем, когда гроб опускали в могилу, его могли наклонить, и тело внутри повернулось. Хотя как это его надо было наклонить, чтобы тело повернулось? Они там что, пьяные были, что ли? Нет, я не знаю. Тут явно какая-то тайна.

Поэтому я перехожу к случаю другого писателя – Виктора Матвеевича Мукоройцева. Почему, вы поймете позже. Значит, извините, конечно, за такие подробности, но начну с того, что Виктор Матвеевич любил изучать содержимое своего носа. Простите меня, но это – наиболее мягкая форма описания его любимого занятия из всех, какие я смог найти. И еще раз простите. Короче, позор – невероятный. Кому-то сказать – засмеют! И вот он как-то в беседе со своей женой Бертой Соломоновной вспомнил эту историю про Гоголя. В смысле про то, что его на боку нашли. Разговор происходил на кухне после обеда. Берта Соломоновна мыла

посуду, а Виктор Матвеевич сидел, закинув ногу на ногу, у раскрытого окна и предавался своему любимому занятию.

– А вот ты представляешь, Витюша, тебя похоронят, а потом вдруг решат открыть гроб, – вдруг говорит Берта Соломоновна. – Открывают, а ты там лежишь с пальцем в носу?!

Виктор Матвеевич поперхнулся и стал громко кашлять, а Берта Соломоновна выключила воду и села на табурет, чтобы ей удобней было хохотать и утирать тыльной стороной ладони слезы. У нее было хорошее воображение, а когда она хорошо смеялась, она плакала.

Этот разговор вспомнился им, когда они оформляли документы на похороны. В Америке это принято. Чтобы не обременять родственников. И вот в графе «особые распоряжения» они вписали, чтобы покойному вставили палец в нос. Потом, багровея от усилий, которые они предпринимали, чтобы не смеяться, супруги стали следить за реакцией работника, который у них принял заявление и деньги. Тот, дочитав до этого самого места, опешил.

– Я не понял, – сказал он. – Это как?

– Вот как написано, – сказал Виктор Матвеевич. – Так и сделайте. Как говорится, кто платит, тот заказывает музыку.

Если бы вы видели, как эти двое потом хохотали на улице, вы бы подумали, что они заказали свадьбу.

Прошли годы. В похоронном доме весь штат сменился. Новые сотрудники смотрят, а по условиям контракта доставленному к ним клиенту надо вставить палец в нос. Они думают: что делать? А там была одна Милдред, двадцати пяти лет, но большая, как платяной шкаф. Она говорит: «Ребята, будьте проще, все равно проверять некому». После чего она надела резиновые перчатки, отломала трупу Виктора Матвеевича указательный палец правой руки и выполнила все дальнейшие условия контракта. А бедная Берта Соломоновна лежала в это время в соседнем женском отделении и была не в состоянии отреагировать на это безобразие. Хотя опять же, принимая во внимание ее веселый нрав, трудно сказать, какой могла быть ее реакция.

Потом прошло еще лет пятьдесят. И вдруг оказывается, что этот покойный с дурной привычкой – выдающийся писатель! Ну его как выдающегося писателя решили перезахоронить. Отвезти

тело из Нью-Йорка на родину. А он сам был из Одессы. Выкопали гроб, раскрыли, смотрят – у него палец в носу. Вот так сюрприз! Тут же прозвучала гипотеза, что он, видимо, был похоронен заживо, а когда проснулся, то сперва, скорей всего, страшно перепугался, звал на помощь, но постепенно успокоился и, чтобы отвлечься от невеселых мыслей о своем положении, занялся своим обычным делом. И за этим занятием снова умер. Потом уже, когда ткани тела истлели, рука опустилась на место, а палец так и остался – сами понимаете где. И ученые сказали: «А почему нет?».

На том и остановились, после чего известный одесский критик Эжен Кокпит заявил, что истинным автором знаменитого рассказа «Нос» является не кто иной, как Виктор Мукоройцев. А то, что официальные даты его жизни и смерти не совпадают с официальными датами жизни и смерти Гоголя, ровным счетом ничего не значит, потому что точных дат ухода из жизни двух гениев никто не знает. Действительно, кто скажет, в каком именно году Гоголь перевернулся на бок в своем гробу? Иными словами, писатель Гоголь мог быть еще жив, когда писатель Мукоройцев еще не был мертв! Вы понимаете? А если они были современниками, то авторство «Носа» – самоочевидно. Во-первых, это тема Мукоройцева. Виктор Матвеевич из нее, можно сказать, не вылезал. Что до Гоголя, то его главным образом интересовала тема смерти, нашедшая воплощение в главной поэме его жизни – о похороненных заживо. Поэма так и называлась – «Мертвые души». Хорошо бы проверить так ли это, но, как назло, ее рукопись потеряна.

Улица Гоголя

Марку Шамракову

Уезжая из Рима, Гоголь привез на родину спагетти. А ехал он через Одессу. Ну, там ему, ясное дело, тут же накрыли стол, налили сто грамм, то-се, анекдоты, в общем, все как у одесситов. Гоголь тоже развеселился и говорит:

– Хлопцы, мне ваши бычки с икрой из синеньких, конечно, нравятся, но я вам сейчас такое покажу, вы упадете.

Одесситы ему:

– Показывай!

Ну он раз им – спагетти. Те сварили их, как положено, попробовали.

– Да-а-а, – говорят, – в смысле – не-е-ет. Наши бычки все-таки получше этих веревок будут.

Гоголь обиделся и уехал к себе в Санкт-Петербург. При этом так разозлился на одесситов, что потом ни слова про них не написал. Хотел, говорят, написать, мол, так и так, чудно Черное море в районе Лузановки при тихой погоде, а потом думает: «Ага, сейчас!».

Ну это потом уже было, а тогда одесситы просыпаются – Гоголя нет. Думают: «Хорошенький гость – ни здрасьте, ни досвидания!».

Потом уже, значит, прошли годы, и они узнают: так и так, Гоголь записан группой довольно-таки неглупых людей чуть ли не в мировые знаменитости. Причем интересная новость до них доходит не как новость о Гоголе, а как о каком-то известном писателе, который ехал из Рима в Санкт-Петербург через Одессу. Они тут же поняли, что это тот тип, который их вареными веревками угощал. Да-а, такое, как говорится, не забывается! И вот теперь он известный человек и все такое.

Ну, думают, раз такое дело, то надо бы все-таки как-то увековечить факт его визита в Одессу. Скажем, улицу назвать в его честь. Любимая Одесса от этого только выиграет. Одна проблема – забыли, как этого писателя зовут. Ну что ты будешь делать! Не идти же в библиотеку и там искать его по книгам! Там знаешь сколько книг? Миллион! И хоть бы он про что-то одесское написал! Ничего подобного! Он, говорят, про Днепр пишет, а какое, посудите сами, Днепр имеет отношение к Одессе? Ну никакого! В общем, как ни напрягались, ничего про него не вспомнили, кроме этих вареных веревок, черт бы их подрал!

Короче, они посовещались и назвали в честь этого писателя улицу. Улица Канатная.

Нью-Йорк

Виктория Коритнянская

Одесские рассказы

Света

Иногда Света напоминает мне Эллочку-людоедку из романа «Двенадцать стульев». Почти так же разговаривает она после инсульта. Особенно если погода шалит. «О», «Э», «Ну это», «Вот это», «Это самое» – вот, пожалуй, и весь ее словарный запас в такие дни.

История Светы банальна. «Курила, пила, гуляла, потом – бах!» – взмахивает она рукой, показывая на голову. Инсульт случился с ней прямо на работе, в регистратуре областной больницы. Коллеги на руках перенесли ее в приемный покой, а оттуда Свету сразу взяли на стол. Хирург, который ее оперировал, уверял, что через тринадцать лет она будет как новенькая. Сам он уже давно в могиле, а:

– В этом году… Вот… Вот это… – загибая пальцы, пытается сосчитать Света. – О! Трин-н-надцать!

– Значит, в этом году будете уже здоровы? – спрашиваю я.

– Это… Это… Это вот… А как же! – смеется она.

Но, видимо, от слов хирурга теплилась в ней какое-то время надежда. Много лет подряд я видела, как Света в любую погоду разрабатывала на детских площадках парализованную руку и ногу. Вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево… Но… Все оказалось зря: рука все так же висела плетью, а нога загребала влево. Сейчас Света уже не занимается. И нездоровится ей все чаще и чаще. Сначала кружится голова, потом – бах! – она теряет сознание. Однажды вечером я застала ее на скамейке в больших очках.

– Упала! – не дожидаясь вопроса, сняла Света очки.

Широкая вспухшая царапина тянулась от виска вниз, и большой кровоподтек синел под правым глазом…

– Упала! Это… Это… Думала, все! Уже… О! О! Туда! – тычет она пальцем в небо. – А потом – нет! Не взял!

– А вам не страшно?

Света яростно машет головой:

– Нет! Я это… Это… Я хочу! Туда! О! О! – снова тычет она вверх пальцем. – Что это? Зачем? – подбрасывая вверх неподвижную руку, показывает она. – Я прошу… Это… Это… Боже, возьми меня! – и, не запинаясь, начинает:

Богородице Дево, радуйся,
благодатная Марие, Господь с Тобою,
Благословенна Ты в женах
и благословен Плод чрева Твоего,
яко Спаса родила…

Я завороженно слушаю.

– Света, вы слышите? Вы говорите нормально!

– Это… Это… Только молитву! – снова заикаясь, отвечает она.

Света дружит во дворе с тетей Лидой. Когда-то давно они жили на Слободке, и тетя Лида в юности дружила с ее сестрой Ниной. Потом Нина вышла замуж и уехала, как говорит Света, в Ольвидиополь, а они, Света и Лида, снова стали соседями, но уже здесь, на Поскоте.

Света называет тетю Лиду землячкой и делит с ней все заботы о дворовой кошачьей ораве. У нее есть даже своя любимица – «зелененькая», так почему-то называют они между собой котов полосатого окраса, кошка Дора. Света отбила ее, беспомощного котенка, у собак и выкормила, чтобы потом с наступлением холодов забрать к себе в квартиру. Но Петя, ее муж, был почему-то против. Когда она все-таки упросила Петю, Дора бесследно исчезла.

– Ушла! О… О… На небо! Ушла! – оплакивала Света любимую кошку.

Света очень любит детей. Большая, грузная, огненно-рыжая, с короткой, почти под ноль стрижкой и, словно капуста, перевязанная разноцветными платками… Она никогда не подходит и не заговаривает с ними, но часто подолгу наблюдает, как играют они на детской площадке.

– О! – поднимая вверх большой палец и широко улыбаясь, показывает она на моего сына. – Это… Это… Девочку еще и – все! Девочку, д-д-д-дюймовочку! У меня т-т-тоже три! Три мальчика! Но это… Это… Аборт! Аборт! Аборт! – рубит Света воздух здоровой рукой, и глаза ее наливаются угрюмой чернотой. – А потом – Петя! Думала – рожу! А он – слабый! – бьет себя ниже пояса. – Нету, нету детей! Убила! А теперь – о! – хлопает себя по голове. – О! О! – пытается пошевелить безжизненной ногой и дернуть рукой-плетью. – Н-н-наказание!

Муж Светы – молдавский цыган. У него больное сердце. Редкая неделя выдается, чтобы к нему не приезжала скорая. Петя полный и грузный, он громко дышит, когда идет. «Вам нужно худеть, нужно много ходить», – говорят ему врачи, но Петя не слушает. Света жарит ему котлеты, а потом, сидя у парадной на скамейке, сокрушается, что своими руками вгоняет мужа в гроб.

– Так не жарьте! – однажды сказала я.

– Уйдет!

– Куда? – не поверила я.

– Уйдет! Он же… Это… Это… Он – цыган! – многозначительно подняв палец, объяснила Света, и лицо ее вдруг стало грустным.

Петя держит контейнер на Северном рынке, и заработанных им денег хватает на все: на котлеты, котов и даже на помощь семье сестры Нины, той самой, которая живет в Овидиополе. Но в декабре Пети не стало, и Света в одно мгновение осунулась, почернела.

– Ночью он, – показывает она, как толкнул ее Петя, – и я проснулась. Я: «Петя! Петя!» Смотрю, а он уже… – закатывает она глаза.

Потом от тети Лиды я узнала, что, когда Пети не стало, к Свете перестала приезжать Нина. И контейнер стоял на рынке закрытый, и помощник мужа дважды приходил, справлялся, что делать. И Света звонила сестре, просила ее приехать, но та не хотела… И Света из-за этого нервничала, и говорить не могла, и чаще обычного теряла сознание…

Со временем жизнь Светы наладилась. Она пообещала Нине отписать квартиру, и та согласилась ее досмотреть. И контейнер Петин продала. Не пропадать же добру… Ну и что, что это единст-

венный Светин доход? Хочешь? Иди и торгуй! И на пенсию по инвалидности прожить можно, раз уж так получилось…

– И проживу! – согласилась Света. И отключила бойлер, и почти не включает в квартире свет, потому что пенсии ее не хватит, чтобы оплатить коммунальные услуги.

А недавно совсем появилась у Светы радость – кошка по кличке Марчела. Белая с черными пятнами. Кошка простая, неказистая, но Света ее любит.

– Будут морозы, я ее к себе… Это… К себе… – показывает Света на окна своей квартиры. – Я уже это… Это… Это вот… Горшок ей купила… Да, Марчела? Да? – шепчет она, улыбаясь, и смотрит на кошку взглядом, полным любви, любви к своим не рожденным детям, к покойному мужу Пете и всему живому…

Черное море

Море…

Кормит, зовет, влюбляет. Объединяет со всем миром.

Вселяет надежду на приход корабля с алыми парусами.

Слушает молча, успокаивает, смывает печали…

Ласкает, шумит, плещется… И кричит криком чайки, и бьется… И бывает в тумане…

Меняет цвет, удивляет, восхищает. Освежает, радует, закаляет и любит героев.

Вдохновляет, рождает стихи и прозу… И живет на полотнах художников.

Делает Одессу Одессой…

Как повезло нам, что оно рядом. Море… Наше Черное, самое синее на Земле море…

Елена Андрейчикова

Курить у моря

Она села в машину на переднее сидение, хотя обычно в такси ездила на заднем. Почуяла носом едкий мускусный, всегда ее смущающий запах мужчины.

– Таксист – не мужчина, уймись, – она одернула свою помятую улыбку.

Он был вежлив, учтив и внезапно заботлив.

Предложил жевательную резинку.

На светофоре протянул руку куда-то под низ ее сидения, что-то скрипнуло, сидение отодвинулось назад, ее колени перестали упираться в бардачок. Он действовал уверенно, но деликатно, даже не задев ее рукой. Хотя она успела подумать, что вот, воспользуется, и проведет случайно по правой коленке крупной тяжелой пятерней. Тяжелой – только на взгляд.

Уточнил, нравится ли ей музыка.

Сделал громче, когда ответила.

Угостил сигаретой, когда она вдруг сама сделала тише музыку и сказала:

– Страшно хочется курить.

Протянул ей пачку, в этот момент улыбнулся, она тоже улыбнулась и достала случайно две. Он пошарил по карманам, в пустой пепельнице, в подлокотнике, но зажигалку не нашел.

Она положила сигареты назад в пачку. Остановились у ночного магазина.

– Я быстро.

Зашла и задумалась, что бы еще купить. Засмотрелась в зеркало витрины. Слегка круги под глазами. Но это можно списать

на освещение. И светлые волосы спутались у виска. Расправила. Почесала хитрый нос. Непонятно, почему хитрый. Так о нем подумала в тот момент. Есть хочется. Пить хочется. Курить хочется. Домой не хочется.

Дома пусто. Адски пусто. Только нежное одиночество. Настолько нежное, что всегда готовое задушить ее в своих объятиях. И звонить кому-то поздно.

А никому и не хочется.

Снова одна в окружении миллионов людей.

Нет, все-таки позвонить хочется, хоть кому-то, и просто сказать, как же, люди, тошно жить. Вроде хорошо. Хорошо жить. Вроде бы. Но до рвоты. Просто сказать об этом кому-то.

Подруге.

Маме.

Новому хахалю.

Ха. Ха. Ха.

Она купила презервативы. Сама – впервые в жизни, между прочим.

Да, и конечно, зажигалку. Как договаривались.

Вернулась.

Он поднес зажигалку к ее сигарете. Она была готова затянуться, вдруг резко отстранилась, как будто огонь задел ее ресницы:

– Давай не здесь. Давай у моря.

Пассажирка – не женщина. За ней не надо ухаживать. Не нужно цветов, ресторанов, признаний. Ее не надо долго соблазнять.

Море и ночь.

Успеть до рассвета. Рассвет возмутится, что же вы такое делаете, взрослые чужие люди.

Море и ночь не спросят. Они подыграют. Они подпоют.

Он снова залез рукой под ее сидение. Дернул, и она отъехала до конца, до заднего сидения.

Да, в машину она садилась не совсем трезвая, но на это не спишешь ее смелость. Да и какая нужна смелость, если тебя сжирает одиночество, и рядом только он, таксист – который не мужчина. Но как же? Почему же? Мужчина, еще какой. Пахнет добротой и лаской. Деликатный. Осторожный. Сильные руки. Уверенные руки.

Разве такое бывает? Как будто он ее знал. Все быстро расстегнул, все аккуратно приподнял, целовал, где следует. Именно ее следует целовать. Вступление отыграл уверенно, как будто делали они это каждый вечер в течение года или около того. Иной раз и за год не научишься так попадать по клавишам.

Но нет.

Они впервые.

Море и ночь. И два человека.

Сильно любил, до боли. До боли в душе, которая ни за что не хотела, чтобы это заканчивалось. И почему-то вспомнила брата, такая же, как у него колючая щека. И подругу, которая говорила, что учить любовников бесполезно, что да как, что из семи миллиардов обязательно кто-то умеет без слов. Без подсказок, без нот, без инструкций. Полная импровизация. Виртуозная шедевральная идеальная импровизация. И даже там наиграл, где она и не знала, что можно.

У него были свои презервативы. Ее покупкой так и не воспользовались.

Она твердила про себя:

– Господи, как же хорошо… Господи, ты слышишь… Прости меня, господи, что вечно ворчу на тебя. Прости, что не верила в чудеса. Он такой чудесный. Так целует, как будто любит, господи, представляешь.

Казалось, вот-вот зашепчет это вслух.

– Господи… господи…

И действительно – вслух.

Вот снова.

И потом вскрикнула, замерла, посмотрела ему в глаза и скорчила шпионскую гримасу, вскрикнула громко так, что чайки у моря притихли и удивленно оглянулись на автомобиль с надписью «убер».

Засмеялись. И чайки. И море. И ночь. И двое взрослых чужих людей.

Так все просто.

И так хорошо.

Жизнь она такая, она там, где все просто, и есть улыбки.

И не стыдно совсем.

– Господи, понимаешь, совсем не стыдно.

Что думал он, она не знала. Беседовал ли с богом, как она.

Возможно, иногда и перебрасывался словами.

Но внешне был увлечен и сосредоточен.

А иногда рукой проверял, не сполз ли презерватив.

– Я не одинока, господи, нет-нет. Женщина не может быть одинока, если она такое чувствует. И женщине больше не следует ворчать на бога, если он дал ей такие море и ночь.

После он оказался еще более деликатен. Всего несколько нейтральных вопросов. Больше смешных, чем нужных.

– Какая ты…

Он помедлил. Она боялась, что вот сейчас все испортит. Таксист – не мужчина. Не предъявляй претензий, не жди.

– Какая ты… какая ты…

И водил рукой по волосам.

Оделись и еще долго сидели в тишине. Смотрели оба вперед. То ли на море. То ли на чаек. То ли просто глаза блуждали, пытаясь ухватиться еще за несколько повисших в небе минут.

Она выходила из машины и улыбалась. Неважно, ничего не важно. Пассажирка – не женщина. У нее не надо спрашивать, как зовут. У нее не надо брать номер телефона. Не надо обещать звонков, свиданий, приличий, повторения.

Одиночество? Какое к черту одиночество! Нет его в мире. Если чужие люди, случайно столкнувшиеся на бегу, могут такое почувствовать, разве ж они чужие?! Их просто нет в мире чужих. Все свои. Всем все понятно. Понятно, что ночь черная, а море соленое, слова иногда лишние, а улыбки – нет, улыбки никогда не бывают лишними. И презервативы, кстати, тоже.

– Господи, только никому ни слова, – вскользь глянула она на небо, заходя в подъезд.

Жаль только, так и не покурили.

Константин Чебанюк

Убийство Головахи. Письмо. От первого лица

Из сборника «По разные стороны жизни»

Смешно, Юра, в наши дни письма писать. Но странное дело: давнишние перипетии чужих судеб, довоенная история от четвертых лиц стала вдруг смущать меня, и я засел за длинное послание. Найди время, почитай как-нибудь. На досуге только, чтоб не по диагонали, как в ОГУ бывало…

Анатолий Ч. ушел из нашей школы после седьмого класса, и ты едва ли помнишь его. Но я рядом с их домом у Белого Цветка два лета сторожил за мать огурцы колхозные, и мы с Толиком и его младшей сестрой объедались ими: в сорок шестом и сорок седьмом в самый раз было, без хлеба и соли, правда. Я и в доме у них бывал, знал мать ихнюю. Всему этому больше полувека… Толик зашел вдруг ко мне с неделю назад, в День Победы как раз. Зашел не случайно: ему попались на глаза мои опусы в бывшей твоей газете, и он обращается ко мне со странной просьбой…

За забором из кашки жили у них соседи, дед Саша и бабушка Саша, супруги-тезки и однолетки. Дед Саша гордился тем, что родился в один день с Шаляпиным Федором Ивановичем, только ровно на пять лет позже. Из-за кашки иногда можно было услыхать фрагмент песни об отважных людях стран полночных, иногда дед Саша проходил сквозь живую изгородь на огород к Толику и давал бесплатные консультации по садоводству. Случалось и мне слушать лекции известного в околотке агрария, а иногда и рассказы о том, как ходили фонтанские на Привоз пешком, как служил он в царской армии и получил от иркутского генерал-губернатора золотой рубль за арию «Чуют правду» в солдатской самодеятельности. Как работал он в питомнике немца Роты

за бумажный рубль в день и как этого рубля не хватало бабушке Саше, чтоб скупиться на Привозе на неделю… О странноватом соседе Толика как раз и пошла речь.

Угрюмой видится мне жизнь моя в Союзе. Сплошные принудиловки и никаких *слобод.* Которыми сёдни никак не нахвалятся. К примеру, касаемо учебы. Ведь не шутка – десять лет в школу ходить. А нет – затаскают несчастных родителей. Что ни март – тебе укол под лопатку. Это весеннее поздравление скворцы приносили на крыльях. А я вот угодил как-то во вторую больницу ЧАВЗО, что у Дюковского. На ежегодном медосмотре разоблачили – и на тебе, на полгода с туберкулезом. А через погодя – в санаторий на два месяца. Так не поверите, пятиразовое питание. Я тогда сдвинулся с многолетних пятидесяти кг.

В период известных предвоенных строгостей взяли деда Сашу за отравление Нельки, колхозной коровы-рекордистки. Отравил ее дед, подсыпав гвоздей в силос, – так написали куда следовало бдительные товарищи. Из тюрьмы на Парашютной возили вредителей на Энгельса, на допросы. За неделю деда измотали, и он быстро во всем сознался, хотя дура-корова гвоздей не ест – выплевывает, как слон у покойного Райкина делал. Старик сначала объяснял следователям коровьи хитрости, утверждал, что корова гвоздь ни за что не съест, обязательно выплюнет, потому что она – жвачное. Но профессионалы из ГПУ стали усаживать умника на самый краешек стула, придвигали к лицу лампочку в двести свечей и не давали спать, увозя на допросы днем и ночью. Так что животновод в три дня забыл устройство Нелькиного желудка и даже стал припоминать фамилии румынских сообщников, снабжавших его инструкциями и гвоздями…

Сидим мы с Толяном под вишнями, водяру дегустируем под свежую редисочку с лучком зеленым, и гость мой говорит все красноречивее. Круглая физиономия его раскраснелась, как когда-то, когда Ольга Павловна спрашивала его о таинственных формах немецких глаголов неправильных. Шрам его знаменитый, из-под глаза к углу скулы, белой полосою все контрастнее проступает…

– Да, Николай, – говорит Толян, а я больше помалкиваю. – Вообще-то, дед легко отделался. Лишь однажды вздумал он намекнуть на белиберду с румынами, фамилии которым сам

конструировал из соседских: Костюк – Костеску, Гробовой – Гробовеску и так далее… Но тут камерные старожилы услышали по тюремной морзянке, что «не бьют», что «отказывайтесь от прежних показаний». И на ближайшем допросе дед Саша, подписывая очередной листок протокола, спросил, понимает ли гражданин следователь, что все это ерунда на постном масле. Оказалось, что не понимает… Два тридцатилетних атлета сбили на пол шестидесятилетнего умника, потолкли малость и ножкой венского стула десять передних зубов выбили. Одним ударом. «А вообще, не били», – всегда справедливости ради добавлял дед Саша. И, сглатывая, Толик пережидает спазмы в горле…

Голос изменяет Толику. Он пережидает спазмы в горле и после длинной паузы добавляет, что дед всякий раз после эпизода с десятью зубами подчеркивал, что, вообще-то, не били…

– Но уцелел сосед наш, – продолжает гость мой, справившись с голосом. – Предвзятого наркома сменил нарком справедливый, справедливые подчиненные вникли в тонкости коровьего желудка и деда Сашу, за два месяца постаревшего на двадцать лет, выпустили к его окулировкам и копулировкам, к его бордоской жидкости… Дед залег в своем доме, и десятки лет слова от него никто не слышал… Только после хрущевского съезда стал он высовываться, наглеть помаленьку, стал рассказывать о жизни двух дюжин мужиков в царской одиночке. И всякий раз завершал дед историю свою повестью о некоем Головахе. Человек этот был «молодой, красивый и здоровый, как лев», и не только считал себя невиновным, но утверждал, что ничего не подпишет… Скоро Головаху этого стали увозить на допросы через полчаса после возвращения в камеру, и каждый раз, возвращаясь на полчаса, сообщал он сокамерникам, что не подписал ничего и не подпишет. «Я не подпишу-у!» – давил дед Саша на связки, живописуя страшную историю, а мы с сестрою замирали в ожидании развязки давно заученного нами рассказа… И вот ночью с привычным скрежетом железа раскрылась дверь камеры, и громогласное «на Ге» разбудило спящих вповалку на цементе. И стали называть себя Горенки-Гусины-Габайдулины, но Головаха спал. Тут пнули его казенным сапогом, и он вскочил, как ужаленный, прокричал нелепое «без рук!» и ушел на последний свой допрос. Через час

приволокли его вчетвером и швырнули на спящих у входа. Головаха стонал, на тихие расспросы соседей попросил посадить себя, приподнять сорочку…

Дед Саша, видать, складно рассказывал о ежовщине: у Толика моего снова перехватывает дыхание, будто видит он черный торс избитого до смерти человека, будто сам был свидетелем расправы в застенке на Маразлиевской-Энгельса, у тихого парка культуры и отдыха имени Тараса Григорьевича Шевченко. Дождался-таки Кобзарь семьи вольной, новой на родной Украине… Толян снова берет себя в руки и завершает свой рассказ про деда Сашу…

– Утром уволокли Головаху из камеры, и скоро от парикмахера стало известно, что он умер: «Где Головаха?» – «А зачем он тебе?» – «Он мне должен». – «Плакали денежки…» Так много раз денежками, которые плакали, заканчивал дед Саша свою повесть. Опускал глаза, отворачивался и уходил. А нам жалко было старого соседа, расстроенного воспоминаниями из тридцать восьмого о гибели безвестного человека, о котором мы знали только, что был он молодой, красивый и здоровый, как лев… А незадолго до дедовой смерти, после Хрущева уже, случилось удивительное. За нашим штакетником объявилась старушка: «Скажите, А. Н. Т. здесь живет?» Я указал на калитку рядом, и старушка стала стучаться. Дед Саша не слышал. Я прошел на его сторону, крикнул в окно и пошел открыть старушке. Она стала объяснять, что ищет свидетелей гибели мужа своего, Головахи, – КГБ нужно для реабилитации. Я радостно сообщаю божьему одуванчику, что попала она по адресу и что это удивительно и замечательно…

– Нет-нет! – услышал я за спиной. – Ничего не знаю! Откуда вы все это взяли? – кричал дед из-за приоткрытой двери, и деда было не узнать.

– Дядя Саша! Это жена Головахи!

– А ты, Толька, чего здесь! Помолчи! Что ты знаешь! Кто тебя спрашивает! Молчи!.. Идите, женщина, идите. Я ничего не знаю! – и дед рванул на себя дверь…

Я повел старушку к трамваю, стал было говорить о недоразумении каком-то, предложил зайти в другой раз. Но она тихо воз-

разила мне, что это бесполезно, что ей требуется письменное свидетельство, которого от Александра Николаевича ей не получить, и что она этому не удивляется…

Несколько дней дед Саша не появлялся на огороде своем, а скоро съехал к родственникам, на Долгую куда-то. Через полгода объявились за забором новые жильцы, внучатые дедовы племянники, тоже из Туновых. От них узнали мы, что скончался дед Саша через месяц после переезда и что похоронен на люстдорфском кладбище рядом с женою и тезкой, которая много лет дожидалась там мужа…

– Кстати о смерти, Николай, – прерывает паузу Толик. – Давай выпьем, не чокаясь. Даст Бог, и нас помянут, время уже подбирает и наших сверстников.

Я стал говорить, что живому живое, но гость мой развил загробную тему:

– Я, Николай, места себе не нахожу: безвестный Головаха снится. Будто на меня бросают его после последнего допроса…

– Да брось ты, Толян! – говорю я гостю. – Свечку поставь в монастыре на мысу. Там как раз соловьи сейчас упражняются. А не то – «откупори «Женитьбу Фигаро»…

– Нет, Кева, не до шуток, – осаживает меня Толян. – Кстати, школьное имя свое ты не забыл, я думаю?.. Я даже в КГБ звонил, мямлил невразумительно о Головахе… Предложили зайти, но мне что-то не очень: организация серьезная, а я приду дедовы байки пересказывать. Еще, говорят, форму какую-то заполнять. Не пойду… – смотрит гость мой на пустую посуду. – Но ведь надо бы рассказать как-нибудь об этом человеке, а? Как-нибудь и кому-нибудь… «Молодой, красивый и здоровый, как лев». Старушка умерла, наверное, давно, но есть же внуки, дети? Позвони ты Юрке… Может, сообщит как-нибудь или напечатает. Лучше бы в Одессе, у него же здесь куча корешей из газет… Меня только не упоминайте, или там псевдоним какой. А вот Головаха – точно запомни – настоящее имя…

По телефону много не поговоришь, вот и шлю я тебе, Юра, изложение рассказа Анатолия Ч., которого, видишь ли, «не упоминайте»…

…Ну, Город наш и державу ты напрочь забыл, занесет – не премини зайти. Или заехал бы специально, пока с этим просто. Вспомнили бы школу и храм науки. В остальном же «сестра Анна Кирилловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кириллович очень потолстел и все играет на скрыпке… – и прочее, и прочее», – это чтоб ты не думал, что мы тут вашего нашего Гоголя забыли. Твоим привет. До скорого. Кева.

Да вот еще: я, видишь ли, тоже не очень, поменял место действия, имена некоторых героев… Так это про всяк случай…

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Поэзия

116 **Тина Арсеньева**
Фрези Грант

121 **Анна Галанина**
Ты главная из вершин

127 **Анатолий Гланц**
Гринвич-Виллидж

147 **Алла Марголина**
Из «Книги странствий»

151 **Юлия Мельник**
Одиночество, не уходи

Тина Арсеньева

Фрези Грант

1.

Так, словно мы еще не всё сказали,
Таращатся галактики в юдоль:
Казалось мне – есть имя на вокзале
Их притяженью, внятному, как боль.

Ведь всякий поезд ящерицей юркой
Скользил меж пальцев – прямиком туда,
Где, может, небоскребы, может, юрты,
Но непременно белы – города.

С тех пор, пределов Северной Короны
Не покидая, с вотчиной в горсти,
Обвыкла я столбить собой перроны
И с долгих пирсов медленно брести.

Дана была в предел черта морская,
И всякий город ведом как привал,
И окоем, отъему потакая,
Смеясь в лицо, грозил и зазывал.

Свидетель небо – как перчатку кречет,
Люблю сей мир: отныне, как сперва.
Живу рывком: вослед или навстречу –
Незрячего, по сути, естества,

С простертою рукой: она же строже
Воздетой в крестном знаменье руки –
Ведь что у вас кресты на раздорожье,
То здесь на входе в гавань маяки.

Когда тебя понудит, что не мило,
Я стану приходить к тебе во сне
Тем берегом, что проплывает мимо,
Перроном тем, что стронулся в окне.

Но к памяти твоей не будем строги,
Ведь память – что ныряльщика страда:
В ее потьмах объяли воды многи
И перл, и сокрушенные суда.

И будь ко мне судьбы благоволенье
Ликующим, как вешний хор дроздов, –
В нем станет биться давнее томленье
Неровным пульсом дальних поездов.

Где следом кормовым кипеть и таять
Воспоминанью, я взгляну светло
В прозрении, что мировая тайна
Поймалась в сеть вокзального табло.

2.

Средиземноморье? Та же соль
На разлив – процедишь сквозь глаза.
Сотрясать обрыва антресоль
Точно так навыкшая гроза.

Ведь в упорном развороте крыл
Парусинных рея над волной,
Никуда Улисс ваш не доплыл,
Кроме глухомани островной.

Здесь твой двор, в поленницу дрова
Уложи, травою оторочь.
Как прекрасны эти острова:
Здесь бы жить – томиться – рваться прочь!

Скалься ввысь обломками гряды,
Выморщи горючие пески,
Но тебя, мой город у воды,
Обуяли те же сквозняки.

У тебя изгвазданный лиман –
Колдовству Цирцеи сто очков;
Твой в дыму дрейфующий шалман
Разразили громы каблучков:

Вся – недоумение души
Собственной оправой на одре,
Эй, Сильветта, вредина, пляши
С худенькой ладошкой на бедре!

Чей ты рассыпаешь топоток,
Юбку взвеяв, словно флотский стяг?
Малагеньи лавовый поток,
Ошалев, лакает Аю-Даг.

Все здесь впромес – наполняй стакан
Кровотоком пурпурным, заря!
Слышишь: свист – вдогон тебе аркан;
Скрежет – выбирают якоря.

Тех земель багряное вино –
Остров, остров! – руки коротки!..
Нам, таким, от века суждено
Мимо дома плыть на маяки;

Из житейской бури налегке
Выходить, живя не по уму, –

Чтоб в тумане, с фонарем в руке,
Нисходить к заблудшим на корму.

3.

Альбатросы – я слыхала – души моряков,
Чьи тела – без отпущенья сброшенный балласт.
Вот и даль отполыхала там, где был таков
Ралом водоизмещенья вывернутый пласт.

Мне – четырнадцать: не вспомню гуще синевы,
Чище – дюны, прорвы – глубже, строже – маяка.
Скоро небо скажет: «Полно!» – морю и, увы,
На мели осенней лужи бросит облака…

Но пока что, одинока, в части кормовой
Внемлю: слаженное пенье глушит толща вод.
В нем без лота и бинокля ясен корневой
Смысл безбрежности: терпенье – соль: слеза и пот.

Но терпенья не приемлет отроческий пыл:
В плеске волн слышна молитва – смысл ее невем;
Звездный зрак над морем въедлив, след, кипя, простыл,
Хор – невнятно, скорбно, слитно – длится в токе вен…

И не станут назначеньем эти города,
В ностальгию тех мелодий ненадежен трап,
Где всесветным разлученьем зыркает звезда –
У судьбы моей в колоде выявленный крап.

Грешным делом и чинарик примешь за звезду,
Где полощется мочало камня-крепыша:
Глянь – а вдруг, вперя фонарик в пенную гряду,
Бродит там, ища причала, некая душа?..

Смыть ли давние чернила, плиты ли сколоть?
Утолить ли повсеместно алчный жор костров?

Помолись – ее теснила матричная плоть;
Помолись – ей было тесно в табели миров.

Так – врасплох – сторожевая вспышка в круге зорь
Проставляет метку срока сданному внаем;
Так – времен не сознавая, весь – по кругу – зов
Грозно блещущего ока – дышит окоем.

Я лечу – белоголова, я обречена –
Это ложное преданье – это ведь во сне,
Рассекаема, два слова спела мне волна:
Обещанье – ожиданье – те, что жизни – вне…

Анна Галанина

Ты главная из вершин

Аннушка

Аннушкин дом пустоты полон,
масло в лампаде и в крест пальцы.
Не помогает, опять Воланд
смертно пугает своим вальсом.

Раз – и кукушкой поет: полночь.
Черная тень у двери – медлит…
Два – озарение. Свет? Полно,
это безумье – в глазок медный.

Три – к образам, набегу, к Богу:
– Иже еси, укажи выход!
И поклонилась Ему строго,
а чтобы понял, ушла тихо…

Шаг за порог… Тишина – вздохом,
липкий туман по пятам – дымом.
Пьяный трамвай на лету охнул,
чуть не задел… не задел… мимо…

Прыг-скок,
кругом голова…
Вдоль рельс –
красная трава.
Где свет?

И трамвая нет…
Кто здесь?
Шорохи в ответ
и смех.
Череп в полный рост…
– Здесь я
главный. Берлиоз.

Надо бежать! Ноги где? Боже…
Тени чудные вокруг бродят,
и ни души – черепа, рожи!
Крест наложить – не с руки вроде…

И завертелась – искать угол,
где бы приткнуться. Ничком надо б,
да чтобы ветер подол трогал…
И костылям бы была рада…

Дома, наверное, гроб мелкий –
без головы… Эх, туда кабы!
Бабы судачат… С гербом вилки
не прихватили б мои бабы!

И притомилась – свело щеку.
Рядом костыль… Да кому нужен?
А Берлиоз – зуб гнилой в щелку:
– Кто безголовый – всего хуже.

День, ночь…
Помнится едва –
век здесь?
А быть может, – два…
Здесь бы
хоть кукушки звук…
Мух бить
не хватает рук.

И все
мучает вопрос –
кой черт
рядом Берлиоз?

Был бы неплох, да на вид нечисть.
Книги писал, говорит, злыдень –
вот оттого и мигрень лечит.
И Самого, говорит, видел…

Тянет извечно одну песню:
– Головы – дрянь, суета, ругань,
поговорить по душам не с кем.
Аннушка, будь мне хоть ты другом.

Знаешь, когда меня пьет Воланд,
я упускаю момент. Странно,
словно есть голос, да нет слова…
Я бы иначе писал, Анна!

Брови ссутулит… Обнять? Нечем…
После посмотрит вокруг хмуро
и заорет петухом певчим:
– Масло зачем разлила?! Дура!

Так – век.
Не прогнать никак.
Слов нет?
Не нашел, дурак.
Знать бы,
где тот божий свет,
а здесь говорят,
мол, нет…
Врут. Мне б
крест сейчас нести…
Вдруг – свет!
Господи еси…

Вальс из-за стенки… Опять вечер,
и долгожданных шагов звуки…
Муха жужжит… Да убить нечем –
смирной рубахой сплели руки.

* * *

Живешь себе, вся в себе,
не выходя из.
Несешь в себе свой Тибет,
вверх по нему, вниз.
Ты главная из вершин,
небо тебе – твердь,
а кто-то внизу решил,
что наверху смерть,
лавины идут, грозя,
не удержать вдох.
Но там, где дышать нельзя,
может, живет Бог.

* * *

Кривая да не торная,
от пятого угла,
на все четыре стороны
дорога пролегла.
Там вороны не кормлены,
им некого жалеть,
и ждет седая, черная,
растрепанная смерть,
что мальчики кровавые
в кисельных берегах
пойдут косить на славу ей,
на совесть и на страх.

* * *

Чем закончится, не знаю.
Клетка, воля, поводок.
Бело-красно-бело знамя,
черный ворон, воронок.
Во дворах многоэтажек
песни, братство хоть на час,
или бойня, или даже
все молчат, нет больше нас.
Я не знаю, что увижу, –
тени трусов, смелых стать.
Город спит, мой город выжил,
город учится мечтать.

* * *

Час надыходзіць расправіць плечы,
час для сустрэч, развітання, час
пошуку сэнсу забытых рэчаў –
вольныя мы, ці няма ўжо нас.
За перамогамі – боль і страты,
выратаванне – і жах, і цуд.
Яснае неба над кожнай хатай,
ці мы да неба ўзнясемся тут.
Колькі мальбы ў вышыню ляцела…
Божа, глядзі – ажывае сцяг
бела-чырвона-белы. Бела-
русь падымаецца на касцях.
Кожны чацверты, трэці кожны, –
каб не загінулі тут і зноў, –
Божа магутны, пяшчотны Божа,
будзь сення побач дачок і сыноў!

* * *

Время позднее.
Звезды гроздьями
на антеннах и проводах.
На термометре – безморозие.
Межсезонная маета.
Делать нечего,
время мечется,
как безгрешие без гроша
базнадежное. Этим вечером
откровениям – дорожать.
Слышать главное,
мысли главами –
на бумагу из-под полы,
где некормленые двуглавые
медно-мелочные орлы.
Утро раннее.
Ближе дальнее,
так светает – издалека.
Бог за пазухой – так сохраннее
ныне, присно и на века.

Минск

Анатолий Гланц

Гринвич-Виллидж

1.

Нам в тисках слоново-трудных
изуверского заката
ниспослал могучий мальчик
им плененные сугробы.

Самый храбрый мцырь на свете
ввез коричневые бревна,
отрешенные богами,
и уключины закатов.

Для дальнейшего знакомства
провороты сновидений
занзибарских муравьедов
подослал коварный отрок.

Кто владеет правдой боен
и неправдой откровений,
кто томатами насыщен,
тот пускай читает это.

2.

Зазвенят в рулетках дзеньги,
засинеют грудой фишки
Сложных бритвенных разрезов
нахлебется сонный воздух.

Одурманенный Гудзоном,
околпаченный бейсболом.

Об Омерике куплеты
сочинял я крепдешинно.
Продаю их вам лимонно
и окучиваю модно.

Гринвич-Виллидж вязнет в снеге.
Воробьи поют, как птицы.
На припудренных карнизах
жестко сплетничают галки.

Хороши и гладколицы
подстаканные кружочки.
Квадратичны и завидны
табуреты темных баров.

Педерасты в длинных майках
лесбианно говорливы.
Небо – модный парикмахер,
дождик сахарный погонщик.

Лесбиянки в тонких шубах
губодлинны и проворны.
Ослепительно ничтожны
фонари на тонких стеблях.

Что б вы там ни говорили,
стужи синтаксис бессмертен.
Громко пользуется вьюга
пунктуацией морозов.

Восклицает шпили зданий,
запятые ставит в окна,
точки лепит после жизни
и кавычки в каждом браке.

Всепогодный пегий гринвич
и аляповатый виллидж
подошли ко мне случайно,
обознались, извинились.

Одноногий серый кромвель
и его приспешник черчилль
подошли ко мне отчасти,
утеряв пальто и шапку.

Под косынками галактик,
над бананами созвездий,
Еврипидами событий,
Фемистоклами собраний

жирных всхлипов саксофона
нахлебался сонный воздух
на путях беспозвоночных
дискотек ночного клуба.

Постригусь в монахи света,
повяжу лимонный галстук.
Ты попробуй, вышибала,
на меня взглянуть сурово.

На драконьих спинах моста
у шипучих частоколов
самураи снегопадов
силой мерятся с дождями.

3.

Здесь выигрывает пламя
и проигрывает воздух.
Головой битья о стены
отвечают на вопросы.

Че__рно-белою бравадой
ослепительного блеска
мы скользим по Гринвич-смыслу
угловатой процедурой.

Нам навстречу мелким бесом
первобытная наяда
в расклешенной новой плоти,
распирающей теснины.

Беззаботность ее взора
и кочевничество пальцев
бьют оседлость пышных бедер
и округлость мятных икор.

Тут овальность ее ногтя,
лизоблюдство спелых десен,
низкий ромб голеностопа,
пуповинная курчавость.

Вот какая нематода
поднялась из черноземов.
Из внематочных суглинков
проливной земли индейской.

Черным блеском саркофагов,
точным выездом животных,
ненаездом на несчастных,
усмирением безликих.

Горизонты отнимая,
математику тираня.
Числовую ось лелея,
к нам идут пифагорейцы.

Окуните лица в бочки.
Оторвите глаз от павы.

Знамо дева оттопыра
воспаляет Междуречье.

Вертикальная углами.
Криволапая стопами.
Распаленная мужами.
Многорукая норами.
Одномерная умами.

Обратимся к Пифагору,
Он такое с детства видел.
Пифагор нам врать не станет.
Пифагор нас всех научит.

Пифагор, козел трехглавый,
ты куда привел науку?
Но писатель Пифагорький
завещал нам теорему.

Пифагор Голеностопов,
Архимед Электрокаров,
Тит Лукреций Помидоров,
Демокрит Рододендронский.

Треугольник Пифагора
был любовный треугольник.
Мало кто об этом знает
и никто не хочет вспомнить.

Пифагор любил Маринок,
зрелых девушек в пижамах.
Целовал их в каждом доме,
приносил охапки далий.

А еще лобзал Наталий,
женщин стройных и замужних.
Целовал их повсеместно,
унавоживая пашню.

Быв большой любитель неги,
их разбрасывал по кухням.
Впитывая жар пощечин
от мужей, лежал в парадных.

Архимед любил науки
Тит Лукреций буераки.

Большевик страданий моря,
Демокрит изгнаний томных,
тот всегда рыбачил днями.
Кто ж ночами трогал женщин?

Только Пифа Только Пифа
Треугольный, своенравный.
Только Пифа ненадежный
Беззащитных трогал женщин.

Как во всем приличный катет,
он любил гипотенузы
склон и подлинную роскошь
и податливую тела
славил медленную дерзость.
Благодарно из туники,
как фруктовое повидло,
треугольницу бровями
и окружницу глазами
вынимая каждой ночью,
ей заделывал отверстья.

Так, что снова целомудрой
и гнедой спала фигура.

Озирая мутным оком
снизу лестницы пролеты,
голова его обычно
прям-углов была вершиной,

на ступеньках сладострастья
возлежавшая курчаво.
А пролет гипотенузой
нависал над ним зубчато.

Так под крашеной перилой
мудрый грек, любитель плоти,
завещал нам двоеженство
и любовь не по карману.

Но при чем тут Гринвич-Виллидж?
Не скажу вам, я не знаю.
Ты пойми мои писанья.
Сам их я понять не в силах.

4.

Обнаружились просветы.
Босяки деревни виллидж.
Искрометная богема,
деклассированный люмпен.

Кто с зеленой бородою.
Кто с просительным стаканом.
Кто на улице, уснувши,
кто на паперти сомлевший.

Слушай, бурая лисица
откровения и знаний,
Достоевскому не снились
идиоты этой силы.

Лишь бы выбраться из смысла,
из тупого унисона,
устремляясь к пошлым звездам
в гребешках пожарных лестниц.

Из прозрачного запоя
лишь бы выбраться. Из дыма.
Кенгуру мечтал из сумки
лишь бы вылезти. А дальше?

На песках Копакабаны,
на часах зари бузовой,
чья гавайская рубашка
жирно треплется ветрами,

поднимайся из трущобы,
приготовь лимонный завтрак.
Дай зарок простейшим людям.
Вспомни клятву Гиппократа.

Не забудь наполнить уши
минаретным шумозвоном.
Свечи дальнего пошиба
сбереги к Восьмому марта.

Пидормерия деревни
под названьем Гринвич-Виллидж.
Гайаваттная прослойка
киловатт на девятнадцать.

Утепляющая кожу
оголтелая одежда
на тебя взглянула мехом
над подмостками стриптиза.

Мой прекрасный добрый Гринвич,
мой отверженный Гюгоша,
мой аляповатый Виллидж,
лопоухий старый собак.

Черно-бурая еврейка
озарилась пониманьем

губ задавленно прекрасных,
обойдя чужие взгляды.

Прижимаясь ухом в стены,
нашалила искушенно.
Отлюбила первозданно,
как рабочая засада.

Нашептав слова на брюки,
подарила птичий профиль.
В нем хрустальная медуза,
несгораемое счастье.

Искушение укусом.
Подношение подносом.
Севастопольская битва
за манхэттенские лужи.

Обеспечивая глиной,
Встанут раком синагоги.
Витгенштейновская слава,
времяскользкие подвалы.

Фельдман новых откровений
вытрет нож о бутерброды,
Вандербильт могучих знаний
вытрет ножик о засаду.

5.

Долгих бритвенных разрезов
нахлебался сонный воздух,
одурманенный Гудзоном,
озабоченный бейсболом,

научив меня упруго
подниматься по ступеням

в чесноках зеленой славы
купоросом желтых денег.

Дыней пахнущая вишня.
Позолота винограда.
И зеленая посуда,
босяки деревни Виллидж.

Как мочащийся пьянчуга,
всяк рассвет неисчерпаем.
В ритме старого цугцванга
поливал фонтан ступени.

Вдох губы пирамидальный
обнаружил зуб жемчужный.
Как рептилия гадюка,
всяк рассвет млекопитающ.

– Я сегодня не одета, –
волновалась Эсмеральда,
дрогнув длинными сосками
под завесой водопада.
– Ну и что-о-о, – запела Ольга, –
– я-а-а одета только сни-и-и-зу!
– Прекрати, – прервала Эмма, –
Я и снизу не Одетта.

6.

Одиночества набатом
Прозвучал колючий Цфасман.
Он приходит, он явился
образцом иных пропорций.

Мцырь, каких народ не видел,
он скользит по эродрому.
Взмах – копною птичьих перьев,
весь – Нью-Йорка зоркий дятел.

В чесноке благоуханий
он учуял запах веры.
В нашатырном дровосеке
отогрел запасы стружки.

Весь – владыка потрясений
в обходительном бесстыдстве.

Среди слов неостроумных,
средь шести галлонов кваса
в острокруглом тихоморье
рыхлой паперти пространства

слово теплое – вестимо.
слово точное – я с вами,
слово верное – сгораю,
и обманчивое – буду.

Вот откуда норов гостя,
отмывающего лица
от усталости дорожной
возле сумки с ремешками.

Это шорохи подземки,
это клекоты в полоску,
это серпики на флаге.
Это лязги метростроя.

Тех же, кто надеть стыдится
диадему умираний,
в сельтерской воде вдыхая
запах кислого завода,

пусть его рифмуют кони
на привалах курской битвы.
Пусть его лелеют свиньи
и метелят аскариды.

Как холере неподвластен
дальномер слепого солнца,
уготованного нивам,
предназначенного птицам,

так владеют суммой знаний
черногубые гидранты,
кислолицые японцы
и обманчивые сидхи.

Внеземные папуасы
и чванливые пигмеи,
обольстительные персы
и презрительные кхмеры.

Чуткоухие антенны
отнимают звук у неба,
жарят шорохи в томате,
моют писки в керосине.

Режут ноты на частицы,
в мандолины их заводят.
Оснащают ультразвуком,
измеряют амперметром.

А потом ножом пчелиным
ван Гроохена из Брюгге
знаменитого хирурга
им присваивают смыслы,

превращая песни мая
и симфонии июля
в оратории апреля
и прелюдии Китая.

7.

Из архивов мыслей пыльных
напрокат возьму я вздохи,
омочу в болотах перья
восхищения страною.

Калифорно жму педали,
за Небраску отвечаю.
Извиняюсь за Вайоминг.
Ухмыляюсь вашингтонно.

Индиана, что там слышно,
Калифорния, не жарко?
Где казачья Миннесотня? –
миссисипло вопрошаю.

Где ютились в Юте гости,
одноруко вытираясь?

Ночью Ева из Айовы
тайно выломала прутья.
Пьет с лезгинами Джорджия,
Мэриленду подпевая.

Из болот из нью-джерсийских
помавая острым клювом,
я хочу понять, Небраска,
с кем вам дышится ночами?

Почему не спит Вайоминг?

А Вайоминг спит с Джорджией.
Потому не отвечает.
Потому не шлет ответов.
Потому не хочет слова.

Через пыль других галактик
я пробрасываю веник.
Я протягиваю шорох
и усматриваю проблеск.

Штольни глаз направив буквой,
ты отыскиваешь повод.
Ты подделываешь почерк
и дописываешь повесть.

Перекличка севроштатов
продолжалась днем и ночью.
Изо рта страны буквально
вынимали зубы жизни.

А из Юньона из сквера
Пахло гарью вековою.
Лавой медленной вулкана
из страны Оджибуэев.

Чем была вулканов лава?
сковородкой для яичниц.
Здесь вынашивались темы,
выкомаривались букли.

Не подсчитывались средства,
но усматривались суммы.

И служили им подспорьем
Кузя Минин и Пожарский,
серебром стерлинговатым
травы те, что не успели.

Дальним севером Канада,
ниже к югу – мексиканцы.
А мякиш горючий лета
укатился вместе с нами.

То, куда мы появились,
называется поэмой.
Ведь на тонком обороте
лиц, приверженных ночами,
ночевал могучий отблеск
первомайского салюта.

И обжаренные, с луком,
как индейка в жарком гриле,
залегали нежно Штаты
в океана луже синей.

Серединой континента
на куриную похожа,
отбивная в желтом кляре
возле Кубы на цепочке.

Напролом ломая волны
после каждого тайфуна,
атлантическая няня
им спиричу напевала.

8.

Чтобы солнцам было легче
подниматься над забором,
освещая путь кулисам
чудных кукольных театров.
Чтобы вы гуляли смело
за пределы пошлой нормы,
я недавно принял меры:
позвонил премьер-мажору.

Туну жарили мы втуне.
Заправляли баклажаны.
В трех широких грозных чанах
в ночь засаливали брынзу.

Кто-то прятался в Женеве,
обнимая Женевьеву,
куртуазный и певучий,
праздный, синий и протяжный.

А окукливались люди.
И служили им подспорьем
Кефа, рыжий Мефистофель,
и механик из Продмаша.

Яша, местный парикмахер,
и цирюльник Алигьери.

Ядовитые напитки
из соседнего детсада
он возил на самокате
по заданью управдома.

Упакованный грибами,
гречневой крупой событий,
я стою, как иждивенец
на углу аллеи славы.

Стужа голая изъяла
у меня запасы тела.
Вы во мне свивали гнезда,
вы меня в себе крутили.

9.

Показав земные жвала,
уснащенные помадой,
долго в сумерках вертелся
непролазный сладкий коклюш.

Но из родины любимой
подавали звуки кряквы.

На язык осин родимых
перевел Петрарка Блока.

Там за рюмкой русской водки
карася поджарил Петя.
Шекспирятиною пахло
из народного театра.

Все вокруг чадили роли,
исполняемые скрипкой.
Червонея медальонно,
жадно стиснула Анюта
между Стиксом ног и Бронксом
закоулки огневые.

Пионеры Подмосковья
поедали бублик с маком
между делом и цветами
диких пляжей Закавказья.

Из таких как мы чудовищ
образовывались дети,
истолковывались книги
и вытачивались флейты.

Отсобачивались мухи.
Обнадеживались греки.
Отоваривались ламы.
И заламывались руки.

Вьюга дунула по небу
дулом старой митральезы.
Двадцатью тремя углами
к ней процеживались книги.

На причалах пели птицы,
гадя прямо в гарнитуры.

И вздыхали почтальоны,
глядя двойственно в монокли.

Останавливались жизни
и прикармливались рыбы.
Прикараманивались лица.
И пропихивались судьбы.

А играли мной блондинки,
изуверки из Майами,
малахольные туристки
с изумленными ногами.

Расцвели они, как пламя,
из ментоловой засады,
скорчив рожи папуасов.
Оторвав караты жвачки.

У французов на рыбалке
чернорукая цыганка,
улыбнувшись по-болгарски,
щедро выломала франки.

И пошла краснеть вприсядку
застревомая серьгами
в цельновафельные кроны
гуттаперчевых деревьев.

Под быками Бруклин-Бриджа
вновь отваливали судна,
наливаясь позолотой
рукотворного заката.

Изо ртов летели слюни
дубликатами растений.
И у моря на подушку
уложил живот Кальмаров.

10.

Встанут раком синагоги
И окраины Манхэтта.
Разовьет в себе мишени
цель мечтательная жизни.

Скользких струпьев парашюта,
преодолевая ткани,
ты распутаешь смиренно
день за днем этапы счастья.

А полякам вшистко едно.
Вмиг разбились на команды:
два и три, и семь десятых.
И четыре двадцать первых.

Тут румыны набежали.
По-татарски рассердились.
Я уже не сомневался,
полетят на кукурузах.

Полетят на кукурузах
восхищенные румыны,
и мадьярка по Дунаю
набросает в волны раков.

За толстейших мексиканок
и за худеньких японок.
За тоску чужого хлеба,
слишком узкие перчатки.

Нью-джерсийскую невинность,
мэрилендскую нелепость.
Вашингтонскую причастность,
всегудзонскую ворсистость.

За железнозадых полек,
за испанские наречья
выношу спасибо морю,
заливную благодарность.

И огромное спасибо
я художнику Мункачи.
И художнику Мункачи
параллельное спасибо.

США

Алла Марголина

Из «Книги странствий»

Шехина

С. Т.

В мире у Бога была лишь жилицей пассивной.
Строки любила слагать,
одиноко бродя и забыв обо всем.
Я ничего для себя у Него не просила –
Только бы ширились небо и море,
только бы в мире был дом.

Я бы хотела увидеть Его на мгновенье.
Знаю, что это нельзя никому, никогда,
ты о чем?
Как-то мне сузился мир
в беспризорное это забвенье.
И красота, новизна, тишина –
ни при чем.

Я продолжаю свой путь,
отмечая любые приметы.
Как бесприютен покой и безыскусен приют.
Но и свыкаешься с жизнью чужой незаметно.
Глянешь кругом – так светло,
и знакомые птицы поют.

* * *

Душа переполняется собой,
И будущего выговор невнятен.
Могу поверить в вымысел любой,
Будь только он сознанию приятен.

Какая вера защитит меня
От ощутимого уже опустошенья?
Хорал безверья на закате дня
Творят тела, не ведая прощенья.

Но птиц паренье в воздухе густом,
Но лодки в темном озере скольженье,
Но ритуал зеркальных отражений –
Все говорит как будто бы о том,

Что неуместен вымысел пустой,
Что выход будет найден – и простой.
Вот Время выплывет из-за кустов
И оглядит меня, и скажет мне: «Постой!»

* * *

Мне стало тихо и совсем спокойно.
Я обо многом стала забывать.
Приятно видеть с новой колокольни,
А о своей не знать, не знать. Не знать?
Бродить по городам и странам незнакомым.
Жизнь перекраивать на новый, странный лад.
Порой бывать наедине с искомым.
Предчувствуя, что снова – невпопад.

И, тычась в одиночку, как попало,
Доверившись участливой судьбе, –
Не понимать, как ждать осталось мало…
Чей свет и чье пророчество в тебе…

* * *

Я отворю свое сознанье,
Чтобы проветрить это зданье.
Ведь, право, в памяти остов
Вплелось так много лишних слов,
И снов, и мыслей, и людей
Из прежней жизни. И теперь
(Когда срастить хочу, как зверь,
Ту трещину, ту рану ран,
Что пролегает, словно смерть,
Сквозь жизнь мою) – не отрекусь.
Но жить хочу.
Я так мучительно молчу.

* * *

To Paul

1.

Ненавидимый город – тобой –
Стал привычным мне. Странно, подумай:
Я бреду, с обреченной толпой
Заодно ли – одна – наобум ли…

И неверие кажется мне
Городскою утехой невинной.
И идиллию тихих полей
Я люблю, но души – половиной.

Только если восходит луна
И в глаза поглядит мне тревожно,
Вспоминаю, что правда – одна.
Что безбожная жизнь невозможна.

2.

Это летнее начало,
Эта мука в каждой клетке…
Неужели укачало
В поэтической беседке?

Снова снятся вереницы
Милых мне ушедших лиц.
Что-то новая страница,
Новая игра сулит?

И душа, усталый феникс,
Устремляется на риск.
И любовь, шипя и пенясь,
Заливает солнца диск.

* * *

Небытию – небытиё.
Живым – надежды покрывало.
А мне – воспоминаний стон.
И что потом со всеми стало –

Гадать невольно и бессильно,
Как в эпилоге для романа…
И что душе невыносимо,
То для рассудка непосильно.

США

Юлия Мельник

Одиночество, не уходи

* * *

Затеряться в комнате – крошечным муравьем…
От цветка до цветка – как от Африки до Аляски.
И не слышит никто, как стучится сердце мое,
Умываясь дождем, сочиняя пестрые сказки.

Вот урок – день за днем – слышать лишь дыханье свое,
Засыпать под густым одеялом багряной тучи.
Да, живут веселей – со страстями, с чашек битьем…
В этом гулком купе я одна. Не придет попутчик.

Но касается вежливый ветер моей щеки:
«Что, дурашка, грустишь? Оглянись, улыбнись скорее».
Я б полцарства с конем отдала за чьи-то шаги.
Но, как видно, полцарства с конем мне самой нужнее.

* * *

Полдня оттикало. У полдня – светлый норов.
Там, за окном, – спешащий шумный город.
Здесь, в комнате, – так тихо и тепло,
Как будто за оконное стекло
Нас спрятали, как детские секреты –
Три бусины, обертку от конфеты…
Ты помнишь это? Чудо под песком.
Цветок сирени – с пятым лепестком,
Крыло жука, перо – потерю чайки…

Дороже этих кладов не случалась
И, может, не придется отыскать.
Жизнь – все быстрей. Все толще – слой песка.

* * *

Не нагадай мне грусть, сутулая цыганка,
А нагадаешь – что ж – возьму ее с собой…
В твоих глазах – черно, в твоих ладонях палка,
И лишь на дне зрачков – есть проблеск голубой.
Как четки – бус огонь, платок – цветаст и ярок,
Дай мимо проскользнуть и ничего не знать…
А вдруг я и сама – из суетных цыганок?
Недаром пыль дорог – мне свет и благодать.
Как видно, нам с тобой не усидеть на месте,
Но дай ладонь прикрыть и душу уберечь.
Пустая страсть пройдет, лишь музыка воскреснет
Из праха темноты в рассветном серебре.

* * *

Как грань тонка меж счастьем и бедою,
Забывшись на пороге темноты,
Достаточно цветок полить водою,
И кажется, что оживаешь ты.
Что это ты пьешь жадно, молчаливо –
Глоток, глоток, еще один глоток…
Как мало надо, чтобы стать счастливой,
Как солнца луч, как птица, как цветок.

* * *

Расскажи о стрижах, все, что знаешь о юрких стрижах,
Превратись в неуменье полет чернокрылый сдержать…
Словно шляпки грибные – рассыпаны крыши во мгле,
Расскажи о земле, все, что знаешь о спящей земле.

Расскажи обо мне, угадай меня в первом листе,
Преврати меня в краски, в прозрачный этюд на холсте,
Приходи ко мне снегом и тай, на ресницах дрожа,
Будь со мной только тем, что не вымолвить, не удержать,

Не укрыть одеялом и не напоить молоком,
Я привыкла к тебе, я уже не грущу ни о ком,
Средь пустых скоростей – хрупкой бабочкой бьешься в груди…
Я привыкла к тебе, одиночество, не уходи.

* * *

Средь деревьев застыть и остаться одним из них,
Чтобы, в землю врастая, держать на ладони птиц,
Чтобы кто-то пришел и укрылся в твоей тени,
Стать шуршаньем листвы – как шуршаньем книжных страниц.

Стыть на зимнем ветру и высокие петь псалмы,
Пересказывать сказки играющей детворе,

И почувствовать вдруг – на исходе долгой зимы –
Всех, кто, раня, готов написать на твоей коре

О весне и любви… И проклюнуться в яркий день
Самым первым листом – горьким, терпким, хмельным на вкус…
И мечтать о дожде, и мечтать о таком дожде,
Чтобы мог напоить навсегда и прогнал тоску.

Средь деревьев застыть – это вовсе не оттого,
Что непросто быть человеком – спешить, дрожать…
Но, поверив в свое деревянное естество,
От себя никогда ты не вздумаешь убежать.

ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Искусство – жизнь – искусство

156 **Вадим Чирков**
Мои одесситы

169 **Евгений Деменок**
Письма родителей к Соне Делоне

184 **Борис Горелик**
Любовь в конце эпохи

198 **Феликс Кохрихт**
Стас Жалобнюк. На краю Ойкумены

203 **Леонид Авербух**
Одесские музы поэтов

224 **Феликс Кохрихт**
Миссия Дикого

228 **Юрий Дикий**
Из воспоминаний

237 **Илья Буркун**
Дружба длиною в жизнь

264 **Ирина Озёрная**
Цирк навсегда

Вадим Чирков

Мои одесситы

Памяти Ефима Ярошевского

Пророк с продранными локтями

Ефим Ярошевский

Тогда он называл себя «пророком с продранными локтями» (впрочем, произносил он это и ради рокота, который у него здорово получался).

«Мой гуру, – писал я о нем несколько позже, – великолепной лепки голова, длинные черные волосы, зачесанные назад, острый, как бритва (сказал один художник), нос, запекшиеся губы оратора («горлана, главаря»: он был влюблен тогда в Маяковского, завидуя «поэтическим мускулам» того и его напору, ну и «Разговору двух судов на одесском рейде», конечно…). Взгляд – сверху (он высокого роста), быстрый, как бы искоса, внимательно-пронзительный, словно бы именно в этот момент увидевший в собеседнике главное…

Он лежит на деревянном топчане в нашей махонькой комнатке (я сказал «топчане», но хочется сказать «оттоманке»), лежит, подперев великолепную голову худой темной с длинными паль-

цами рукой и время от времени проверяюще на меня взглядывая, рассказывает:

– …Это было лицо, хорошо выдержанное в утреннем зеркале, готовое к предстоящему дню – лицо красивой женщины…

Наша комнатка, чуть ли не из фанеры комнатушка с двумя топчанами и тощими матрацами на них находилась в пионерском лагере на тринадцатой станции Фонтана, здесь мы и познакомились. Я, студент педина, вчерашний матрос, подрабатывал летом в должности «инструктора по плаванию», он пришел сюда наниматься на работу воспитателем.

– …Я задержал глаза на ее лице, не скрывая, что любуюсь им, – и эта первая за утро мужская дань была замечена и взята…

Мне нужен был собеседник, ему же нужна была «аудитория», и он нашел ее во мне, чьи способности в то время выражались в умении слушать и слушать: я от своих сверстников, оставшихся на «гражданке», изрядно во всем за четыре года флота поотстал.

На целый месяц я стал этой «аудиторией» Ефима, единственным его слушателем. Свои рассказы он перемежал чтением стихов, читал их вдохновенно, мастерски, то придавливая меня бронзовым гудением: «Опускайся, южной ночи гнет», то отзываясь на чью-то строчку внутренним звоном: «По рыбам, по звездам проносит шаланду…». Иные он просто пел высоким голосом: «Дверь, настежь дверь! Качается снаружи обглоданная звездами листва, дымится месяц посредине лужи…».

– Почему по звездам? – сердился я. – И как это листва может быть «обглодана звездами»?

Он, глянув на меня искоса и что-то для себя мгновенно уяснив, объяснял. Я слушал его молча, только глазами показывая, что я понял. Он же ронял (рокоча) непонятное: «Рано… рано…».

А тот рассказ продолжался:

– Для троллейбуса она была слишком хорошо одета, она была даже в тонких черных перчатках, несмотря на лето, и я подумал, что, скорее всего, шофер ее благополучного мужа внезапно заболел или машина сломалась у порога ее дома. Глаза мои были слишком откровенны, они требовали (просили скорее) хоть какого-то ответа…

Из всего, о чем он мне в то лето рассказывал, понятны мне были только его рассказы о встречах с женщинами. «Встречи» начиналось со взглядов, ими же через несколько минут все заканчивалось. Был только обмен взглядами, ну и, разумеется, то, что он (и, может быть, она) при этом испытали, какое обещание он получил взамен на свою мольбу… и этого моему гуру было вполне достаточно, чтобы он почувствовал себя счастливым. У его встреч никакого продолжения не было. Таким образом, его рассказы повисали в воздухе, как воздушные шары. На грешную землю они не опускались.

Кажется, он тут же переводил испытанные при встречах чувства в строчки, и строчки становились его достоянием, как, к примеру, донжуанский список ловеласа.

…Ночью мы идем с Ефимом к морю. Это за городом – там, где собственные дома, дачи, сады. Над морем яркая круглая луна. Она освещает узкую улочку, по которой мы бредем, не разбирая дороги, кусты цветущей сирени над калитками. Сквозь черную листву серебряно светятся крыши.

Все сказочно, все полно значения, все, что мы видим, неоднозначно. И – вторично. Сирень не назовешь просто сиренью, ибо это сирень Врубеля, ибо это «глубокий обморок сирени» Мандельштама, ибо это «соски сирени» Заболоцкого, в самом деле – гроздья ее тяжелы, округлы, душисты…

Что же еще, что же еще нового можно сказать о сирени?

Молочно светящаяся табличка на калитке, полускрытая кустами цементная дорожка к дому, свет настольной лампы из-за шторы, крадущееся к луне хищного облика облако – все это только части того цельного и огромного, что называется майской ночью у моря, когда светит полная луна.

На море лежит лунная дорожка.

Дорожка, похоже, выложена живой трепещущей рыбой. Нет, это мост! Длинный – до самого ночного горизонта, где под луной лежит светлая площадка, – висячий мост, сверкающий златом и звенящий серебром, сказочный мост, выстроенный, как известно из русских сказок, за одну только ночь.

«Вот тебе твой мост, – сказал Иван-дурак царю, показывая на лунную дорожку, – вот тебе заказанный тобою мост, – сказал Иван-дурак-поэт».

Мы стоим высоко над морем: берег внизу и вдали, к нему ведет тонущая в темноте деревянная лестница.

Здесь все сотворено из двух изначальных материалов – Тьмы и Света. Наверно, бог-художник, сказав: «Да будет свет!» – вызвал сначала из небытия луну и, вдоволь налюбовавшись Первым Пейзажем, пригласил в дневные светила солнце.

Мы стоим очарованные, подавленные храмово величественным зрелищем, мы искоса поглядываем друг на друга и боимся произнести хоть слово – найди-ка его, соразмерное тому, что мы видим!

В горле моего гуру начинает клокотать, но он не выпускает рвущихся наружу слов. Он судорожно хватает ртом воздух, извиваясь даже, чтобы помочь вдоху, забрасывает голову, стонет…

Луна сияет, как новая монета, она кажется звонкой, как щит, луна светит, как прожектор, луна висит над морем, как часы, под которыми принято назначать свидание…

Мой гуру бормочет, прикашливая:

– Луна… полночная луна… Когда… – и неожиданно, словно что-то или кого-то услыхав, замирает. Слушает, запрокинув голову… Потом поднимает руку, поворачивается ко мне. Гордый, вознесшийся надо мной, как памятник, – профиль его врезан в луну, – выждав паузу, чтобы аудитория настроилась, произносит:

Когда над Черным морем полночь
Пробьет торжественно луна,
Я призову тебя на помощь,
Тебя, эвксинская волна.

– Из темноты, из первородства, – он показывает рукой в темь моря, – Накатит первая строка,

Ни с кем не знающая сходства,
И вздрогнет чуткая рука
Поэта…

Там, где пушкинское многоточие, было некое та-та-та, некий, вернее, гул, заменявший слоги еще не найденных слов.

– Кто это? – взволнованно спрашиваю я. – Это…

– Это я! – гордо отвечает мой гуру. И, сойдя с пьедестала, делает торжественный приглашающий жест к лестнице, к берегу моря, к волне.

Мы спускаемся по ней и на первой же площадке на скамейке находим – как подарок, как приз, как приношение – початую бутылку шампанского и букет махровых гвоздик!

– А?! – победоносно оборачивается ко мне Ефим – он словно знал, что внизу нас ожидает шампанское.

– Да, – соглашаюсь я, из осторожности все же нюхая вино, – да, да…

Стихотворение заносится при лунном свете в блокнот. Мы делим пополам букет и, отпивая глоток за глотком шампанское, долго слушаем доносящий снизу накат прибойной волны. Ефим повторяет стихотворение, пробуя строку этак и так:

Из бесконечности, из мрака…

То стихотворение, насколько я знаю, так и не было дописано, а недостающее слово не было найдено. Первоначальный его смысл затерялся в вариантах, написанных потом…

Не знаю, что тому виной. Может, сам город, где лучше всего думается, сочиняется на улицах и вдвоем, где так трудно усидеть дома, слыша за окном шумящую, поющую, зовущую к себе жизнь? Радость, ожидающая тебя за дверью, кажется заманчивей и ближе, чем радость от рождения следующей строчки, и ты бросаешь перо…

Богема

А собиралась богема у Игоря Павлова, впоследствии названного Первым поэтом Одессы, – дворик напротив выхода с Привоза (здесь начиналась Молдаванка), комната с черным потолком, пишущая машинка у окна, в которой я никогда

не видел бумажного листа, продавленный до пола диван, стол, накрытый… нет, не то слово! На столе стояли: тарелка с кружочками дешевой колбасы, может быть, сыром, тарелка с нарезанными помидорами, граненые стаканы и бутылка-другая молдавского «Вин де масе».

Комната была перегорожена шкафом, за шкафом скрывалась на своей лежанке от шумных, произносящих одно за другим диковинные имена и неслыханные строчки гостей мама Игоря Валентина Ивановна.

– В сухой реке пустой челнок плывет… – могло доноситься до нее…

Круги тогдашней богемы были разные. Один, например актеры и художники, тусовался в баре ресторана «Красный» за рюмкой коньяка и чашкой черного кофе и у дамы сердца художника Олега Соколова, «где бывал и я».

О круге Игоря Павлова Даня Шац – о нем пойдет речь дальше, – выпивавший свою чашку кофе в баре, может, и знал, но бывать в его берлоге никогда не бывал. Даня дружил тогда с молодым поэтом Борей Нечердой, а тот, бездомный – пока не прославился и не получил квартиру – преломлял хлеб в подвале банка на Пушкинской – большое помещение с низким потолком, с зарешёченным окном, выходящим на тротуар, сыроватое помещение, которое сердобольным руководством банка было отдано больной полиомиелитом своей сотруднице, молоденькой и миловидной Нине Р. (передвигалась она на коляске). С ней-то и жил тогда в подвале Боря Нечерда. И гостеприимный их стол, стол андерграунда, собрал свою компанию.

Боря Нечерда писал тогда на русском, подражая гремевшему на всю страну Андрею Вознесенскому, но, «сам собі пан», уже пытался выбиться из-под его влияния. Потом он перешел на родной ему украинский. Я помню и русские его стихи (начала):

Бродяжничаю,
Сею смуту,
Начинаюсь, как вёсны…

и украинские:

Одвересніло,
Тиша з тиш…
Яка врочистість соборова!..

К Нечерде из Киева и из других городов приезжали – так у них водится – поэты, попадали в подвал; украинские стихотворцы уединялись в каком-то углу и вели там свои долгие, не слышные другим разговоры. Как-то спустился в подвал и харьковчанин Борис Чичибабин…

Заслышав об этом «огоньке», заглянул в подвал (спустился с небес, на коих обычно пребывал; клочок облака все еще цеплялся за шляпу) мой первый гуру, Ефим, «пророк». Вошел, высоченный, наклонив голову из-за низкого потолка, сделал один-другой метровый шаг к столу… Прислушался к разговору, дал свою оценку, хмыкнул… У Ефима был свой круг, проверенный, с надышанной атмосферой.

Полупомешанные хиппи
По бедности немногих лет
Просили на духовный хлеб…
Я мог бы дать. Но где мне взять
На всех?

На столе в подвале банка были то же «вино в массы», та же дешевая колбаса – но какие разговоры блистали за столом! Филфаки одесского университета и педина могли бы им позавидовать. И приводимым строчкам чтимых поэтов («Баба я – вот и вся провинность, государства мои в устах…»), и убийственным оценкам нечтимых, и новым стихам, свежим, как только что вынутый из печи хлеб:

Пролітала над хатами ворона,
Зачепилась крильми за вірьовку,
Впала сіромаха коло млину,
Та й співае таку кломийку:

– Бийте в тулумбаси, бийте,
Бийте у літаври, не бійтесь,
З кого соловейка не вийде,
Вийде хоч ворона біла…

Дальше не помню, зато помню, как возникло это стихотворение. Мы шли с Борисом по улице, и я пересказывал ему мысль Бунина: «…в России на десять тысяч пишущих стихи всего лишь два настоящих поэта…».

А наутро, когда мы снова встретились, Нечерда прочитал мне «Білу ворону».

В то время всеми смотрелась «Великолепная семерка» с Юлом Бриннером и Чарльзом Бронсоном, прекрасно, по-моему, сделанный вестерн, мы разыгрывали сцены из фильма: Шац, сидя на полу у стены «с кольтом» в руке, кричал, картавя:

– Къис!

И «Къис» знаменитой походкой Юла Бриннера (Юлом был, как правило, я, спортивный парень) измерял по диагонали низкое помещение банковского подвала, шагал, навесив руку над «кобурой»…

А еще – Боря в легком подпитии вызывал меня побороться. Я его, конечно, укладывал, а он – сухощавый, жилистый, ловкий, привыкший, видимо, к победам в молодецком единоборье, но с серьезным спортом не знакомый, – никак не мог поверить в поражение…

Промашка богов

Я не знал, как пришел Игорь Павлов к стихотворению о Сизифе – неисповедимы пути поэтовы, – но он его написал и однажды прочитал мне. Это было давно – когда я жил в Одессе.

У меня на вопрос «Почему Сизиф?» есть два предположения, одно, может быть, вернее, второе – поэтическое, гротескное: общаясь с Игорем, я, ясно, подхватывал его образ мышления. Приведу здесь оба.

Итак, первое. Все одесситы, насколько я их знаю, народ особый. У них на все свое особое мнение. Некое недоверие (при будто бы согласных кивках) к говоримому собеседником и вслед за ним возражение («Вот вы сказали…» – или известное: «Я знаю…». «Но вот о чем я подумал…») – норма общения одессита. О недоверии ко всему на свете этого племени говорили Бабель и Багрицкий. Бабель – устами Бени Крика: «Все ошибаются, даже бог». Так мог сказать только одессит. Багрицкий: «Ну как, скажи, поверит в эту прочность («крыша, груб табурет, пол») еврейское неверие мое?».

Игорь не еврей, но он одессит, а Одесса дышит одним воздухом.

И вот Игорь не поверил в безвыходность положения Сизифа, и оказался прав. Он, исполненный здравого недоверия, поискал в прочной, как камень, ситуации Сизифа трещину – и нашел ее. Нашел промашку богов.

Но об этом позже. О промашке.

Теперь поэтическая версия.

Тут надо сказать об Игоре. Картина, которую я представлю, полностью входит в мое доказательство, в тему о Сизифе. Игорь жил в крохотной комнатушке напротив выхода с Привоза (в сторону Молдаванки), единственное окошко было прикрыто сверху верандой второго этажа, так что в комнате всегда было темно. Окно выходило на классический одесский дворик: в центре его стояла водопроводная колонка, за ней – вид на Привоз, толпящийся народом. Общественный сортир рядом с квартирой Игоря, справа; если выйдешь подышать свежим воздухом, услышишь, как там плещется вода. В сортир валит всяк с Привоза и просто с улицы.

В комнате – проваленный до пола диван и стол перед ним, освещаемый потолочной лампочкой с жестяным абажуром. На стенах холсты и листы ватмана, подаренные художниками, приятелями Игоря, и его собственные работы – «пробы пера». Стены и потолок давно-давно не белены, почти черны, но это мало волнует Игоря. В доме его часты гости – поэты, художники, некие новые люди, показавшиеся хозяину квартиры любопытными: банщик, пишущий стихи, милиционер, пишущий музыку на стихи банщика…

Стихи собравшихся за столом талантливы, необычны – как всегда необычны стихи андерграунда, – в них смелость и вызов подпольщиков, кукиш официальной поэзии, образы граничат с сумасшедшинкой, впрочем, именно сумасшедшинка, поэтические, скажем так, закидоны и признаются за этим столом. Кто хлеще сказанет – примерно так, – тот и пан…

Все гости Игоря бедны, иногда бездомны (снимают где-то угол), работают то там, то тут (Какая чепуха – работа! О ней ни слова!), одеты черт-те как, у девушек прическа чаще всего «я у мамы дурочка», модная в то время… но какие бриллиантовые строчки они произносят! Какую суть вещей – поэтическую – они здесь провозглашают!

…И сам я был не детище природы,
Но мысль ее,
Но зыбкий ум ее!

Хозяин темной комнаты олицетворял собой облик поэта: беззубый (откуда взять деньги на протезы?), пух на голове, слегка вытаращенные глаза, громкий актерский голос (он в поисках себя начинал актером в провинциальных театрах). В общем, облик поэта того времени, когда власть публиковала лишь проверенных стихотворцев, тех, что не выходили за рамки, разрешенные цензурой. В этот список Игорь не попадал ни под каким видом, и стихи писались не то что «в стол», ибо ящика у его стола не было, а «на стол», над которым и произносились.

…Все это была богема, сборище высокомерных нищих, гордых своей приближенностью к тому, за что богачи отваливают миллионы. Они и богачи были на расстоянии вытянутой руки от искусства. Может быть, даже ближе к нему; да, гораздо ближе, потому что они понимали его и сами кое-что для него делали… По этой причине в их глазах сиял, выражусь высокопарно, свет истины, с этим светом в глазах они и ходили по улицам. Они были приобщены к святая святых человеческого избранничества – творчеству, искусству, поэзии…

А вот жизненные сюжеты нашим героям не только не удавались, но и мешали. Они *отвлекали от главного*! Жизненные сюжеты были, как и у Екклесиаста, *суета*…

Ничто еще не говорит о Сизифе? О Сизифе с его каменной глыбой, которую он вкатывал и вкатывал на вершину горы, чтобы увидеть по завершении подвига и неземной свет, и то, как она вырывается из рук и летит вниз, высекая искры от столкновения с другими камнями и разбрызгивая осколки?

Игорь работал над стихами по ночам. Работал на износ, как это и бывает с поэтами, чей слух уловил звучание строки-струны; работал, то расхаживая по комнате, то бросаясь к столу, где перо и бумага, и спешно писал, то снова расхаживал, бормоча, время от времени вскрикивая либо ударяя вдруг кулаком в ладонь, когда находилось искомое слово или складывалась наконец-то строка… То, обессиленно поникнув, сидел, как бывает после максимального напряжения, принесшего удачу, но забравшего все силы…

И вот стихотворение закончено!

Всякий раз, когда Игорь велением богов вкатывал тяжкую глыбу стихотворения на вершину (извилины мозга тогда походят на напрягшиеся мускулы, познавшие величину груза), он уже по опыту знал, что там, наверху, его ожидает удивительный свет, даже сияние, летящее над другими вершинами и озаряющее лицо поэта.

А проснувшись поздно утром – вершина, ночной подвиг, свет, сияние все еще не истаяли в сознании – и увидев свою комнату (стены, потолок), услышав разговоры, но, скорее, крики во дворе, голоса в сортире и плеск воды за стеной, вдруг остраненно, как и привык, понимал, что… некий ночной камень опять скатился с горы, он последовал за ним и теперь находится в сыром и темном ущелье, откуда вчера и начал восхождение по крутому склону.

И еще понимал, что этой же ночью он снова упрется руками в каменную глыбу и начнет толкать ее вверх – чтобы выбраться из тесного ущелья к свету вершины…

И тут, наверно, замерцал, начал проситься в сознание Игоря образ Сизифа. Он «открыл ему дверь», вгляделся в него, так сказать, рассмотрел, покумекал, проникся сочувствием… и автоматом подверг одесскому недоверию его бедственное положение…

И увидел Промашку богов!

Сизиф, конечно, прохиндей, но и олимпийские боги, братавшиеся с людьми, распивавшие с ними нектары, любившие

их женщин, вникавшие в их полоумные распри и активно участвовавшие в их разборках – нам бы таких богов! – после всего этого они не могут быть всеведущи! Как и у людей, в их поступках должна просматриваться не-даль-но-вид-ность.

Конечно, я не помню стихотворения Игоря о Сизифе – так давно оно было мне прочитано. Но последнюю сценку и мысль поэта попытаюсь воссоздать. Прозой. Может, что-то и присочиню, столько лет прошло с того дня, когда оно было мне прочитано…

Скатываясь и скатываясь с каменистого склона, грохаясь о скалы, глыба Сизифа теряла кусок за куском, в ней стали появляться трещины, она становилась все меньше и меньше… и вот однажды Сизиф, спустившись вслед за ней к подножию горы, не нашел глыбы. Он стоял чуть ли не по колено в осколках, усыпавших за много лет подножие, но не мог разглядеть среди них, одинаковых, того, на котором были отпечатки его натруженных за долгое время пальцев, хранившего еще тепло его рук.

Но вот нашел один, придавивший свежую зеленую травину. Он поднял его, положил на ладонь, взвесил… Засмеялся… И неожиданно заплакал. Заплакал оттого, что не почувствовал больше в себе желания вкатывать наверх камень, понял, что силы на этот раз покинули его; понял, что кара богов исчерпала себя и, таким образом, порвалась его связь с ними, что сейчас он простой человек, на ладони которого лежит ни о чем не говорящий осколок серого камня.

Заплакал оттого еще, что понял: боги оставили его, отдалились, а ведь их кара и есть, если подумать, человеческое призвание…

Соавтор

Только переехав в другой город, и то через некоторое время, я взялся писать – взялся писать повесть, где все события происходили в сказочном городе на берегу Синего моря.

Честное слово, моим соавтором был город у синего моря, который я покинул!

Это было еще одно его интересное свойство – чтобы писать, вспоминая о нем, нужно взглядывать на него издалека. Город тогда волшебно приближается, нависает над тобой и даже шепчет на ухо: «А про это? А про это?..». И море, и улицы, и люди с их сиюминутными заботами, вечера, ночи – все мгновенно появляется перед глазами и почти без всяких усилий превращается в строчки.

Навсегда очарованный недавно покинутым городом, я писал сказку.

Привыкший к острой кухне – и кушаний, и слов – город требовал того же от моих страниц – необычности, странных героев. Потому-то и родились в повести-сказке мой новый сосед по имени Жером Покати, сомневающийся во всем Еслиб Дакабыб, портной у Самого Кум Каролю, носатый парень Все-Равно-Не-Бержерак, адвокат Данкешон, старый солдат Сей-Секунд, газетный репортер Торопыга, веселый рассказчик Буб Енчик, ставший моим другом, зловредная тетушка Глунеле, пудра на щеках которой лежала, как пыль на столе, а о ее тень всякий спотыкался…

Я думаю сейчас, через время, что именно город надиктовал мне всю повесть, которую я назвал «Страна недописанных сказок».

Впрочем, одному ли мне диктовал он, нависая над чьим-то плечом и подсказывая слова и строчки?

Люди, с которыми я встречался и дружил в покинутом мною городе, мало чем отличались от героев моей сказочной повести – того же Еслиба Дакабыба или Енчика. От них до моих знакомых был всего лишь один шаг. Чудом встретившись, они пожали бы друг другу руки и легко разговорились…

Нью-Йорк

Окончание следует

Евгений Деменок

Письма родителей к Соне Делоне

Шестнадцатого января 2020 года, не без труда найдя нужную платформу на переполненном парижском вокзале Монпарнас, я уселся у окна скоростного поезда, едущего на юг. Целью моего путешествия был маленький городок Дакс, неподалеку от которого живет Жан-Клод Маркаде, знаменитый исследователь русского и украинского авангарда. Мы познакомились с ним за год до этого, и, узнав о том, что я много лет собираю материалы о Соне Делоне и разыскал в одесском областном архиве книгу раввината с записью о ее рождении, что поставило точку в долгой неразберихе с местом рождения – в одних источниках указывалась Одесса, в других Градижск Полтавской губернии, – предложил мне приехать к нему и забрать документы из архива художницы, которые хранились у него уже много лет. Жан-Клод был хорошо знаком с Соней и в последние десять лет ее жизни не раз бывал в гостях в ее парижской квартире на *rue de Saint-Simon*, 16. После восьмидесяти она начала систематизировать свой архив, готовя основную его часть к передаче в Национальную библиотеку Франции, а позже и в Библиотеку Кандинского, находящуюся в парижском Государственном музее современного искусства в Центре Жоржа Помпиду. А часть документов, связанных с ранними годами жизни и Одессой, Петербургом, Карлсруэ, передала Маркаде.

Я немедленно согласился, не веря своему счастью и стараясь не выдать волнения. Спустя несколько недель ко мне в Прагу пришла из Франции первая посылка – объемная коробка, в которой была копия раннего дневника Сони, тогда еще именовавшей себя Софи Терк, хотя при рождении она была названа Сарой. Сара

Штерн – ее официальное имя до второго брака с Робером Делоне. В коробке были и письма к ней от живших в Одессе родителей, и совсем ранние ее рисунки, и массив бумаг, связанных с наследством, начиная с духовного завещания ее тети, и ее собственные письма, в том числе к мужу Роберу, написанные на собственноручно изготовленных фирменных бланках с золотым тиснением. Я с нетерпением ждал второй посылки Жана-Клода, но она… затерялась. Почти три месяца бурных разбирательств с французским почтовым ведомством привели наконец к долгожданному результату – посылка вернулась к отправителю. И, чтобы больше не рисковать, я тут же поехал к Жан-Клоду.

Я ехал к нему, не веря в реальность происходящего. Провел у него в гостях три чудесных дня. И вернулся домой с двумя под завязку набитыми чемоданами.

Главная ценность этого архива в том, что в сотнях писем, открыток, документов содержатся сведения о ранних годах жизни Сони Делоне, то есть именно о том периоде, который изучен и описан меньше всего. В вышедшей в 1978 году автобиографии «Nous irons vers le soleil» художница уделила событиям, происходившим до момента ее первого приезда в Париж, всего семь страниц – а приехала она туда уже в двадцатилетнем возрасте. При этом автобиография еще и содержит ряд ошибок, начиная хотя бы с даты того самого приезда в Париж – на самом деле это произошло в 1906 году, а не в 1905, как вспоминала уже 93-летняя художница. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть ее не опубликованный пока дневник, хранящийся среди других подаренных ею документов в уже упомянутой Национальной библиотеке Франции.

И так как сама художница была крайне сдержанна в описании раннего периода своей жизни, такими же сдержанными были и ее многочисленные биографы. Собственно, именно Жан-Клод Маркаде первым начал публиковать подтвержденные документально подробности о ее одесских родственниках и круге петербургских друзей.* Параллельно с этим мне удалось найти в книгах

* Sonia Delaunay Exhibition Book. Edited by Anne Montfort & Cecile Godefroy. Tate Enterprises Ltd., 2014. P. 18-23.

одесского раввината записи, связанные с ее семьей, с рождением двух братьев и смертью одного из них. И вот теперь, соединив эти находки с документами из архива самой художницы, можно восстановить множество деталей того, как прошли первые двадцать лет жизни Сары Штерн, ставшей позднее Софи Терк, а потом и Соней Делоне.

Разбирать этот архив предстоит не один год, но в первую очередь я решил заняться всем, что связано с Одессой. Одна из папок была заполнена письмами к Соне от ее живших в Одессе родителей Ильи (Эли) Штерна и Ханы, в девичестве Терк.

К счастью, прожившая в Париже около семидесяти лет Соня Делоне всю свою жизнь хранила письма от родителей, брата, дяди, тети и других многочисленных родственников, и это дает нам теперь возможность не только узнать множество деталей ее биографии, но и увидеть ее с совершенно другой стороны. Особенно ярко проявляется это в письмах с трудом находившей средства к существованию и постоянно болевшей матери, для которой она не богемная художница, а единственная дочь, благодаря удачному стечению обстоятельств попавшая в благоприятные условия и способная помочь оставшимся в Одессе родным.

Об удачном стечении обстоятельств стоит рассказать подробнее. И начать с того, что нам пока крайне мало известно о том, когда и как попал в Одессу Сонин отец Эля (Элиас, Илья) Штерн, из какой семьи он происходил. Собственно, до моих находок, сделанных в одесском областном архиве, об этом не было известно вообще ничего. Теперь мы знаем, что родился он в 1858 году, а умер в промежутке с 1918 по 1925 год – именно осенью 1917-го датировано его последнее письмо к Соне, а из писем матери, приходивших с 1925 по 1931 год, явно следует, что его нет в живых. Достоверно мы знаем и то, что он служил в армии, – в книге раввината в записи о рождении Сони указано, что он был «уволенным в запас».** То же самое указано в записи о бракосочетании Сониных родителей.

** Е. Деменок. «Соня Делоне возвращается в Одессу». Альманах «Дерибасовская – Ришельевская», кн. 44. – Одесса: «ПЛАСКЕ», 2011, с. 206.

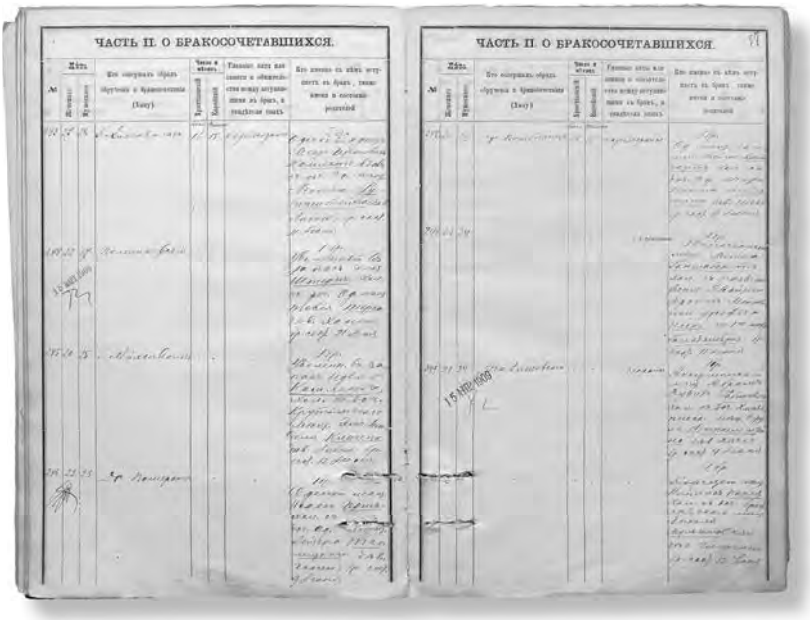
Всесословная воинская повинность была введена в России 1 января 1874 года. С этой даты призыву на службу подлежали молодые люди, «которым к 1-му января того года, когда набор производится, минуло двадцать лет от роду».* Для армии устанавливался шестилетний срок действительной службы, для флота – семилетний. Устав воинской повинности предусматривал разнообразные льготы и освобождение от службы по состоянию здоровья, роду занятий и семейному положению. Например, от службы освобождались единственные сыновья у родителей, а также единственные способные к труду: сын «при отце, к труду не способном, или при матери-вдове»; брат при «круглых сиротах, братьях или сестрах», и внук «при деде или бабке, не имеющих способного к труду сына».**

Исходя из этого, можно предположить, что Эля был не единственным ребенком в семье и завершил службу совсем незадолго до свадьбы. 16 июня 1885 года в книге «О бракосочетаниях» под номером 244 сделана запись о том, что брак уволенного в запас Эли Штерна, холостяка, с дочерью одесского мещанина Товия Терка, девицей Ханою, состоялся 21 мая 1885 года. У обоих это был первый брак. Обряд бракосочетания совершил уважаемый раввин Шмуэль Янкелевич Полинковский. Эле (в книге он записан как Элья) на тот момент было 27 лет, Хане 22. Совершенно очевидно, что Сара родилась через пять месяцев после бракосочетания родителей, то есть брак был, скажем так, вынужденным.

Это оказало влияние на все дальнейшие события. Эля, вернувшийся из армии и сразу женившийся (легко подсчитать, что служил он с 1878-го по 1884 год), был вынужден начать зарабатывать, и вряд ли этот заработок был достаточным для безбедного существования молодой семьи. Для начала предстояло получить профессию, и мы теперь знаем, что получил он ее в Одесском ремесленном училище Общества «Труд». Это было училище для бедных еврейских мальчиков, открывшееся в 1864 году и находившееся в доме № 17 по Базарной улице. Все это удалось узнать благодаря данным, полученным во вре-

* «Устав о воинской повинности, высочайше утвержденный 1 января 1874 года». Реформы Александра II. – М., 1998, с. 339.

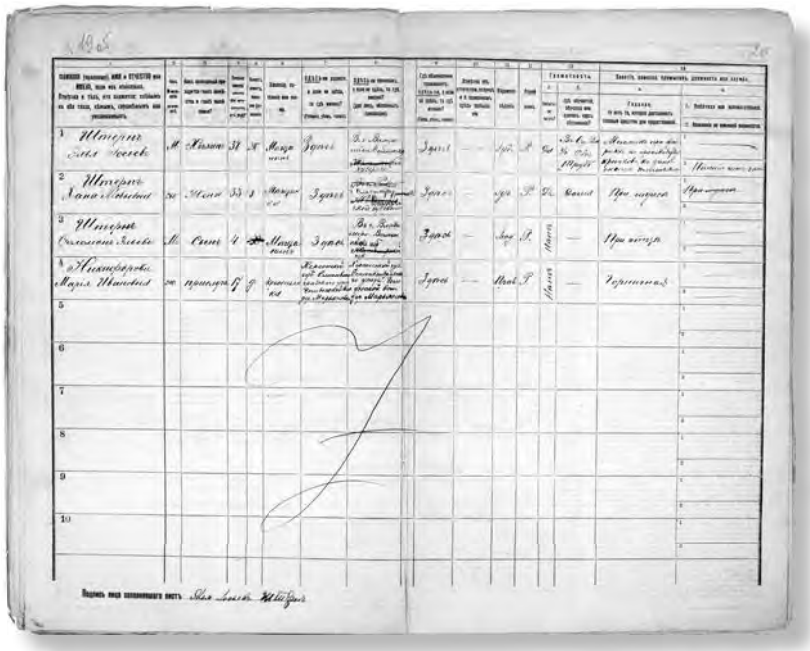
** Там же, с. 345


ЧАСТЬ II. О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ.

ЧАСТЬ II. О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ.

Запись о браке Эли Штерна и Ханы Терк. 16 июня 1885 года

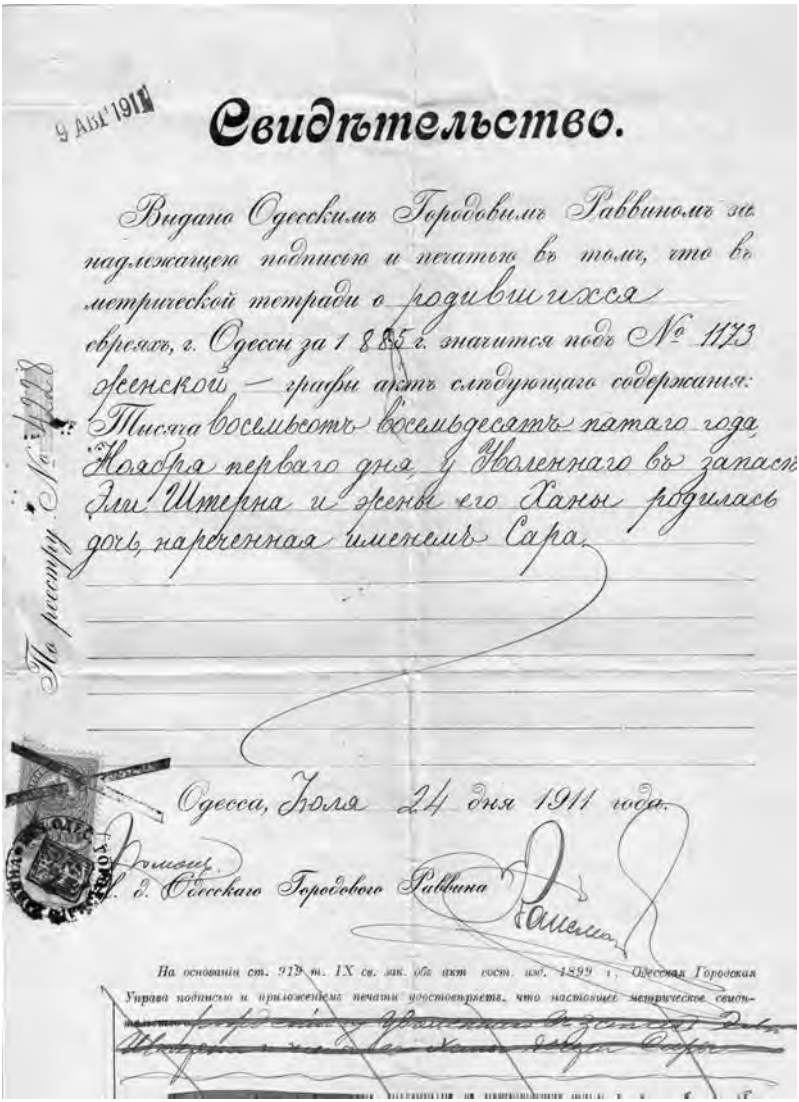
мя Первой всеобщей переписи населения Российской империи. В данных переписи указано его отчество – Иосьев (Осипович), и по состоянию на 1 января 1897 года Эля Штерн вместе с женой Ханой и четырехлетним сыном Соломоном жил в Одессе по адресу: Прохоровская, 28 (дом Степанова), квартира 9. Работал он в то время механиком при фабрике по производству крючков к дамским платьям, в отношении к воинской повинности был нижним чином запаса. В ведомости указано, что Хана не работала, была «при муже», а образование получила «дома». Родным языком всех троих указан русский, сословие – мещанское. Также указано, что все трое родились в Одессе, что вызывает большие сомнения, потому что приписан Эля был – а за ним и вся семья – в городе Владимире Волынской губернии (нынешний Владимир-Волынский), а записи о его рождении в книгах одесского раввината обнаружить пока не удалось.



Семья Эли Штерна по данным переписи. 1897 г.

Откуда же в автобиографии Сони появился Градижск? Вернее, некий *Gradzihsk*? Она единожды упоминает о том, что папа работал на метизной фабрике в этом городке. А Жак Дамас, ее многолетний друг и помощник, будучи составителем ее биографии (художнице на тот момент, как я уже упоминал, было 93 года), указал в конце *Gradzihsk* как место ее рождения. С этого и началась долго тянувшаяся ошибка. Никто за эти годы не добрался до архивов, хотя сомнения выражали многие авторы монографий о ней – ведь во всех вполне доступных официальных документах (свидетельствах о браке, разводе и других) местом рождения указана именно Одесса.

Возможно, Эля Штерн какое-то время работал на метизном заводе в Градижске именно в первые годы жизни Сони, потому она и запомнила на всю жизнь чистые цвета, «цвета моего



9 Авг 1911

Свидѣтельство.

Видано Одесскимъ Городовымъ Раввиномъ за надлежащею подписью и печатью въ томъ, что въ метрической тетради о родившихся евреяхъ, г. Одессы за 1885 г. значится подъ № 1173 женской — графы актъ слѣдующаго содержанія: Тысяча восемьсотъ восемьдесятъ пятаго года Ноября перваго дня у Уволеннаго въ запасъ Эли Штерна и женѣ его Ханы родилась дочь, нареченная именемъ Сара.

По рассмотру № 1228

Одесса, Іюля 24 дня 1911 года.

Помощ. И. д. Одесскаго Городового Раввина

На основаніи ст. 919 т. IX св. зак. объ акт. сост. изд. 1899 г., Одесская Городская Управа подписью и приложеніемъ печати удостовѣряетъ, что настоящее метрическое свидѣтельство [illegible] Уволеннаго въ запасъ Эли Штерна и жены его Ханы дочери Сары

Копия свидетельства о рождении Сони

детства, Украины. Воспоминания крестьянских свадеб моей страны, где красные и зеленые платья, украшенные многочисленными бантиками, летали в пляске».* Вспоминала она и то, как «растут арбузы и дыни. Помидоры опоясывают красным хаты и большие подсолнухи, желтые с черной сердцевиной, сверкают в легком, очень высоком голубом небе».** Очевидно, что все это она увидела в украинских селах, но никак не в Одессе. Более того – сама Соня, судя по всему, пыталась разузнать что-то о возможных родственниках в Полтаве и задала вопрос об этом тете. Анна Сергеевна отвечает ей 9/22 марта 1908 года: «О семье Терк в Полтаве ни дяде, ни тете Миле ничего не известно; они считают, что у них нет родственников, может быть, это однофамильцы, и значит, мы не уникумы».

Но даже если Градижск (так интерпретировали *Gradzihsk,* хотя, возможно, это просто «городишко») и присутствовал в рабочей биографии Эли Штерна, то был лишь коротким эпизодом, потому что 3 января 1888 года у Эли и Ханы рождается сын Зейлик. И рождается именно в Одессе, о чем неоспоримо свидетельствуют все те же книги раввината.*** Обряд обрезания совершил раввин Блинчевский. Зейлик умер от скарлатины в пятилетнем возрасте, 18 октября 1893 года (запись 1179 книги «Об умерших»). Однако к тому времени у Штернов родился еще один сын, уже упомянутый выше Соломон, которого родные и друзья всю жизнь называли Семой.**** Произошло это радостное событие 28 июля 1892 года (обрезали мальчика 4 августа). И, как вы уже догадались, тоже в Одессе.

Дальнейшие находки, сделанные при разборе архива Жан-Клода Маркаде, позволили выяснить, что после фабрики по производству крючков к дамским платьям (как мы видим, тема моды вошла в жизнь Сони с раннего детства) Эля Штерн работал управляющим на Заводе белой жести и металлических изделий инженера М.Г. Левина, причем проработал там, по словам жены

* S. Delaunay. Nous irons vers le soleil. Edition Robert Laffont. Paris, 1978, p. 17.
** Ibid, p. 11.
*** Государственный архив Одесской области, ф. 39, оп. 5, ед. хр. 38, запись № 8.
**** Государственный архив Одесской области, ф. 39, оп. 5, ед. хр. 63, запись № 1120.

Ханы, двадцать семь лет. Очевидно, что из Одессы они никуда уже не переезжали. Долгие годы они жили в квартире 26 дома номер восемь по улице Херсонской. Первое упоминание об этом адресе я нашел в письме к Соне от Анны Сергеевны (на самом деле Израилевны) Терк, жены ее дяди Генриха, брата матери, в семье которых в Санкт-Петербурге она воспитывалась и выросла. Датировано оно 28 октября 1907 года: «Если не ошибаюсь, одесский адрес Херсонская, 8».

Тот же адрес сохраняется до начала 1930-х в письмах мамы к Соне.

Однако к моменту рождения брата Соломона будущая великая художница уже не жила в Одессе и даже не жила с родителями. Что именно побудило их отдать дочь на воспитание в семью родственников, мы уже вряд ли узнаем. Скорее всего, причиной были финансовые затруднения – молодой семье тяжело было сносно обеспечить двух детей, к тому же ожидали третьего. Хана Штерн соглашается отдать Сару на воспитание своему преуспевающему обеспеченному брату и его жене, которая после перенесенной операции не могла иметь детей. Соня стала для Генриха и Анны практически родной дочерью – тетя даже определенным образом ревновала ее к родителям, что сквозит в ее письмах. Хотя согласие на удочерение, которого они добивались, Хана Штерн так и не дала. Так что фамилия Терк, которую девушка (именно после переезда в Санкт-Петербург она из Сары стала Софи, а позже Соней) носила долгие годы, была фактически псевдонимом – в документах до замужества она значилась как Сара Штерн.

Я уже упоминал о том, что о Сонином отце нам известно крайне мало, а о его родственниках и вовсе ничего. С родней со стороны матери дела обстоят гораздо лучше. Терков было много, и многие были успешны.

В большой семье Терков родившийся 9 ноября 1847 года в Одессе Генрих Тимофеевич (Гейних Товиевич) был, пожалуй, самым удачливым. Он начинал учебу в Одессе, но в сентябре 1872 года перевелся со второго курса юридического факультета Новороссийского университета в Петербургский университет. В 1877 году получил степень кандидата прав, после работал присяжным поверенным. Был депутатом правления Учетного и ссудного

банка, в разные годы возглавлял правления Богатовского сахарного завода, Ириновско-Шлиссельбургского промышленного общества, Товарищества Сергинско-Уфалейских горных заводов, акционерного общества Финляндского легкого пароходства, состоял членом правления издательства Брокгауза и Ефрона. Гейних Товиевич свободно говорил на нескольких языках, владел недвижимостью в столице, коллекцией живописи и дружил с известными людьми. В его доме по Баскову переулку, 12, Соня выросла.

Именно дядя Генрих дал Соне необходимую для развития финансовую основу.

Родившийся в 1850 году в Одессе его брат, Яков Тимофеевич, судьбой которого многократно интересовалась в письмах к дочери Хана Штерн, после окончания Ришельевской гимназии поступил в 1876 году в Петербургский университет, а в 1877-м перевелся в Медико-хирургическую академию, которую окончил в 1881 году. В 1879 году арестовывался «ввиду знакомства с <…> неблагонадежными лицами»* и за хранение запрещенных произведений Луи Блана, Лассаля и Прудона. В 1900-х годах был железнодорожным врачом в Либаве, а после работал врачом на пароходах Русско-Восточной линии. После октябрьского переворота жил в Крыму и даже получал (возможно, за былые революционные заслуги) персональную пенсию. Сын Якова Тимофеевича, Александр, инженер, литератор, переводчик, жил долгое время в том же доме по Баскову переулку, в котором жила и Соня с дядей и тетей.

Еще один дядя Сони Делоне, Марк Тимофеевич (все они были Товиевичами, но ассимилировались и изменили отчества), владелец конторы по продаже сельскохозяйственного оборудования в Одессе, на улице Градоначальницкой, всю свою жизнь прожил в родном городе. Более того – он жил в одном доме с Сониными родителями, в практически соседней, тридцать первой квартире. Время от времени он тоже писал Соне, рассказывая о болезнях и проблемах ее матери, и более всего мне запомнилась фраза

* Анатолий Белогорский. «Монпарнасский экспресс». – Лехаим, № 1 (225), 2011.

из его письма от 8 мая 1931 года: «*У меня также ничего хорошего нет, жизнь так скверно сложилась, трудно передать*».

Сестра Ханы, Эмилия Товиевна, вышла замуж за купца 1-й гильдии Альберта Федоровича (Абеля Хацкелевича) Вилькорейского, жила в Санкт-Петербурге. У них было четверо детей – сын Федор и дочери Анна, Екатерина и Тамара. Тамара Альбертовна (1898-1970) стала композитором, автором целого ряда музыкальных пособий для детей, членом Московского общества драматических писателей. Писала музыку на стихи Корнея Чуковского – в 1954-55 ленинградской артелью «Пластмасс» была выпущена серия пластинок для детей, в том числе «Мойдодыр» и «Муха-Цокотуха».

Широко распространено мнение о том, что в семье дяди и тети Соня начала воспитываться с пяти лет. Так написано в автобиографии.** Однако Жан-Клод Маркаде утверждает, что она окончательно перебралась в Санкт-Петербург в возрасте семи лет.*** Как бы там ни было, этот переезд стал одним из главных, ключевых событий в ее жизни. Она выросла в богатой семье, в совершенно ином кругу, чем это случилось бы, останься она в Одессе, о чем красноречиво свидетельствует судьба ее младшего брата Соломона, который даже не получил сколько-нибудь серьезного образования и занимался физическим трудом до призыва на фронт, где показал себя героем. Именно в результате переезда Соня смогла учиться живописи в Карлсруэ, а затем в Париже, благодаря дяде и тете не бедствовала, получая от них достаточные для жизни средства, даже будучи замужем и живя уже во Франции. Именно благодаря смене места жительства она завязала множество знакомств в среде петербургской – в первую очередь еврейской – интеллигенции. Выучила иностранные языки. Путешествовала по Европе и посещала музеи. Генрих и Анна поощряли ее творческие устремления – достаточно упомянуть лишь то, что первый набор красок ей подарил выдающийся немецкий импрессионист Макс Либерман, приятельствовавший с дядей. Сама Соня 25 апреля 1904 года писала в своем не опубликованном пока дневнике,

** S. Delaunay. Nous irons vers le soleil. Edition Robert Laffont. – Paris, 1978, p. 219.
*** А.А. Смирнов. Письма к Соне Делонэ. 1904-1928. – М.: Новое литературное обозрение, с. 32.

хранящемся в Национальной библиотеке Франции: «Странно, что несмотря на то, что с детства я отыскивала в себе таланты и мечтала сделаться знаменитой, я никогда не останавливалась на живописи и не верила, что имею к ней способности, хотя всегда рисовала и очень любила этим заниматься. Впервые я узнала, что у меня талант, когда Вар. Петр. Шнейдер, поступив к нам учительницей рисования в 7 класс, посмотрела мои рисунки и нашла, что ей меня учить нечему в гимназии. Потом она была у нас дома и много говорила обо мне с тетей и дядей».

Это упоминание имени учительницы позволяет нам определить, в какой именно гимназии училась Соня.

Сестры Варвара и Александра Шнейдер были выпускницами Рисовальной школы Императорского Общества поощрения художеств, дружили с Николаем Рерихом. Варвара Петровна стала инициатором создания женской Высшей школы народного искусства для крестьянских девушек императрицы Александры Феодоровны и ее лужского филиала в так называемой Светелке государыни; была преподавателем, попечительницей и директором этой школы в 1911-1918 годах. Среди ее обширной переписки важное место занимает переписка с императрицей. В 1909 году она вошла в строительный комитет Буддийского храма в Санкт-Петербурге. С 1902 года Варвара Петровна сотрудничает с этнографическим отделом Русского музея.

Наряду с художественной и собирательской деятельностью Варвара Петровна с 1901 по 1913 год преподавала рисование и историю искусств в гимназии Таганцевой (Моховая улица, 27). Даже после отъезда Сони на учебу в Карлсруэ и Париж она приходила в ее дом, чтобы поинтересоваться у дяди и тети ее успехами.

Безусловно, жизнь в столице, в семье, где благодаря трем гувернанткам, англичанке, француженке и немке, юная Соня могла изучать сразу три языка, в доме, где все много читали и часто музицировали, разительно отличалась от жизни ее родителей в Одессе. Даже простое сравнение писем от полуграмотно пишущей мамы и от блестяще образованной тети раскрывает пропасть, лежавшую между двумя семьями, состоявшими в родстве. Нужно отметить, что Соня советовалась с тетей по всем, даже самым интимным вопросам, а та воспринимала ее как родную дочь,

желала ей самого лучшего, всегда стремилась помочь и не могла устоять перед денежными просьбами привыкшей жить довольно широко Сони. Как я уже писал, тетя даже ревновала Соню к матери. Вот потрясающая фраза из ее письма из Монако от 10 января 1910 года, где обсуждается внезапно вспыхнувшее Сонино увлечение Робером Делоне: «Я знаю, что ты мне скажешь, что я слишком рано опасаюсь, что ты сама желаешь познакомиться с ними ближе; но я именно прошу тебя, чтобы ты не несла себя навстречу со всей твоей наивностью и чистотой неопытного ребенка, а постаралась так же трезво оценить заинтересованных лиц, как ты когда-то крошкой сумела трезво увидеть некрасоту своей матери, к которой дети ведь бывают пристрастны. Как ни тяжел для меня удар твоего развода с В., но гораздо страшнее для меня перспектива нового замужества, в котором я вижу решительно все данные (объективные) для нового и гораздо большего несчастья».

«Некрасоту своей матери»… И в то же время тетя не позволяет племяннице забыть совершенно о родителях, и напоминает уведомлять их о важных событиях в своей жизни. Например, 7 января (по ст. ст.) 1908 года, когда Соня решила выйти замуж за Вильгельма Уде, тетя пишет ей: «Если твоя помолвка уже не тайна, то напиши об этом немедленно в Одессу». 23 февраля 1911, после рождения у Сони сына Шарля, тетя спрашивает ее: «Писала ли ты в Одессу о сыне?».

Конечно, оторванность девочки в таком раннем возрасте от родителей не могла не пройти бесследно. 14 августа 1904 года, готовясь к отъезду на учебу в студии профессора Людвига Шмид-Ройтте в Академии художеств в Карлсруэ, она записала в дневнике: «Написала письмо родителям, сообщая о своем отъезде за границу. Как они мне чужды: ничего общего, ни капли любви не привязывает меня к ним. Ужасно и невероятно – и только доказывает, что в родственной (кроме материнской любви) главное дело в привычке». Эти слова можно было бы отнести на счет юношеского максимализма, но и на закате жизни в автобиографии она писала: «Мой отец был рабочим. В Градижске на Украине он работал на гвоздильной фабрике. От него у меня большая принципиальность, отвращение к алчности и мелочности.

Он не выносил, когда жалуются. Это его настраивало против моей матери, которая только и делала, что ныла и стонала над своей долей. Это явно является причиной моей нелюбви к ней. Уже с 3-х лет я реагировала, как отец. Всю жизнь я сжимала зубы и не жаловалась; я не люблю хнычущих».*

В конце жизни она была уже совершенно другого мнения об отце. Вот еще один фрагмент из автобиографии: «Недавно я получила письмо от украинки, живущей в США, вышедшей замуж за директора одной из художественных галерей. В своем письме она вспоминает о моем отце, с которым она была знакома: «Это человек, который закончил свою тяжелую рабочую жизнь во главе завода, где начинал простым рабочим. До конца своих лет сохранил требовательность и принципиальность, которые были у него в молодости. Он остался чистым и суровым человеком, никогда не опускался до низости и не выносил мерзости». И тут я поняла все, чем обязана своему отцу».**

Отношение к матери, однако, не изменилось. Тем не менее Соня постоянно помогала ей, живущей крайне бедно, отправляя уже в 1920-х и денежные переводы, и посылки.

Наверняка она виделась с родителями и во время жизни в Петербурге. Нам уже точно известно, что мама приезжала к ней в Париж как раз в то время, когда она готовилась к свадьбе с Робером Делоне и уже была беременной. В письме из Санкт-Петербурга от 12/25 сентября 1910 года тетя Анна пишет: «Хотелось бы знать, долго ли останется твоя мама в Париже. Сообщила ли ты ей о своем будущем?». Интересно, что Соня повторила судьбу своих родителей – она родила сына всего через два месяца после свадьбы, состоявшейся 15 ноября 1910 года.

Правда, родившегося 8 января следующего года Шарля, которого Сонины родители будут упоминать в каждом письме, они увидят уже только на фотографиях.

Приезжал в Париж – причем надолго – и Сонин брат Соломон. Он приехал туда в начале 1909-го и находился до лета 1911-го. 17 февраля (по ст. ст.) 1909 года Анна Сергеевна писала Соне:

---

* S. Delaunay. Nous irons vers le soleil. Edition Robert Laffont. Paris, 1978, p. 12.

** S. Delaunay. Nous irons vers le soleil. Edition Robert Laffont. – Paris, 1978, p. 12.

«Ты пишешь, что заходишь к Семе, а часто ли ты его видаешь? Если он тебе ничего не рассказывал, то я тебе сообщу интересную новость: Таня, которая опять в Москве, вступила со мной в переписку и сообщила мне, что она вышла замуж еще летом с согласия своих родителей, но они все почему-то скрывали это от нас. Ее муж – студент медик III курса и русский (вот где закавыка); она прислала мне их совместную карточку, и я должна с ней согласиться, что у него славное, симпатичное и чисто славянское лицо. Она ждет от меня ответа, который я не замедлю ей послать, поздравив с ее счастьем, хотя оно довольно курьезное: он в Одессе, а она в Москве». Речь идет о Сониной кузине, дочери Марка Тимофеевича Терка. Татьяну мы еще будем упоминать.

24 февраля тетя Анна спрашивает у Сони: «Что будет с Семой? Неужели ты ни о чем его не спрашиваешь?».

Соломон задержался в Париже. 18 сентября того же, 1909 года, тетя пишет из Монтре: «Разве Сема будет тратить время на позирование?». А в письме от 11 марта 1911 года (см. ниже) Сонина мама тоже справляется о нем. Однако летом того же года он уже вернулся в Одессу.

Продолжение следует

Борис Горелик

Любовь в конце эпохи

Осип Рунич и Вера Холодная, последняя романтическая пара раннего русского кино

Могла ли главная героиня фильма «Раба любви» Вознесенская (Е. Соловей) предпочесть Максакову (Ю. Богатырев) и Потоцкому (Р. Нахапетов) другого мужчину?

Например актера Канина (Е. Стеблов), с которым в Одессе 1918 года ей приходится сниматься в отсутствие прежнего партнера. Красавец-брюнет, элегантен во фраке и чалме, хотя обделен талантом, да и тенорок у него совсем не героический…

Не верится, что «королева экрана» могла влюбиться в него. Впрочем, в жизни подобное было возможно.

Сценарий фильма «Раба любви» создан по мотивам реальных событий. Это интерпретация судьбы ярчайшей звезды раннего русского кино Веры Холодной, и у многих персонажей несколько прототипов. По-видимому, одним из прообразов Канина был Осип Рунич, последний экранный партнер Холодной в Одессе.

Рунича нельзя назвать одним из самых одаренных актеров раннего русского кино. И все же он был выдающимся деятелем культуры, которого Холодная уважала, ценила и вполне могла полюбить.

В театре Рунич выступал с 1910 года. Начинал в труппе актера Павла Орленева, прославившегося не только на родине, но и в Западной Европе, и в США. Служил в труппах Николая Синельникова, в то время наиболее уважаемого провинциального режиссера и антрепренера в России. Рунич исполнял у него главные роли в постановках с Еленой Полевицкой, Еленой Шатровой, Павлом Баратовым и Михаилом Тархановым. После переезда в Москву стал премьером в популярнейших труппах города – Московском драматическом театре и театре Корша.

В кино он дебютировал в заметной роли: Николай Ростов в экранизации «Войны и мира» режиссеров В. Гардина и Я. Протазанова (1915). В последующие три года, до отъезда из России, Рунич появился в тридцати картинах, почти всегда в главных ролях. Редакция «Кине-журнала» причислила его к пяти «королям» отечественного экрана. До сих пор они считаются самыми популярными актерами раннего русского кино: Владимир Максимов, Иван Мозжухин, Витольд Полонский, Осип Рунич и Иван Худолеев.

Коллеги-кинематографисты уважали Рунича. Когда после Февральской революции они впервые объединились для защиты своих интересов, то выбрали его председателем Союза работников художественной кинематографии, предшественника нынешнего Союза кинематографистов.

Рунич, в отличие от Канина из «Рабы любви», не переходил все время из студии в студию. Сначала он несколько лет снимался у Ханжонкова. Потом вместе с Холодной и Максимовым ушел к Харитонову, у которого в 1916 году собрались почти все русские кинозвезды первой величины.

Поклонницы привыкли видеть Рунича на безмолвном черно-белом экране, а когда им представлялась возможность лицезреть его в жизни, их ощущения были сравнимы с религиозным экстазом. Однажды на гастролях Рунич во время диалога дотронулся до спины местного актера, исполнявшего эпизодическую роль. После спектакля к тому актеру подбежали поклонницы Рунича, желая поцеловать спину, к которой прикоснулся их кумир.

Зрители второй половины 1910-х годов стремилась уйти от непредсказуемости и трагизма повседневности в мир бешеных страстей салонной мелодрамы. Молодые люди с «истерзанной душой» в исполнении русских кинокоролей – это декадентские образы, упрощенные массовой культурой. Про них писал Эдуард Багрицкий, вспоминая дореволюционный кинематограф:

Где женщина над погасшим камином
Ломала руки из алебастра
И человек в гранитном пластроне
Стрелял из безмолвного револьвера…

Рунич, особенно в дуэте в Верой Холодной (вместе они появились в семнадцати фильмах), органично воплощал эти образы на экране. Салонная мелодрама – самый востребованный тогдашним зрителем жанр. Даже после двух революций публика требовала историй о красавцах во фраках, соблазняющих невинных героинь, истосковавшихся по любви, богатству или острым ощущениям.

Снялся Рунич и в картине, которая считается не только эталоном русской салонной мелодрамы, но и ее апофеозом – «Молчи, грусть!.. Молчи» (1918). На афишах был заявлен «ансамбль, который не повторится»: Холодная, Максимов, Полонский, Рунич, Худолеев. Советские киноведы назовут этот фильм «лебединой песней» салонно-мелодраматического буржуазного кино» России. Долгие годы «Молчи, грусть!.. Молчи» рассматривалась как пример упадничества и мещанского дурновкусия раннего русского кинематографа.

ИСТЕРЗАННЫЯ ДУШИ
ДРАМА
ВЪ 5ТИ ЧАСТ.
ВЪ ГЛАВНЫХЪ РОЛЯХЪ.
В. В. ХОЛОДНАЯ
О. И. РУНИЧЪ.
Артистъ Императорскихъ театровъ.
И. Н. ХУДОЛѢЕВЪ.
ПОСТАНОВКА
В. П. КАСЬЯНОВА.
Д. И. ХАРИТОНОВЪ
Фабрика Кинематографическихъ картинъ
Д. И. ХАРИТОНОВА
Москва, Лѣсная ул. № 27, тел. № 5-81-40 и 3-91-97.

В Госфильмофонде сохранился фрагмент и другой ленты с Руничем и Холодной – драмы «Последнее танго», вышедшей на экраны в мае 1918 года. Алексей Толстой считал танго «предсмертным гимном» дореволюционной России, которая заглушала тоску и предчувствие катастрофы «надрывающими и бессильно-чувственными звуками» аргентинских мелодий. В фильме танго тоже связано с гибелью и «безлюбой любовью». По наущению корыстного любовника (Рунич) латиноамериканская танцовщица (Холодная) соблазняет богача-американца. Тот увозит танцовщицу с собой, но аргентинец разыскивает подругу, в последний раз приглашает на танец и в припадке ревности убивает.

Хотя студии Харитонова, Ермольева и другие еще полгода после премьеры этой ленты продолжали производство, прежний кинематограф был обречен. Впрочем, как и пленка, на которой эти картины снимались и демонстрировались. Пока не обнаружено копий фильмов с участием главных звезд раннего русского кино, выпущенных в прокат отечественными частновладельческими студиями позже «Последнего танго».

„ПОСЛѢДНЕЕ ТАНГО"
ВѢРА ХОЛОДНАЯ и РУНИЧЪ. 139.

Отечественные режиссеры и актеры, пришедшие в профессию в 1920-е годы, выросли на фильмах с участием Рунича. Эти салонные драмы для многих из них стали первым знакомством с кинематографом. И все же в советском киноведении утвердилось представление о Руниче как о посредственности, выбившейся в короли экрана лишь благодаря своей красоте и элегантности. По мнению Семена Гинзбурга, популярность Рунича объяснялась, прежде всего, соответствием «фрачному» амплуа, в котором не могли раскрыться подлинно талантливые артисты.

Советские киноавангардисты 1920-х презирали Рунича, ведь для них он олицетворял худшее, что было в раннем русском кинематографе. Им претила манера его игры с быстрыми переходами от томления к экзальтации. Отвергая прежний метод как абсолютное зло, Лев Кулешов призывал создать «кинематографическую армию убийц Руничей, Стрижевских, Максимовых». Солдатами этой армии должны были стать специально подготовленные натурщики, не испорченные театральщиной.

Для Сергея Эйзенштейна «Рунич» – синоним всего архаичного, опостылевшего, обреченного на гибель. Эпоха старого русского кино закончилась, пишет режиссер, «и, прошептав побелевшими губами «позабудь про камин», ушли Худолеев и Рунич, Полонский и Максимов в забытье, Вера Холодная – в могилу,

КИНО-ГАЗЕТА

№ 23.
Іюнь 1918 г.

Еженедѣльное иллюстрированное изданіе посвященное жизни и интересамъ Кинематографа.

Подписная цѣна съ пересылкой на годъ.... 50 руб. на 1/2 года. 25 „ Отдѣльный № 1 „

Редакція и контора: Москва, Тверь., Малый Гнѣздниковскій пер., домъ 12, кв. 3.
Телефонъ 1-64-57.

„ПОСЛѢДНЕЕ ТАНГО“. Постановка В. К. Висковскаго.

Кло—Б. В. Холодная и Джо—О. И. Руничъ.

Мозжухин и Лисенко – в эмиграцию». В другой статье, отмечая, что крупные планы работающих механизмов стали штампом советского кино, Эйзенштейн называет их «традиционными, как Рунич и Худолеев».

Неудивительно, что последний экранный партнер Холодной появился в советском фильме «Раба любви» в образе бездарного Канина. Этот персонаж противопоставлен актеру Максакову, принявшему Октябрьскую революцию и оставшемуся в красной Москве. Прототип Максакова – Владимир Максимов, легендарный герой-любовник русского кинематографа, а в советское время – один из основателей Большого драматического театра. В отличие от вымышленного персонажа, Максимов не нарушил контракт, а приехал в Одессу и участвовал в съемках у Харитонова.

Съемочная группа, включая Холодную и Рунича, прибыла в оккупированную немецко-австрийскими вооруженными силами Одессу в июле 1918 года. Харитоновское созвездие распалось: Полонский снимался на других кинофабриках; Максимов, отработав контракт, на время ушел из кино; Худолеев остался в Москве. Поэтому почти во всех последних фильмах с Холодной главную мужскую роль исполнял Рунич.

Зрители уже воспринимали этих актеров как постоянных партнеров на экране и в жизни. «Вера Холодная, Рунич… имена эти не станут рядом, – писала Елена Шатрова, – но какое-то время после восклицания: «Вера Холодная!» зрители восклицали: «И Рунич!». В Одессе их видели вдвоем на приемах, в общественных местах. Вместе с Холодной Рунич выступал на вечерах, где собирали средства в пользу семей павших солдат Добровольческой армии и на другие благотворительные цели.

В конце 1918 года в Одессе кино можно было смотреть и обсуждать, но его нельзя было снимать. Не хватало пленки для производства фильмов и выпуска в прокат готовых лент. Появилась грустная шутка: из-за прекращения съемок на студии Харитонова Вера Холодная и Осип Рунич вступили в «Собезкор» – «Союз безработных королей».

Одессу заняли вооруженные силы Франции. Формально город находился в руках белых, но их власть держалась на французских

штыках. Жизнь в перенаселенной Одессе становилась все труднее и дороже. Даже кинокоролям нужны были деньги, поэтому Рунич и Холодная часто ездили в турне. Давали концерты в Крыму, на Украине, на юге России и в Бессарабии. Играли одноактные пьесы, показывали танец из «Последнего танго». Планировали турне по Кубани и Дону.

В начале 1919 года в Одессе прошел благотворительный концерт в пользу нуждающихся артистов с участием Рунича и Холодной. Исполнив скетч в начале вечера, они уехали. Вскоре врачи диагностировали у Холодной испанку, тяжелую форму гриппа. Рунич рассказывал, что актриса простудилась на том концерте, выступая в неотапливаемом зале.

Впрочем, говорили еще, что по пути с концерта сани опрокинулись, и артистка упала в снег. Этой версии придерживался и кинооператор Александр Гринберг, который работал у Харитонова. Он присутствовал на вечере и видел Холодную с Руничем, которого считал мужем актрисы: «После бала Рунич повез жену домой, а по дороге лошадь вдруг упала, и извозчик отказался везти их дальше. Было очень поздно, темно, Рунич понес Верочку на руках до самого дома. Одета она была не очень тепло, а было сыро и холодно, зима в Одессе – противное время. Вот Верочка и застыла…».

Через неделю после концерта Холодная умерла.

Сразу пошли слухи об отравлении. Говорили, что артистка сотрудничала с советской резидентурой, которая намеревалась с ее помощью вынудить начальника штаба командующего вооруженными силами Антанты на юге России вывести союзные войска из Одессы. Говорили, что за это Холодную ликвидировали то ли белые контрразведчики, то ли, заметая следы, сами большевики.

Близкие Холодной опровергали эти предположения. «Вся ее жизнь протекала на моих глазах, так же, как и на глазах директора нашей кинофабрики Харитонова, Чардынина и других наших коллег, – писал Рунич, – и я категорически заявляю, что Вера Васильевна никакой политикой не занималась, отдаваясь всецело служению своему искусству». Актер утверждал, что смерть актрисы не могла быть насильственной. Но слухи об отравлении продолжали распространяться.

В фильме «Раба любви» кинодива влюбляется в кинооператора Потоцкого, который оказывается революционером-подпольщиком. А в реальности жители Одессы 1910-х считали, что у Холодной роман с Руничем. Казалось логичным, что красивая актриса, жившая в Одессе без супруга, и импозантный актер могли быть связаны интимными отношениями.

Холодная приехала в Одессу с матерью, сестрой и старшей дочерью. Младшая осталась в Москве с мужем актрисы, инвалидом войны. Рунич прибыл с женой, тоже артисткой. Вероятно, это была Нина Бершадская, его коллега по труппам Синельникова и МДТ. Вскоре она уехала в Киев, а потом в Москву. Видимо, они с Руничем расстались: по крайней мере в сообщениях одесской прессы о нем супруга больше не упоминалась.

В Одессе тогда жил певец Александр Вертинский. Он давно был знаком с Холодной и даже утверждал, что привел ее в кинематографию. С Руничем Вертинский тоже был знаком: в Москве они вместе снимались у Харитонова.

Осенью 1918 года одесский журнал «Экран» опубликовал памфлет Вертинского, где тот крайне пренебрежительно отзывался о русских киноартистах. Рунич расценил это как выпад в свой адрес и выступил в прессе с отповедью Вертинскому, упрекая его в зависти и беспринципности. Может быть, Вертинским также двигала ревность, ведь он, по собственному признанию, был «неравнодушен» к актрисе.

Тема любви Рунича и Холодной быстро стала фольклорной. Константин Паустовский, живший тогда в Одессе, привел текст песни, которую пели местные бандиты:

Бедный Рунич горько плачет –
Вера лежит в гробу.

Покойная актриса в песне обращалась к любимому:

Голубыми васильками
Грудь мою обвей
И горючими слезами
Грудь мою облей.

Вскоре после смерти актрисы Рунич покинул Одессу и снимался в Италии и Германии до самого конца эпохи немого кино. Перед Второй мировой войной перебрался в Южную Африку, где руководил первыми в стране профессиональными труппами, игравшими на языках идиш и африкаанс, и ставил оперные спектакли.

Сплетни о романтической связи с Холодной следовали за ним и едва не привели его на скамью подсудимых.

Весной 1928 года Рунич гастролировал со своей антрепризой в Польше. Турне было прервано из-за доноса на артиста. Утверждалось, что в 1919 году он вел в Одессе подпольную работу в пользу большевиков. Когда красные заняли город, король кино якобы стал высокопоставленным чекистом. На его совести было отравление любовницы, Веры Холодной, также работавшей на большевиков. В Польшу он прибыл для шпионажа по заданию Советов.

Рунич был немедленно арестован и помещен в одиночку, а потом – в камеру с уголовниками. Скандал получился громким. Дело Рунича бурно обсуждалось в эмигрантской прессе: предполагали, что доносчиком был брат актрисы Ольги Гзовской, кавалерийский офицер. В Одессе, говорили знатоки, Гзовский ухаживал за Верой Холодной. На этой почве у него были столкновения с Руничем, и теперь он решил отомстить давнему сопернику. Правда, потом выяснилось, что за обвинениями в адрес актера стоял отставной морской офицер, никакого отношения к Холодной не имевший.

Только через несколько дней, после допросов, очных ставок и вмешательства деятелей культуры Польши и других стран власти признали, что доказательств причастности Рунича к ЧК и шпионажу в пользу Москвы не было. Все же власти страны на всякий случай выслали артиста за границу.

Рунич остается под подозрением и у современных авторов. Беллетристы и создатели популярных биографий актрисы живописуют его «роковую страсть к русской «королеве экрана». Они сообщают, что Рунич был удивительно деликатен с ней: целовал не руку, а лишь кончики пальцев (и это про актера, снимавшемся с Холодной в рискованных по тем временам романтических сце-

Runicz i Chołodnaja

Z za kulis czrezwyczajki

Wiera Chołodnaja. Jedna z wybitniejszych artystek dramatycznych rosyjskich i gwiazda filmowa, słynęła nietylko ze swego talentu, ale i z niezwykłej urody.

Występy jej cieszyły się niebywałem powodzeniem. Artystka zarabiała kolosalne sumy. Ubiegali się o nią pierwszorzędni dyrektorzy i impresarja.

W latach: 1918—1919 Chołodnaja bawiła w Odesie.

W owym czasie Odesa przeżywała różne koleje, przechodząc niemal z rąk do rąk.

Na temat rozmaitych afer politycznych, w tym właśnie czasie krążyły niesłychane pogłoski.

Udział w niektórych manipulacjach, machinacjach, intrygach i t. p. brały przeważnie artystki kabaretowe i artyści scen rosyjskich.

Niektórzy z nich potem należeli do „Czeki", równocześnie grając na scenie.

Chołodnaja przyjechała do Odesy z Petersburga, po rozwodzie z mężem swym, znanym adwokatem przysięgłym. W Odesie zamieszkała przy matce swej wraz ze swą 11-letnią córeczką, obdarzoną niezwykłą urodą.

Po niejakim czasie Chołodnaja zawiązała bliższą znajomość z aktorem filmowym, Osipem Runiczem vel Czernowem - Frątkinem, o którego działalności na terenie „Czeki" donosiliśmy.

Piękną artystkę i R. widywano codziennie razem. Mówiono o nich, jako o zakochanej parze narzeczonych.

Nagle lotem błyskawicy rozeszła się wiadomość o śmierci Chołodnej. Zaczęły obiegać najfantastyczniejsze pogłoski. Mówiono, iż artystka została otruta z rozkazu „Czeki", ponieważ obawiano się, by nie zdradziła pewnych zakulisowych tajemnic.

W aferę tę zamieszany miał być jakoby Runicz. Wymieniają również nazwisko d-ra Ruttenberga.

Ile w tem wszystkiem jednak jest prawdy — dokładnie niewiadomo.

Opowiadano również o zmarłej artystce, iż używała narkotyków i że w przystępie rozpaczy, nie widząc celu w dalszem życiu — zdecydowała skończyć ze sobą...

Większa dawka trucizny — i kres...

Obecnie wraz z rewelacjami o Osipie Runiczu wypłynęła również, jako jedna z wielu mrocznych tajemnic, sprawa zagadkowej śmierci Wiery Chołodnej.

Na ilustracji zarazem widzimy ich oboje w jednej ze scen filmowych...

Osip Runicz, rozpomany jako szef Czrezwyczajki, i Wiera Chołodnaja, słynna artystka rosyjska.

Książki nadesłane do Redakcji

Bronisław Rakowiecki: „Komentarz Prawnika do prologu (sceny I) dramatu Noc Listopadowa Stan. Wyspiańskiego". Łódź. 1931.

Jest to nader interesujące, godne przeczytania, studjum, poświęcone polskiej młodzieży, a mające piękny cel pobudzenia umysłów do badań nad twórczością naszych wielkich pisarzy, a zarazem wzniecenia w sercach młodzieży uczucia miłości Ojczyzny oraz poczucia obowiązku poświęcenia się dla swego kraju. Rzecz napisana fachowo, zajmująco, literackim, ładnym językiem. Okazuje się, że i „prawnik" może okazać się bardzo dobrym interpretatorem dzieł poetyckich.

нах!). А после ее смерти отбыл за границу лишь для того, чтобы «заглушить горечь утраты». Правда, эти авторы уточняют, что их версии основаны на слухах.

Рунич и Холодная были близки: они проводили вместе много времени на сцене, на съемочной площадке и за их пределами. Их совместные фотографии, а также сохранившиеся сцены кинофильмов свидетельствуют, что им комфортно работалось друг с другом. Некоторые их жесты и взгляды при желании можно интерпретировать как доказательства того, что их отношения выходили за рамки рабочих и дружеских. Расставание Рунича с женой в Одессе вызывает вопросы. Почему она уехала именно тогда? Не был ли ее отъезд связан с Холодной?

Пока не обнаружено достоверных свидетельств романа Рунича и Холодной, и его нельзя принять за факт, основываясь лишь на слухах и фольклоре. Возможно, помимо супруга у актрисы не было другого мужчины сердца. И все же в одесском окружении Холодной наиболее вероятным кандидатом на эту роль был Рунич.

Феликс Кохрихт

Стас Жалобнюк. На краю Ойкумены

Золото скифок

В 1988 году вышла повесть Ивана Ефремова «На краю Ойкумены», оказавшая на меня куда большее влияние, чем его блистательные фантастические романы, один из которых, «Лезвие бритвы», стал манифестом поколения моих сверстников – культурологов и футурологов. Если действие романа происходило в далеком будущем, то повесть погружала нас во времена Эллады и Древнего Египта. Сюжет был незамысловат – герой, молодой греческий скульптор, в поисках идеала красоты путешествует по тому миру, который был не только доступен эллинам, но и понятен им.

Этот мир, или Мир, был очерчен воображаемой волнистой линией, окаймляющей Средиземноморье – от греческого побережья да африканского, но имел и северо-восточную границу – от побережий нынешней Турции и Румынии до сегодняшней же

Аджарии, конечного пункта путешествий Одиссея и охотника за Золотым руном Ясона.

На меня, уже читавшего греческих историков, особое впечатление книга Ефремова произвела тем, что я впервые осознал: и мы, живущие нынче в Одессе, и те, кто населял Северное Причерноморье тысячелетия до нас, уже тогда относились к разумному человечеству, а не к существам с песьими головами или одноглазым циклопам…

А до нас здесь жили скифы – кочевники, воины, искусные в ратном деле, но не чуждые и любованию греческими краснофигурными сосудами, из которых пили черное тягучее вино, не разбавляя его водой, чем поражали греков – впрочем, как и штанами (эллины кутались в тоги). Водилось у них и золото – украшения, оружие, чаши, которые и составили

легендарный клад с трудной судьбой, достойной приключенческого романа.

«Золото скифов» – так обозначил Стас Жалобнюк выставку своих работ во Всемирном клубе одесситов. Действительно, этот благородный металл, вернее – отблеск небольших квадратов, пометивших сюжеты, придал работам некоторую торжественность и таинственность. Но главным для меня стало то, что Стас, который уже несколько лет увлечен наследием древнего народа, населявшего наши края, знающий топографию курганов, увлеченный артефактами и скифов, и эллинов, и трипольцев, не стал изображать скифских лучников и гончаров, нагружая ими холсты и картоны, создавая абрисы, орнаменты и объемы, а проникся таинственной сутью жизни тех, чьи мечи, стрелы, кувшины, гребни и диадемы из бронзы, глины, кости, золота сегодня – в музеях и тайных схронах…

Это золото могло входить в приданое знатных скифских девушек, которых выдавали за вождей и героев…

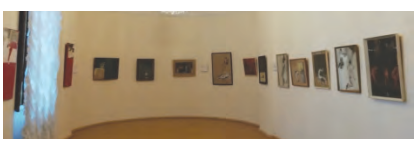
Не Рим, но мір!

…Я словно увидел тяжелые ожерелья и массивные браслеты на каменных статуях, найденных в скифских и сарматских курганах – на оберегах Сада скульптур нашего Литературного музея. Здесь за месяц до вернисажа в ВКО открылась первая за весь карантин выставка: Стас Жалобнюк представил на ней работы, которые давали возможность познакомиться с кругом его нынешних интересов, увлечений и, думаю, разочарований.

Уже не в первый раз за годы дружбы с Жалобнюком – не удивился, а скорее убедился в том, что и сам он, и его работы подчас рождают странный эффект: изображения на них предстают как бы предвестниками моих будущих встреч и событий.

Подобное случилось и на этот раз: лишь через месяц я задумался над «скифским парадоксом» – в зале ВКО, и спустя время – сегодня, когда пишу об этом…

О чем была экспозиция в Литературном музее, не имевшая ни девиза, ни афиши? Подумал о Пушкине – ведь эти заметки вы-



ходят в июне, ко дню его рождения. Вспоминая лицейские годы, поэт признавался: «Читал охотно Апулея, а Цицерона не читал…».

Ни в коем случае не провожу прямую аналогию, но Стас, путешествуя с Алей по Риму, был увлечен и статуями императоров на Палатинском холме, и фресками с фигурами рабынь, услаждавших патрициев в термах Каракаллы…

Изыск виллы Боргезе и грубая мощь Колизея…

Многозначность коллажей, чистота графики, сочувствие и сомнение красок…

Пафос и эротика, ликование и скорбь…

Облики святых, тени грешных…

Рим – Вечный город, преемник Афин, силового центра Ойкумены древних.

И в XXI веке в него ведут если уже не все, то многие дороги – и виртуальные тоже, что важно для нас в месяцы, переходящие в годы ковидного карантина.

Не вспомню, кто первым произнес инвективу, схожую с заповедью: «Не Рим, но мiр!». С точкою, как писали согласно старой орфографии, когда речь шла о Вселенной.

Вчера, сегодня и, по всей вероятности, завтра…

Здесь самое время уточнить, что на выставке в Литмузее далеко не все работы были так или иначе связаны или навеяны реалиями античности. Темы и стили, что вообще характерно для Жалобнюка, представляли разные стороны его дарования и сегодняшних приоритетов.

Разумеется, эти заметки – лишь о том, что я увидел и прочувствовал из того, что прочувствовал и увидел на двух выставках Стаса Жалобнюка, которые сошлись в одной точке времени и пространства – на краю Ойкумены, что вовсе не обидно, а наоборот.

Фото Степана Алекяна

Леонид Авербух

Одесские музы поэтов

Г.И. Газданов и Ф.Д. Ламзаки

Из ранних фотографий Гайто Газданова

Читали ли вы русского писателя Гайто Газданова? Его первый роман «Вечер у Клэр», вышедший в 1929 году, был высоко оценен И. Буниным и М. Горьким.

Родившийся 6 декабря 1903 года в Петербурге Георгий Иванович (Гæздæнты Иваны фырт Гайто – *осетинск.*) в 1919 году, в неполные 16 лет, присоединился к Добровольческому движению П.Н. Врангеля, как говорил позднее, чтобы «узнать, что такое война», и вместе с «добровольцами» покинул страну.

Вместе с отступающей Белой армией он оказался в Крыму, а в 1920 г. пароходом уплыл в Турцию, около года находился в Константинополе и в Галлиполи.

Не любивший насилия, он не был отмечен боевыми наградами, но эпитет «героический» неизменно сопровождал его имя и не был оспорен даже недоброжелателями. Он писал: «Мы были побеждены революцией и жизнью. Мы голодали. Однажды я проглотил кусок терпкой галлиполийской глины и вот до сих пор этот комок, прорастающий в моем сердце, давит на меня грузом

Аврора Газданова

желтого отчаяния, голода и тяжелой памяти о земле, где я родился жить».

Уже в Константинополе он написал свой первый рассказ («Гостиница грядущего», 1922). В болгарском городе Шумене, куда он попал в результате случайной встречи в Константинополе с двоюродной сестрой, известной в Европе балериной Авророй Газдановой, первой балериной Осетии, он окончил местную русскую гимназию, переехавшую в 1921 году в этот город.

В 1923 году наш герой переехал в Париж. Работал грузчиком, мойщиком паровозов, слесарем на автозаводе, преподавал французский и русский языки. Временами, не находя работы, жил, как клошар, ночевал на улице. Затем четыре года учился на историко-филологическом факультете Сорбонны, изучал историю литературы, социологию, экономику. Долгие годы (1928-1952), уже будучи известным писателем, был вынужден работать ночным таксистом.

В романе «Ночные дороги», вышедшем в 1941 году, нашло отражение близкое знакомство Газданова с парижским дном.

Очутившись в декабре 1923 года в Париже, Гайто и не подозревал, что попал в город всей своей жизни. Он не знал, что через несколько лет совсем избавится от русского акцента в своей французской речи. Париж поначалу отчего-то показался ему похожим на труп, который нельзя любить, но необходимо хорошо знать, если хочешь стать профессионалом. Он хотел писать. За этим сюда и приехал.

Первые два года Гайто почти ничего не писал, точнее, не записывал, но постоянно сочинял. Ему хотелось сесть за письменный стол и избавиться от воспоминаний. После того как он увидел напечатанными некоторые свои непри-

думанные истории, потребность в продолжении творчества возобновилась с необычайной силой.

«Писатель-романист», – писали о Газданове в 1967 году, когда его имя впервые появилось в советской печати. До 1996 года, которым датируется его собрание сочинений, прошло почти тридцать лет. Некоторые критики писали, что Газданов написал ряд блестящих романов, десятки рассказов, но, подобно А.С. Грибоедову, остался в истории литературы автором одного бессмертного произведения – «Вечер у Клэр».

Он никогда не вел дневников, но его романы изобилуют воспоминаниями. Литература о творчестве Газданова оказалась неожиданно обширной. Литературная критика эмиграции нарекла его «русским Прустом», выделяя творчество писателя как наиболее удачный пример интеграции в европейскую культуру.

Да с кем только из числа современных ему европейских писателей ни сравнивали его отдельные критики, подчас знакомые лишь с переводами его романов, – и, конечно же, с В.В. Набоковым, и даже с И.А. Буниным… Сам Газданов всю жизнь считал себя исключительно русским писателем во всех смыслах этого слова.

Первая серьезная монография, с которой началось исследование творчества Газданова и в которой обозначены его самые главные жизненные вехи, была написана американским славистом Ласло Диенешем в начале 1980-х годов.

С тех пор обнаружилось много новых фактов, приоткрывших неведомые ранее страницы жизни писателя, стала доступна часть документов из литературного и личного архива Газданова и записей близких ему людей, в серии «ЖЗЛ» вышла необычайно содержательная книга Ольги Орловой, сняты документальные фильмы.

Так поэт ли Газданов? Исчерпывающий ответ на этот вопрос дал сам Гайто Иванович: «Я не так давно серьезно открыл для себя поэзию, и могу сказать, что она во многом сделала меня тем, кто я есть сейчас».

Но и это еще не все… Как оказалось, поэтическое творчество в его традиционном понимании было ему отнюдь не чуждо.

* * *

Кому я нужен? Есть ли та,
Что ждет меня в свои объятья?
О, как же жизнь моя пуста!
И пустотой желаю стать я.

Уйти бесследно, не прощаясь,
Без слов, без вздохов, без нытья.
Минуло все. Все исчерпалось,
Все стало прахом бытия.

Молю тебя – великий Боже!
Дай мне терпенья, смелости и сил.
И лишь тогда, наверное, быть может,
Я участи такой бы не просил…

* * *

Солнце пламенным гигантом
Восседает в небесах.
Миллиарды лет тираном,
Всем оно внушает страх.

Солнце, гневом изнывая,
Адский жар на землю льет.
И о холоде мечтая,
Тварь земная в тень бредет.

Солнце страстно ненавидит
Землю и ее черты.
Презирает жизни виды –
Проявленья суеты.

На планетах люди, звери
Прахом на земле лежат.
Все пейзажи скучно серы –
А затем в огнях горят!

Лишь один из своры нищей
Жизнь отдать свою решил.
Надоело быть лишь пищей
Для прожорливых светил.

Смело он вознесся к свету,
Сердце вынул из груди.
Холод преподнес он небу,
Ад подлунный остудил.

Все забыли о герое,
Мир давно ушел во тьму.
Все забыли свет и горе,
Все похоже на тюрьму.

* * *

Да я, наверно, местная элита –
Меня сопровождает птичья свита
И ублажает мой капризный слух,
И поднимает мой упавший дух,

И холит, нежит лучшую из маний –
Писать стихи, и шлейф воспоминаний
За мной несет весенний ветерок
По месиву подтаявших дорог.

В середине 20-х годов важнейшим центром русской эмиграции была Прага, поэтому не было ничего удивительного в том, что для русских студентов, учившихся в Пражском университете – начинавших литературную деятельность, появился журнал «Своими путями». Первый раз Гайто послал в этот журнал сразу несколько рассказов. «Гостиницу грядущего» напечатали очень быстро. Следующей публикации пришлось ждать ровно год. Несколько рассказов попали в руки к заведующему литературным отделом журнала «Воля России» Марку Слониму (у этих двух изданий были общие сотрудники). В «Воле России» печатались

Марина Цветаева, Андрей Белый, Борис Зайцев и многие другие. В 1927 году там была опубликована «Повесть о трех неудачах» Газданова, которая вопреки своему названию стала подлинной удачей для молодого автора: она стояла в номере вслед за замятинским романом «Мы» и стихами Бориса Пастернака. Дату этой публикации Гайто отмечал как день рождения Газданова-писателя. С этого момента его имя в журнале стало появляться не реже, чем раз в полгода.

К середине 1920-х годов в Париже образовалось много русских литературных сообществ. В объединении «Кочевье», главной из задач которого было понять и угадать «значение и назначение» эмигрантских писателей, часто выступали писатели, критики и поэты. Именно здесь произошло обсуждение романов Газданова «Вечер у Клэр» и «Алексей Шувалов». Особенно тепло отзывался о них русский писатель, журналист, эссеист, один из деятельных и активных масонов русской эмиграции во Франции Михаил Осоргин, который высоко оценил оригинальный стиль и превосходный русский язык молодого автора. Внимание Осоргина к Газданову – внимание подлинное, без поверхностного покровительства, основанное на душевной близости и понимании, сыграло важную роль в становлении писателя. Неоценимую благожелательность встретил Гайто со стороны человека, чьи грани жизни и характера узнавал на протяжении десяти с лишним лет знакомства. И именно Осоргин рекомендовал Максиму Горькому издать «Вечер у Клэр» в России, а впоследствии способствовал вступлению Гайто в масонскую ложу, что дало писателю возможность общаться с высшим слоем интеллигенции. В ложе он занимал ряд должностей, а в 1961 г. стал ее «досточтимым магистром».

Он посещал и воскресное литературно-философское общество «Зеленая лампа», созданное в 1927 году в Париже и собиравшееся, как правило, в доме Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус.

Марк Слоним писал в «Воле России»: «У Газданова литературные и изобразительные недюжинные способности, он один из самых ярких писателей, выдвинувшихся в эмиграции». «Как и у Пруста, у молодого русского писателя главное место действия не тот или иной город, не та или иная комната, а душа автора,

память его, пытающаяся разыскать в прошлом все, что привело к настоящему, делающая по дороге открытия и сопоставления, достаточно горестные», – писал еще один русский эмигрант – поэт, переводчик и издатель Николай Оцуп в «Числах», первом аполитичном журнале Парижа. Гайто отмечал, что все минусы, которые не уставали отмечать наиболее агрессивно настроенные критики, в его глазах представлялись безусловными плюсами. Может, именно отсутствие политики в романе и было главной причиной такой разницы оценок?

В условиях затянувшейся эмиграции серьезная политическая окраска творчества казалась ему неуместной. Он признавал лишь одно разделение книг – на интересные и скучные. А каково происхождение автора и в какой национальной традиции он работает, казались ему вопросами совершенно неважными. Он был неравнодушен к хорошему, даже изысканному переплету, и всегда предпочитал покупать издания самого лучшего качества. Самое главное, что «Числа» объемом 250-300 страниц открыли доступ тем, кто после закрытия альманаха «Воля России» (существовал за счет пожертвований, вышло всего 10 номеров) лишился возможности печататься.

Перед началом Второй мировой

В 1931 году на одном из литературных собраний Газданов знакомится с Иваном Алексеевичем Буниным. Тогда же подруга Бунина Галина Кузнецова записала в своем дневнике мнение писателя о Гайто: «Познакомился с Газдановым. Сказал о нем, что он произвел на него самое острое и шустрое,

Г.И. Газданов. Фотографии разных лет

самоуверенное и дерзкое впечатление. Дал в «Современные записки» (литературный журнал русской эмиграции, издававшийся в Париже с 1920 по 1940 г. – **Л. А.**) рассказ, который написан «совсем просто». Открыл в этом году истину, догадался, что надо писать «совсем просто».

Эта встреча совпала с еще одним очень важным событием – Газданов стал печататься в «Современных записках». Там вышли восемь его рассказов, роман «История одного путешествия», началась публикация романа «Ночные дороги».

Нельзя сказать, что парижская жизнь не баловала Гайто любовными успехами. Это отмечали даже его недоброжелатели. Как заметил по этому поводу писатель и критик, ядовитый Василий Яновский: «Газданов, маленького роста, со следами азиатской оспы на уродливом большом лице, широкоплечий, с короткой шеей, похожий на безрогого буйвола, все же пользовался успехом у дам».

Тем не менее взаимность, которая носила по большей части внешний характер, не избавила его ни от одиночества, ни от тревоги, знакомых каждому, не испытавшему подлинную взаимность чувств. Человеку же,

ее драматически потерявшему, как это случилось в жизни Гайто несколькими годами ранее, когда на его руках трагически ушла из жизни молодая женщина, с которой он было связал свою судьбу, избавиться от гнетущей тоски было еще сложнее. Об этом он написал впоследствии в романе «Ночные дороги».

В августе 1936 года в Болье, на Лазурном Берегу, Гайто увидел на горизонте плывущего человека. Он не мог различить, мужчина это или женщина, но подивился смелости пловца, бывшего от берега на расстоянии более полукилометра. Он еще не знал, чем станет в его жизни этот человек и что произойдет дальше. Так начинался роман, который продлился тридцать пять лет.

Сначала Гайто пытался найти в женщине, назвавшейся Фаиной Дмитриевной, черты Клэр, поскольку ироничностью и смелостью она часто напоминала ему давнюю юношескую любовь. Но потом отбросил всякие попытки сравнения, поняв, что они бессмысленны. И Гайто не хотелось сопоставлять Фаину ни с теми, кого он знал в реальности, ни с теми, чьи образы он носил в своем воображении.

Фаина Дмитриевна Ламзаки* (в первом браке Гавришева) родилась 7 мая 1892 г. в Одессе. Официоз гласит: медицинская сестра, предприниматель. Жена Г. Газданова. Окончила Одесское женское коммерческое училище. Позже окончила курсы сестер милосердия при Александровской общине в Петрограде. Участница мировой войны, работала в лазарете. Награждена Георгиевским крестом. В эмиграции жила в Индии, затем переехала

* В Лиманском районе Одесской области есть маленькое село Великие Ламзаки. Да и фамилия эта в Одессе встречается нередко. Здание по ул. Конной, 12, идентифицируется как «доходный дом К.Н. Ламзаки».

Фаина Ламзаки в годы Первой мировой войны

Здание училища – ныне школа № 107.
Ул. Толстого, 30

во Францию. Была совладелицей сельскохозяйственной фермы в Болье-сюр-Мер (департамент Приморские Альпы).

Оказывается, в 1913 году в Одессе, на углу Каретного переулка и улицы Карангозова (ранее – Гулевая, позже – Толстого), по проекту архитектора Э.Я. Меснера и инженера Х.Я Скведера было построено здание для женского коммерческого училища Кефера и Ферстера. До сих пор на балконе второго этажа здания можно увидеть надпись «Скведеръ». Училище было создано в 1908 году Южнорусским немецким обществом и представляло собой среднее специальное учебное заведение, куда принимались девочки всех сословий и вероисповеданий, однако дети членов Южнорусского немецкого общества имели преимущество при приеме. Срок обучения составлял восемь лет, а программа включала изучение русского, французского и немецкого языков, истории, географии, математики, естествознания, физики, химии, коммерческой бухгалтерии и корреспонденции на русском и иностранных языках, основ политической экономии, торгового и промышленного законоведения, коммерческой географии, чистописания, рисования, рукоделия, стенографии, машинописи и танцев.

Матерью Фаины Дмитриевны была Клавдия Колчак. Неясно, была ли она родственницей адмирала, отец которого генерал

В.А. Колчак и мать О.И. Посохова были урожденными одесситами, – количество одесских Колчаков (и Кольчаков) необычайно велико.

У ее отца Дмитрия Ламзаки была довольно крупная лавка колониальных товаров в Одессе, он уже собирался расширять торговлю и присматривал наиболее удобное место еще для одной лавки, как грянула революция, заставившая семью тронуться с места. Во Францию Ламзаки попали не сразу. Они были среди тех выходцев из России, кто добирался до Европы через Восток. Несколько лет отец Фаины торговал в Индии. А потом, чутко уловив ситуацию, предложил семейству перебраться во Францию, на Юг, где его дальний родственник держал куриную ферму. Больше всего эта идея пришлась по душе тогдашнему мужу Фаины – Алексею Гавришеву: он слышал, что, если разработать свою систему игры в рулетку в Монте-Карло, можно в один вечер стать миллионером.

Миллионером он не стал. И Фаина, еще несколько лет терпевшая Гавришева возле себя, потом, откупившись небольшой суммой, развелась с ним.

Ко времени встречи с Газдановым Фаина уже похоронила родителей и стала совладелицей фермы. Болье-сюр-Мер она присмотрела давно и приезжала сюда отдыхать, когда могла позволить себе передышку. Из близких родных у нее оставались только сестра и племянницы в Варшаве. Родственник отца и основной владелец фермы был глубокий старик, дети его давно уехали в Аргентину, и никто из них не собирался возвращаться. Фаина хорошо освоила хозяйство, прилично знала французский и английский языки.

Но парижские литературные баталии были от нее далеки, она принадлежала совсем другому слою общества, который Гайто не слишком хорошо знал. Впрочем, и его мама в годы Гражданской войны пыталась при помощи торговли спасти их от голода и дать возможность сыну спокойно учиться в гимназии, не думая о заработке.

Живописные подробности в описаниях этого периода газдановской биографии поражают, но их хочется обильно цитировать… Биографы уверенно утверждают, что вечером в день знакомства Гайто дал Фаине последний том «Современных записок»,

где была его статья «О молодой эмигрантской литературе». На следующее утро, когда они лежали на берегу, Фаина смотрела на него пытливо и, как ему показалось, с большим уважением и серьезностью.

Короткий отпуск кончался. Надо было возвращаться в Париж. Приятели не мешали Гайто. Увидев зарождающийся роман, они нашли себе занятия – ездили в Ниццу, как-то раз отправились в Монте-Карло. Гайто туда не тянуло: еще по собственному юношескому опыту он знал, что азартная игра – это всегда проигрыш.

Общение с Фаиной настолько захватило Гайто, что он посвящал ей все свое время. Они гуляли по окрестностям, взбирались на невысокие холмы, ездили на курорт Кап-Ферра, бывали вдвоем в Ницце, а в порту Вильфранж наблюдали за отплывающими кораблями. Потом, взяв удочки у хозяина гостиницы, наловили рыбы, которую им приготовили на кухне в ресторане гостиницы. В Антибе поднялись к маяку и долго смотрели на неподвижное безветренное море и линию фонарей, освещавших длинную извивающуюся прибрежную дорогу.

Стрекотали цикады, аромат южных цветов и выжженной на солнце травы наполнял воздух, и его можно было пить и пить, он опьянял, и лишь легкий бриз освежал на мгновение голову. Гайто казалось, что вот он и вернулся на родину, и, обнимая за теплые плечи Фаину, вдыхая запах ее волос, он чувствовал умиротворенность… Уезжать не хотелось…

Теперь он вспоминал, как за год до своей поездки на Юг он с воодушевлением писал матери о возникновении новых радостных предчувствий, захвативших его. И встреча с возлюбленной, которую он прочил себе в жены, и надежда на свидание с матерью, и воображаемое знакомство этих самых дорогих для него женщин… (Цитирую биографов. – **Л. А.**)

Лишь теперь исполнилось желание матери, которая писала ему: «Все время ты окружен женщинами, и все как-то бестолково. Теперь надо начать новую красивую жизнь и помнить, что у тебя жизнь не должна проходить вне искусства». Если бы мать сейчас была здесь, на Лазурном Берегу, она бы поняла, что Всевышний услышал ее молитвы. Хотя вряд ли она смогла бы представить именно такую женщину рядом с сыном. Правда, Гайто, как выяс-

нилось, не смог бы ее порадовать перспективой появления внуков. Он написал матери все как есть.

Последний вечер они провели вчетвером. Хозяин приготовил им великолепный ужин из рыбы и морских моллюсков, они пили прекрасное вино из хозяйского погреба, наслаждаясь беззаботной беседой и делясь впечатлениями. Перед ужином Гайто с Фаиной в последний раз прошлись вдоль берега моря. Они обо всем договорились. Фаина Дмитриевна продаст свою часть фермы и приедет в Париж. Приедет, как только позволят дела…

Внешне они были слишком разные. Фаина была крупной, чрезвычайно веселой, умной и жизнерадостной женщиной, которая твердо стояла на земле. У нее было важнейшее качество – она умела создавать…

Фаина с детства была приучена к труду, помогая и отцу в торговле, и матери, присматривая за младшей сестрой. Перед Первой мировой войной она вышла замуж за упомянутого поручика Гавришева, бездельника и приживалу, который тут же вышел в отставку. Кроме карт, вряд ли его что-либо еще интересовало. Внешне он был молодцеватым и представительным, что и привлекало Фаину. Однако вскоре она обнаружила за внешним блеском молодого офицера пустоту и скаредность. Она с детства приохотилась к чтению, хорошо знала не только русскую классику, но и современную литературу, хватаясь за книжку всякую свободную минуту. Ее мужа, кроме спортивных сводок, светской и криминальной хроники в газетах, ничего не привлекало. Таких имен, как Александр Блок или Валерий Брюсов, он просто не слышал, хотя прочитал однажды «Поединок» Александра Куприна и жутко ругался, громогласно заявляя, что попадись ему этот щелкопер, он его тут же вызовет на дуэль. Но Куприн, к счастью, ему не попадался…

Фаина переехала к Гайто осенью 1936-го. Семейный образ жизни внес в ежедневный распорядок некоторые коррективы, но незначительные: Фаина Дмитриевна никогда не вмешивалась в литературно-общественные дела Гайто, тем более в масонские. Главную свою задачу она видела в упорядочении быта и создании семейного уюта. Она была на одиннадцать лет старше мужа, и в ее отношении к Гайто сквозили, несомненно, и материнские

чувства. Гайто дал ей прочитать письма Веры Николаевны, и Фаина Дмитриевна из них поняла, насколько внутренне одиноким, а иногда и совсем незащищенным чувствовал себя ее муж, внешне всегда такой уверенный, даже самоуверенный, гордый и независимый.

Он постоянно был собран, постоянно начеку, и только там, на Юге, как она поняла, он был полностью раскрепощен, свободен, как мальчишка, который играл роль взрослого. Она рядом с ним ощущала себя помолодевшей лет на десять.

Приходя с работы часов в пять утра, Гайто поначалу старался не будить жену, но Фаина Дмитриевна быстро приспособилась к его режиму. Ей было не привыкать после фермы вставать рано утром: крестьянский труд всегда начинается с первыми петухами. Так что утром Гайто ждал дома ранний завтрак. Потом он спал часов пять-шесть, после чего мог садиться за работу или гулять с женой по Парижу, показывая ей свои любимые места.

Они поднимались на Монмартр, бродили среди выставленных картин, в толпе художников и туристов, заходили в белоснежную мраморную базилику Сакре-Кер, где в любое время суток можно было увидеть многих молящихся.

Стоя на верхних ступенях широкой лестницы, которая вела к торговым улицам, они могли видеть почти весь город – его мосты, дворцы, разноцветные крыши домов, Эйфелеву башню в легкой дымке, соборы, вокзалы, зеленые массивы парков. Иногда они просто шли по улицам куда глаза глядят, часто выходили к Сене и стояли у перил набережной. И он рассказывал ей о столице то, что она не узнала бы ни в одном туристическом справочнике, – он рассказывал ей свою жизнь в этом городе…

В Париже о переменах в своей личной жизни Гайто никого не оповещал – они с Фаиной решили обойтись без свадьбы и регистрации. Забавно, но уже после двух-трех лет семейной жизни Газданов получил несколько писем от Александра Павловича Бурова, одного из самых состоятельных писателей русского зарубежья (знающие люди сообщили Гайто, что «Числа» издавались в основном на его деньги). Бурову чем-то приглянулся Газданов, и он написал, что если тот не женат, то ему следует приехать в Амстердам, он его здесь познакомит с очень приятной девушкой

из богатой русской семьи… Имевший уже трехлетний семейный стаж Гайто ответил Бурову с иронией: «Дорогой Александр Павлович, искренне благодарен за Ваши заботы о моем будущем и за Ваши матримониальные проекты. Увы, они неосуществимы по той хотя бы причине, что я женат (на женщине без денег, конечно)».

Действительно, материальное положение Гайто после женитьбы не особенно изменилось. Однако в остальном появление Фаины сказалось чрезвычайно благотворно. Она словно следовала завету его матери, писавшей Гайто: «Ты постепенно хочешь зарыть свой талант в землю. Но если ты будешь около меня, я, пока жива, буду всемерно содействовать тому, чтобы ты писал. В этом вся жизнь. Нельзя жить обывателем – это неинтересно».

Фаина была человеком практического ума. Убедившись в том, что Гайто тратит непозволительное количество времени на возвращение домой из гаража, куда полагалось сдавать после смены автомобиль, решила переменить место жительства. Это позволило Гайто не только экономить пару часов в сутки, но и сберегать физические силы. Вскоре она нашла небольшую трехкомнатную квартиру на улице Брансьон в пятнадцатом округе Парижа, куда они переселились в начале октября. Погода в это время в Париже обычно неустойчивая: то моросит нудный мелкий дождь, то вдруг проглядывает солнце и становится так жарко, что пар поднимается от тротуарных плит, то вновь набегают тучи. Словом, зима еще и не начиналась, а Газдановы вновь задумались о летних путешествиях. Гайто рассказывал Фаине о детской мечте – проплыть Индийский океан: «К сожалению, сейчас мои планы стали скромнее». «Это поправимо», – улыбнулась Фаина в ответ и поведала ему историю о том, как к ним в Индию, где она прожила с родителями несколько лет, приплыл молодой человек из Европы, притом без всяких затрат. Так неожиданно родился один из лучших рассказов Газданова «Бомбей». Впрочем, глядя на Фаину, Гайто не раз задумывался, что, если бы лучшие картины и встречи были предсказуемы, жизнь была бы невероятно скучна, и потому все самое ценное настигает нас случайно. На этом и был построен «Бомбей».

Вторая мировая война застала чету Газдановых на юге Франции. Париж был охвачен паникой, многие состоятельные люди

спешно покидали город, большинство русских издательств, газет и журналов прекратило работу. Газданов всегда был убежден, что отпор фашизму – долг каждого здравомыслящего человека. Еще до оккупации он без колебаний подписал декларацию верности Французской Республике, которая в случае необходимости обязывала всех иностранцев защищать страну. Гайто мог не подписывать этот документ, так как апатриды, отслужившие на родине, от призыва освобождались. Антифашисты Франции в кратчайший срок организовали Сопротивление, в которое в 1943 году влились тысячи военнопленных, бежавших из концлагерей. Газдановы стали активными участниками Сопротивления в партизанской группе «Русский патриот», в которой были и бежавшие из плена солдаты Красной армии. Гайто был восхищен новым для него поколением русских людей.

Вместе с женой они провели важнейшую большую гуманитарную работу. Они крестили еврейских детей, чтобы те избежали депортации. И очень многие еврейские семьи перед депортацией оставляли Газданову свои сбережения в виде золота. Они ему доверяли. И по возвращении находили все свои сбережения нетронутыми.

Гайто встречался со многими участниками боевых действий. Он первым вывел в литературе образ партизана Василия Порика, который получил звание Героя Советского Союза спустя 25 лет после того, как Газданов о нем написал.

Газданов редактировал подпольную газету, которую издавали бежавшие пленные. Свое вступление в подпольную группу, описанное как «эпизод с приятелем», Гайто подробно воссоздал в документальной повести.

Чаще других среди «эмигрантских дам», сопровождавших партизан в безопасные места, Газданов наблюдал собственную жену, пораженный ее неизменным бесстрашием, с которым она отправлялась в очередное сопровождение. Такая жизнь, полная волнений и опасностей, продолжалась вплоть до лета 1944-го, когда Франция снова задышала воздухом свободы.

Никогда и нигде Газдановы не будут козырять своею ролью в партизанской группе «Русский патриот», считая ее скромной и незначительной. И это несмотря на то, что, по словам Марка

Алданова, «риск, которому подвергались участники «Резистанс», даже действовавшие на второстепенных постах, был, конечно, много страшнее риска офицеров и солдат на войне».

Сразу же после войны в издательстве братьев Люмьер вышла книга Газданова «На французской земле», в которой были такие слова: «Никакие другие люди не могли бы их заменить. Любое другое государство не могло выдержать испытание, которое выпало на долю России».

В молодости смерть не казалась нашему герою худшим исходом событий. Она манила, завораживала, даже вдохновляла. Было что-то спортивное в попытке обмануть свою смерть, разгадать ее тайну, не поддаться ей. И действительно, он верил в то, что смерть преображает ощутивших ее дыхание, вступивших в спор с нею на равных, а безобразная мутная пленка на глазах, серый цвет, которым незаметно покрывается лицо, прерывистое дыхание, бульканье и хрипение, вырывающиеся из груди, – все это лишь тем, кто сдался. У них не хватило сил заглянуть в небытие и отпрянуть, почувствовав себя обладателем ценнейшего знания – может быть, самого главного из того, что человеку суждено узнать.

И вот теперь, когда обстоятельства складывались похожим образом, и рядом с ним была опять только одна женщина, которую может огорчить его смерть, его Фаина, – теперь Гайто удивлялся своей юношеской наивности. Смерть потеряла в его глазах былую привлекательность, противостояние ей перестало быть источником вдохновения, и он впервые осознал, что, несмотря на внешнее отличие от монпарнасской богемы, на самом деле поддался юношескому соблазну очарования гибелью. Такое могли себе позволить лишь те, кто был от нее по-настоящему далек. Тем же, кто с ней заигрывал, смерть не прощала подобного высокомерия. Это неудивительно, если вспомнить трюк, который он сам не раз проделывал в детстве: вставал на руки на перилах балкона, рискуя в любой момент сорваться с огромной высоты…

Была ли Фаина его музой? Стала ли прообразом какой-нибудь героини его текстов? Разве что героиней эпистолярного творчества Газданова. Но ее преданность и верность, постоянная самоотверженная забота, безусловно, в решающей степени

Г.И. Газданов и Ф.Д. Газданова-Ламзаки после войны

способствовали расцвету его литературного творчества, максимальной реализации его большого таланта. После войны один за другим вышли два романа – «Призрак Александра Вольфа» и «Возвращение Будды». Именно они позволили критикам сравнить автора с Альбером Камю, Жюльеном Грином, Марселем Прустом, Марио Сольдати, Францем Кафкой.

В начале 1950-х годов к нему приходит мировая известность. «Возвращение Будды» публикуется в Англии и США, появляются французский, итальянский и немецкий переводы «Призрака Александра Вольфа». На этой волне из Америки приходит приглашение работать в издательстве имени А.П. Чехова, но Нью-Йорк, который Газданов посетил несколько раз, ему не понравился. Он понял, что не сможет вновь пройти мучительный путь эмигранта. По возвращении в Париж Георгий Иванович получает приглашение стать сотрудником нового радио «Свободная Европа», впоследствии ставшего радио «Свобода». Фаина Дмитриевна настояла на том, чтобы Гайто согласился и смог наконец оставить тяжелую работу таксиста.

Количественный итог творчества Газданова – девять романов, тридцать семь рассказов, книги очерков «На французской земле», а также десятки литературно-критических эссе и рецензий. Архив Газданова, хранящийся в Хотонской библиотеке Гар-

вардского университета, составляет около двухсот единиц хранения, большая часть – варианты опубликованных рукописей. Не удалось узнать места хранения обширной переписки с близкими, которая также попала в печать.

Много писали о кинематографичности его сюжетов, однако попытка экранизации «Призрака Александра Вольфа», предпринятая в США, вызвала крайнее недовольство писателя, в резкой форме заявившего, что ничего эти американцы о нас, русских, не понимают…

Газдановы не были на Юге с начала оккупации, когда жизненные обстоятельства и денежные средства не позволяли совершать подобные поездки. И вот семь лет спустя, сойдя с поезда на знакомом вокзале и услышав шум прибрежных волн, Гайто почувствовал, как сильно он соскучился по этим местам, по вечерним прогулкам, по длительным заплывам вдоль берега.

Он почти никогда не описывал Лазурный Берег в своих книгах, лишь упоминал его как место действия. Отправились они туда с большой компанией, Гайто развлекал сына друзей гимнастическими упражнениями – ходил по песку на руках. Он учил мальчика плавать вдоль побережья разными стилями – брассом, кролем. Фаина заплывала так далеко, что превращалась в маленькую точку. Когда кто-нибудь из близких принимался ее укорять за долгое отсутствие, отшучивалась: «Ну что вы! Я в воде, как пробка». Вечером всей компанией выбирались на прогулки. Вели долгие разговоры о буддизме. Особенно живописно вспоминала Индию и ее удивительные обычаи Фаина, прожившая там несколько лет.

На Французской Ривьере все давно было знакомо, исхожено. И с появлением достатка Гайто с Фаиной стали ездить в Венецию, в Италию, в ту самую страну, о которой, незабвенный и высоко чтимый нашим героем Осоргин написал поэтическую книгу «Там, где был счастлив».

Летом 1953 года Фаина и Гайто стали готовиться к переезду в Мюнхен, где находилось радио «Свобода». Они теперь зарегистрировали свой брак, начали оформление документов и поиск нового жилья. В следующем, 1954 году, радиостанция собиралась выйти на круглосуточное вещание. Работа обещала быть напряженной, и нужно было все подготовить заранее. После переезда, в Мюнхене, писатель работал под псевдонимом Георгий Черкасов и прошел путь от автора-редактора до главного редактора русской службы.

Послесловие

Гайто Газданов скончался от рака легких 5 декабря 1971 года в Мюнхене накануне своего 68-летия. Его отпевали в русской церкви и предали земле на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем (могила № 8112).

Через три года, в 1974-м, в Москве сын Леонида Андреева писатель Вадим Андреев выпустит книгу, посвященную временам своей эмигрантской юности. Отдавая дань памяти друга, он назовет ее, как и известный роман Газданова, «История одного путешествия».

Через 11 лет, в 1982 году, в могилу Газданова опустят гроб с телом его вдовы Фаины Ламзаки.

Через 19 лет, в 1990 году, родственница Татьяны Пашковой, послужившей прообразом Клэр, купит в парижском магазине первое издание «Вечера у Клэр». Букинист будет долго отговаривать ее от покупки: «Не стоит тратить на нее таких денег. 300 франков – это большая сумма. Ведь это великий писатель. Поверьте, вскоре его книги будут продаваться в России свободно». И он оказался прав.

Через 25 лет после смерти Гайто, в 1996-м, в Москве вышло пятитомное собрание сочинений Газданова, а через 30 лет со дня

Памятник Г.И. Газданову на его могиле. Кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа
Автор – его соотечественник скульптор Владимир Соскиев

его смерти, в 2001 году, у могилы писателя собрались почитатели его таланта из Парижа, Москвы, Петербурга, Владикавказа. Они приехали почтить память автора необычайно талантливых и проникновенных рассказов и романов и установили надгробие на могиле человека, который прожил нелегкую и во многом странную жизнь без зримых подвигов, но чье имя неизменно сопровождает меткий эпитет – героический Гайто Газданов.

В декабре года нынешнего со дня его ухода исполнится полвека.

Феликс Кохрихт

Миссия Дикого

В Википедии сказано, что Юрий Борисович Дикий удостоен Памятной медали «За спасение церкви Святого Павла в Одессе» – Кирхи, вошедшей в историю города, культурную и духовную жизнь нескольких поколений. Обычно так отмечают военнослужащих или пожарных, отличившихся в борьбе за сохранность знаменательных сооружений. Не знаю, была ли подобная медаль в апреле 1944 года, когда чудом удалось сорвать планы оккупантов, задумавших взорвать наш оперный театр, но в 2010 году ее получили те, кто в мирное время не дал разрушиться и исчезнуть одному из знаковых архитектурных памятников Одессы, в создании которого принимали участие выдающиеся зодчие.

Юрий и Елена Дикие у мемориальной доски в честь Святослава Рихтера

В лихие годы в нашей стране были уничтожены, перестроены, изуродованы многие культовые сооружения. Кирхе все же повезло – ее облик внешне мало изменился, она оставалась самым высоким сооружением центра города, шпиль которого был виден издалека, но старинное здание использовалось не по предназначению и постепенно ветшало. История спасения Кирхи заслуживает и фильма, и монографии, и воспоминаний…

Среди тех, кто из года в год добивался перемены участи намоленного пространства, были люди разных профессий и возрастов, и одним из самых активных и настойчивых называют Юрия Дикого – в начале пути молодого преподавателя кафедры специального фортепиано, а затем профессора нашей консерватории.

Тогда и началась миссия Дикого: суть этого термина трактуют по-разному, но, пожалуй, точнее всего – как предрасположенность, заложенную в человеке. И далее – несколько пафосно, но емко и точно – направленную на благо.

Я давно дружу с Юрой, у нас были общие друзья в молодости – увы, с годами их осталось не много. Особый смысл в наших отношениях возник тогда, когда он раскрылся как историк, исследователь и последователь одесской пианистической школы – мирового феномена, родившегося после того, как наши юные, молодые, одаренные свыше музыканты встретились с Учителем – Генрихом Густавовичем Нейгаузом.

Гениальные Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер, плеяда талантливых и самобытных – будущих преподавателей и инструменталистов составили ближний круг, в который с годами посчастливилось войти Юрию Дикому – их ученику, летописцу, продолжателю.

Уже много лет он несет миссию служения их памяти, доводит до города и мира яркие, но многотрудные судьбы наших великих земляков, стремится передать то, что узнал от них и о них, развеять домыслы и наветы – в том числе и на страницах нашего альманаха.

Достаточно поразительного факта. Долгие годы определенными кругами замалчивалась важнейшая часть биографии Святослав Рихтера – его одесские детство и юность, роль отца в формировании личности будущего корифея. Один из самых авторитетных музыковедов мира, биограф Рихтера Бруно Монсенжон впервые узнал об этом от Юрия Дикого. И не только он.

В родном городе в далеком уже 2003 году он создал Миссию Давида Ойстраха и Святослава Рихтера, провел яркие фестивали, научные конференции, конкурсы. Благодаря его энтузиазму и настойчивости увековечена память ученицы Нейгауза, выдающегося педагога Людмилы Гинзбург…

В возрожденной Кирхе проводятся богослужения и звучит высокая музыка. Несколько лет назад здесь исполнили сочинение отца Святослава – Теофила Рихтера, который до войны служил здесь органистом… Доска памяти великого музыканта тщаниями Ю. Дикого – на стене храма.

Юрий Дикий рассказывает Бруно Монсенжону об одесском периоде жизни Святослава Рихтера

Миссия Дикого – миссия Диких. Семейное свойство, передающееся из поколения в поколение. Эта говорящая, тотемная, неукротимая фамилия была дана роду, в котором музыканты и математики, инженеры и священнослужители.

Сегодня Юрий, переступив барьер – 75, вспоминает о своей родне, о судьбах одесситов, традиции которых продолжает в XXI веке.

Юрий Дикий

Из воспоминаний

«Все настоящее – мгновение вечности».

Марк Аврелий

«Миг настоящего – это все, в чем мы можем быть уверены».

Сомерсет Моэм. «Подводя итоги»

Возвращаясь из разросшихся воспоминаний в мгновения детства на Соборной площади, невольно поражаешься связи времен прошлого века, соединенных в одном месте судьбами разных поколений, сменой исторических событий и даже архитектурного облика нашего города. Здесь протянулись незримые нити к мгновениям, объясняющим многое в панораме событий как личной жизни, так и кровного родства с городом, ставшим навсегда родным «гением места».

Всего несколько лет минуло с младенческих приключений

у памятника М.С. Воронцову, когда состоялось новое, уже самостоятельное путешествие. Музыкальная атмосфера дома спровоцировала в пятилетнем возрасте идею навестить старейшую музыкальную школу № 2 им. А.К. Глазунова, находящуюся в двух кварталах. Любопытно, что тогда попал в руки самого директора, знаменитого Л.С. Перельмана*, который объявил моим родителям, что я в школу принят. Это их, в свою очередь, спровоцировало обратиться в дирекцию школы-десятилетки им. П.С. Столярского, куда спустя год был сразу же зачислен с весьма лестными отзывами о способностях.

Спасо-Преображенский собор (1808-1936)

Но возвратимся на нашу Соборную площадь.

Знаменитая школа им. П.С. Столярского** в послевоенный период располагалась в здании общеобразовательной средней школы № 121 на четвертом этаже. Возведенная из осколков кафедрального Спасо-Преображенского собора (1808-1936), по утверждениям одной стороны – снесенного в 1936 году, другой – разобранного по камешку. Архитектура школы, как говорил позднее Святослав Рихтер, «до того убогая, что трудно себе вообразить!».***

Средняя школа № 121

* Надо же, в студенческие годы его сын Виля по рекомендации Л.Н. Гинзбург стал моим первым частным учеником.

** В ноябре этого года будет отмечено 150-летие со дня рождения основателя школы – профессора П.С. Столярского.

*** Разумеется, Рихтер имел в виду убогость стандарта строившихся в то время школ.

Плотность школьных помещений на верхнем этаже, да и размещение нашего класса, где совмещались и занятия, и вся концертная жизнь прославленной школы, куда приезжали знаменитые музыканты-педагоги (в частности, Г.Г. Нейгауз), вызывающе контрастировали с довоенным зданием на Сабанеевом мосту, порождая массу трудностей учебного процесса.

Школа Столярского. !940 г.

Но зато какой был наш класс и какие педагоги, какой директор Г.Д. Бучинский! По сей день все мы, соученики, остались родственниками друг другу. Хотя и разбросаны сегодня по всему свету, сохраняем в душе благодарную память о значительной части наших учителей. Если вспоминать всех, то это главы большого увлекательного романа длительностью в одиннадцать лет, а в некоторых последующих временах имевшего продолжение и в консерватории, и в дальнейшей музыкантской работе.

Чтобы никого не обидеть из представленных на фотографии, сделанной 1 сентября 1952 года в так называемом зале школы, смею упомянуть мгновение первого знакомства с ближайшим другом Павлом Григорьевичем Купиным, ныне заведующим кафедрой струнных инструментов Одесской консерватории, прекрасным виолончелистом, завершавшим свое высшее образование у М.Л. Ростроповича. Мы с ним единственные оказались в первый день учебы (кстати, оба шестилетки, рядом с остальными учениками-семилетками) без традиционных букетов, что привело к нашей драке за кем-то утерянную хризантему. На фотографии в нижнем первом ряду справа она в моих руках, а рядом расстроенный шестилетний Павел Григорьевич. В центре снимка наша первая учительница, которую помним все без исключения, – Антонина Дмитриевна Луканина.

А сколько нынешних знаменитостей могут узнать себя на этом снимке?

Первоклашки 1952 г.

Но коль уже был упомянут Спасо-Преображенский собор, то на его месте в то время был сооружен памятник сидящему в кресле Сталину, взирающему на ландшафтно смоделированный украинский «план ГОЭЛРО»: текущие реки и модели гидроэлектростанций с мигающими огоньками. Эта пропагандистская инсталляция просуществовала не более месяца, развлекая малолеток, а памятник тирану – не долее пары лет после его смерти.

Тогда мне и невдомек было, что рядом со школой остался сохранившийся соборный дом, где в довоенный период проживали священнослужители собора, а среди них жили мой дед Федор Тимофеевич Дикий, бабушка Анастасия Христофоровна Атманаки и отец Борис Федорович Дикий. Жили они на втором этаже, где визави находилась квартира Константина Константиновича Пигрова, регента упомянутого собора. Невдомек, потому что в семье очень редко упоминался и соборный дом, и связь деда с собором.

Соборный дом с памятной доской К.К. Пигрову

К.К. Пигрова хорошо помню по его визитам в нашу школу в качестве заведующего хоровой кафедрой и руководителя хора консерватории. А вот принадлежность деда к соборному дому и соответственно к Спасо-Преображенскому собору длительное время в семье даже не упоминалась, потому что в 1932 году был арестован К.К. Пигров как регент собора, а дед вынужден был скрываться как знаменитый в то время в Одессе его диакон.

Как оказался в рядах священнослужителей кафедрального собора в 1918 году представитель второго выпуска Одесской консерватории 1917 года из знаменитого класса профессора Ю.А. Рейдер и получивший место солиста в одесской опере? Парадигма судеб, незримо складывавшаяся в разные эпохи, откладывала свои вехи, определявшие многие мгновения.

Революции 1917 года не упразднили второй выпуск в Одесской консерватории. Два года подряд блестящий успех выпускников класса вокала профессора Ю.А. Рейдер был отражен в местной прессе. В оперу приглашается дебютант Ф.Т. Дикий с уникальным голосом (бас с диапазоном в три октавы), отличавшимся бархатной красотой. Его жена была приглашена в театр годом ранее. Предрекавшееся прессой блестящее будущее молодой пары оперных артистов, у которой в 1917 году родился мой отец, увы, оказалось совсем иным.

Читаем в издании «Духовенство Одессы. 1794-1925» выдержки из статьи о Ф.Т. Диком: «Дикий Федор Тимофеевич (1886-1967) диакон. (...) В 1917 г. окончил Одесскую государственную консерваторию по классу вокала профессора Ю.А. Рейдер. Позже принял диаконский сан и в 1919-1932 гг. служил иподиаконом в Одесском кафедральном Спасо-Преображенском соборе.

В 1925 г. – в списке тихоновского духовенства».*

Каким образом молодой артист оперы с яркой революционной биографией в первые годы советской власти оказывается в рядах священнослужителей?

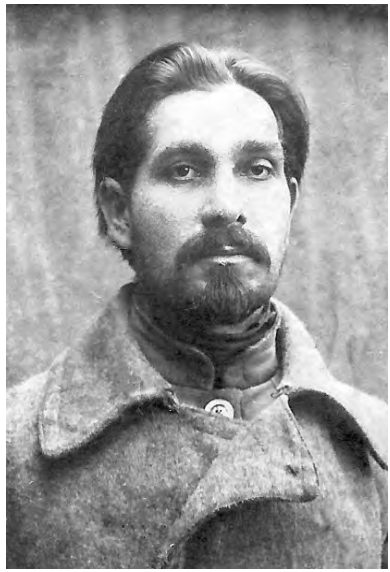
Еще пару строк из вышеприведенной статьи: «Родился в с. Велико-Михайловке Ново-Оскольского уезда Курской губернии. Проживал в Кривом Роге, где 25.04.1904 г. был арестован за принадлежность к местной организации РСДРП и участие в сходках. Содержался под стражей в херсонской тюрьме. По постановлению особого совещания от 19.09.1906 г. был выслан под гласный надзор полиции в Олонецкую губернию на 3 года».

Выпускник консерватории Ф. Дикий. 1917 г.

Между тем скупые документально-энциклопедические строки не отражают дальнейший период революционной деятельности деда. Каторга и переломанные там вагонеткой ноги… Все это не отлучило его от революционной романтики.

В моей памяти его рассказ о событиях в Одессе 1917 года. Хорошо помню, что он тогда, уже закончив консерваторию, возглавлял отряд моряков, занявших на нашем бульваре резиденцию генерал-губернатора, впоследствии здание Дворца моряков. В рассказе деда это событие вовсе не носило для него оттенка исторического и революционного, а скорее наоборот – он был возмущен поведением революционных матросов, сразу же

* «Духовенство Одессы. 1794-1925». Автор-составитель В.А. Михальченко. – Одесса, 2012, с. 133.



Каторжанин Ф. Дикий

приступивших к разгрому здания. Били зеркала, вспарывали обивку диванов и стульев… Все как положено для мести восставших. Попытки деда приостановить этот беспредел обернулись возмущением матросов, тут же арестовавших своего командира, и даже предложением его расстрелять. Деда вывели на бульвар, но, к счастью, внимание матросов привлек приближавшийся щеголеватый молодой человек в канотье и с красным бантом, которого они сразу же взяли на прицел. Это и спасло деда, сумевшего овладеть ситуацией, пока матросское внимание занял появившийся франт. Заметив направленные в его сторону винтовки, прохожий пустился наутек в сторону бульварного склона.

Для меня же самое интересное произошло, когда дед рассказывал эту историю за обеденным столом, ибо здесь же сидел мой второй дед – отец мамы Сергей Тимофеевич Долгий, который вдруг неожиданно для всех сказал: «Так это был я!». И дальше поведал, как он принял революцию начинающим почтенным буржуа с бельгийским браунингом в заднем кармане, нацепив красный платок. Поблагодарил Бога за то, что по молодости здорово бегал. Его укрытием на склонах бульвара послужил наш знаменитый фонтан из ракушечника, в котором он провел весьма длительное время.

Но возвращаясь к «дикой» дедовской парадигме биографии, от революционера к священнослужителю, можно обнаружить узловой момент в истории революций – их моральную кровавую сущность, циничное отношение к человеческой жизни.

Большевистский беспредел, разруха, беспринципность и прочие стороны свершившихся революций не могли не влиять на молодого артиста оперы, и, вероятно, последней каплей, переполнившей чашу, были не только массовые расстрелы белой гвардии и буржуазии, но и повсеместное истребление духовенства.

В 1918 году появляется «Воззвание» новоизбранного патриарха Тихона. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей – загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной», – писал Тихон.

Никогда не замечал за дедом особой религиозности, но несовпадение исповедуемых моральных ценностей определило дальнейшую весьма удручающую линию жизни обоих моих предков. Молодая пара оперных артистов покидает сцену театра.

Упомянутые в статье о Ф.Т. Диком «тихоновские списки», позднее обнаруженные в архивах КГБ, служили материалом для последовавших арестов и расстрелов тихоновцев, постепенно замещаемых в церквах «красными угодниками». Появилась причина

Хоровая капелла «Думка» в 30-е годы. Бас-октавист Ф.Дикий в центре третьего ряда

для расстрела с двойной мотивацией – и как «старого большевика», и как неугодного священнослужителя.

Федор Дикий, обладая конспиративными качествами революционера, пускается в бега, и в 30-е годы исчезает из Одессы. Правда, его талант ненадолго находит применение в знаменитом украинском хоровом коллективе «Думка» благодаря его основателю и хормейстеру мирового уровня Нестору Городовенко, услышавшему уникальный голос Ф. Дикого и немедленно пригласившему его в свой коллектив. Однако уже вскоре Н. Городовенко был вынужден эмигрировать, спасаясь от НКВД, а скитания Ф. Дикого продолжились в ходе массовых репрессий 30-х гг. Он покинул жену и сына, мгновения биографий которых «приключенчески» не менее драматичны…

Но это, как ныне принято говорить, уже совсем другая история… Или другие мгновения…

Илья Буркун

Дружба длиною в жизнь

Памяти Михаила Жванецкого

Одессу есть за что уважать. За архитектурные ансамбли, за море, за ее историю, а главное – за ее способность в любые времена рождать «музыкантов, шахматистов, художников, певцов, жуликов и бандитов, так ярко живущих по обе стороны среднего образования», – написал Михаил Жванецкий.

В 1934 году в этом замечательном городе родились и два друга. 28 января 1934 года – Аркадий Бортник, а через пять недель, 6 марта, родился Михаил Жванецкий.

Михаил Жванецкий и Аркадий Бортник

После окончания войны они впервые встретились 6 ноября 1945 года в одесской мужской школе № 118. Всегда вспоминали 6 ноября – день, ставший знаковым в их судьбе. А тогда случайная встреча двух совершенно разных людей переросла в дружбу длиною в жизнь. И только смерть М.М. Жванецкого 6 ноября 2020 года ее прервала.

Из интервью с Михаилом Жванецким. «Вопрос: Вы много встречали людей умнее вас? Ответ: Наверное, умнее меня Андрей Битов, Фазиль Искандер, если говорить по писательской линии. Умнее меня Аркадий Бортник, мой товарищ, Додик Лурье, о котором я писал…»

Об уме своего самого близкого друга Михаил Жванецкий писал не однажды. Маленькая миниатюра, посвященная Аркадию Бортнику, написанная в 1973 году.

Аркадий и комар

Мой друг Аркадий очень умен.
Золотая голова и руки.
Взял шесть комаров и штангенциркуль.
Измерил штангелем размах крыльев – 5 мм.
И стал делать сетку.
Горизонтально сетку не натягивал.
Только вертикально.
Через 5 мм.
Комар брассом не летит, только баттерфляем.
Комар от рождения вираж не закладывает.
Комар не может сложить крылья, пролезть, а потом расправить.
Чего проще…
Но комар, как всякий кровососущий, туп.
А мой друг Аркадий умен и добр.
Поэтому дома они теперь не встречаются. Только на улице.

В 1941 году покидавшие Одессу под бомбежками, выжившие после самой страшной войны, голодавшие в эвакуации, одиннад-

Встреча через 25 лет. Бывшие ученики и их педагоги. Второй ряд снизу, крайний слева – А. Бортник. Верхний ряд, крайний слева – Михаил Жванецкий

цатилетними пацанами они встретились в 1945. Встретились в пятом классе 118-й школы на ул. Преображенской (тогда она называлась ул. Советской Армии). В 1976 году ученики этого класса решили отметить юбилейную дату – 25 лет окончания школы.

Инициатором был Аркадий Бортник. В стенгазете, выпущенной тоже Аркадием, он написал:

Нам сегодня 25!
Много это или мало?
Как хотелось бы опять
Все начать сначала.

На таких встречах, как стало традицией, читал свои новые произведения Михаил Жванецкий. Друзья первые его слушатели. И в тот вечер он прочел написанную к этой дате удивительную миниатюру «Учитель», о Борисе Ефимовиче Друккере – преподавателе русского языка. Легенда Одессы, подаривший несмышленым

Борис Ефимович Друккер с учениками

мальчишкам русский язык, давший многим из них путевку в жизнь. Миниатюра, облетевшая мир, – памятник и благодарность великому педагогу.

Рассказ парадоксален в своем сюжете, что всегда отличало творчество Михаила Жванецкого. Гротеск и сарказм вначале, неожиданный поворот в финале. Слова безмерной признательности, щемящей грусти, дань благодарности необыкновенному человеку и учителю за великий чистый острый русский язык.

А мне посчастливилось записать интервью с Михаилом Жванецким, прилетевшим в Австралию в 2003 году. Он тогда вспоминал о школьных годах:

– Со школьных лет нас было семеро – Аркадий Бортник, Толя Мильштейн, Марк Гризоцкий, Додик Лурье, Володя Сапожников, Боря Вайнштейн. Мы вместе с пятого класса. Нет уже Бори Вайнштейна и Володи Сапожникова. Остальные все в разных странах. Аркадий Бортник живет здесь, в Мельбурне, Лурье в Иерусалиме,

Михаил Жванецкий и Илья Буркун

Гризоцкий в Оттаве, я в Москве, только Толя Мильштейн остался в родном городе.

Вот такая судьба, как и судьба очень многих. В записной книжке у меня осталось 4-5 одесских номера. Новых друзей завести я не могу. С 90-х главное событие этих лет, чем мы жили, прежде всего – отъезд наших друзей. Очень тяжело переживается. Теперь, чтобы встретиться и поговорить с Аркадием, я лечу через все континенты… Я сейчас скажу формулу. Внимание: «Постараться помочь той стране, откуда мы уехали, и не навредить той, куда мы приехали!».

К сожалению, прав был Михаил Жванецкий, отъезд из страны оказался главным событием тех лет для многих из нас. «Наша страна – родина талантов, а наша Родина – их кладбище» – напишет он.

«В Одессу – это на родину, к своим. Сейчас многие на родину к чужим приезжают и стараются там жить. Ну что для меня Украина, если живу здесь июль – август – сентябрь – октябрь. Пока не сравняется погода. Когда сравняется – перелетаю».

Михаил Жванецкий, Наталья Сурова и Аркадий Бортник

Переехав в Москву, Михаил Жванецкий забрал к себе свою маму Раису Яковлевну Жванецкую. Они были очень близки. Мудрая, тактичная, врач по профессии, первый его критик и наставник. Всю жизнь мама была рядом. Михаил Михайлович ее обожал. Это ей принадлежит знаменитая фраза: «Миша, не сиди просто так, думай что-то». Когда Раиса Яковлевна ушла из жизни, Михаил Жванецкий выполнил ее завещание, перевез в Одессу, и она похоронена рядом с его отцом.

В трагический день, когда великий одессит шагнул в вечность, Одесса – единственный город в мире, приспустив государственные флаги, объявила траур, почтив память великого земляка.

Все годы жизни в Одессе ближайший друг писателя Аркадий Бортник был главным организатором их встреч, связующим звеном. И по сложившейся традиции друзья собирались у него на даче, на 10 станции Большого Фонтана.

Здесь на даче Михаил Жванецкий познакомил своего друга с будущей женой Наташей Суровой.

Почтить память Раисы Яковлевны Жванецкой пришли друзья, соседи. На знаменитой лестнице в его доме, на Старопортофранковской, 133, рядом со Жванецким: Венера Умарова, Аркадий и Нина Бортник, Гарик Волк, литературный секретарь Олег Сташкевич, Роман Карцев, Виктор Ильченко, школьные друзья

На этой исторической даче рождались и многие репризы Жванецкого. И часто, когда он читал свои произведения, жители соседних домов подходили к окнам Аркадия, становясь участниками необычного концерта. Когда Жванецкий заканчивал чтение, аплодировали друзья, а из открытых окон в комнату врывались аплодисменты соседей.

И встреча выпускников в 1976 году, начавшись в школе, закончилась традиционным застольем. На стене висела подготовленная Аркадием стенгазета. Надпись от редактора гласила: «Выходит раз в 25 лет». И лозунг: «Жванецким можешь ты не быть, но на банкете быть обязан».

Одесские дачи – это особый мир, которому Михаил Жванецкий посвятил отдельную книгу. Она так и называется – «Одесские дачи». В Интернете легко можно найти запись, где автор читает этот живой теплый рассказ.

Слушая его голос под любимую джазовую композицию, можно ощутить запахи, услышать звуки, почувствовать тепло августовского одесского вечера, увидеть звездное небо над головой и проникнуться настроением удивительного города у Черного моря. Смех и грусть, слезы и любовь…

Завершает книгу Михаил Михайлович словами: «Все, полная тишина, я хочу сказать… Все, все, полная тишина, я прошу, полная тишина… Вот мы все здесь собрались… В нашем городе… Возле нашего моря… Я хочу, чтоб мы жили вечно. Чтоб мы никогда не расставались. Чтобы погода была – как на душе, чтоб на душе – как этот вечер… И пусть мы живем… А он все это опишет. И пусть то, что он опишет, понравится всем и будет жить вечно… Пусть это всегда будет с нами… как наша жизнь, как наша любовь…»

Перевернута предпоследняя страница одной из самых лиричных книг писателя и с нескрываемой грустью он заканчивает списком из личной записной книжечки, с именами и телефонами тех, с кем встречался, дружил. Одесситов, разъехавшихся по миру, и многих, уехавших туда, откуда уже не возвращаются.

«А они все уехали, – напишет он на последней странице.
Аркадий Бортник 25 45 68
Буркун Илья 44 61 64
Вайнштейн Борис 22 09 62
Волк Гаррик 25 38 92
Вика Шапошникова 25 75 05
Лурье Додик 26 41 22
Мусюк Изя 65 55 35
Макаревский Давид 24 76 87
Макаров Юра 65 30 19
Мордань Тамара 22 20 42
Призант Мила 2364 98
И остальные, чьи телефоны мне неизвестны…»

М. Жванецкий

А пока вернемся в 90-е. В стране самое часто употребляемое слово – перестройка. Мир изменился в одночасье. В каком воспаленном мозгу могла возникнуть мысль, что больше не будет генеральных секретарей, появится президент страны, избранный народом, и один из первых указов – запрет всеми ненавистной компартии. Казалось, решается будущее страны. Думали – все изменится. Какие мы возлагали надежды на будущее…

Аркадий Бортник и Михаил Жванецкий

Прощаясь с Михаилом Михайловичем, журналист, общественный деятель, правозащитник Алла Гербер вспоминала об этом времени:

«Помню, когда мы боролись за Ельцина, я была одной из тех, кто организовал митинг в его поддержку. Я старалась пригласить тех, кому поверят, кого послушают и что-то поймут. Пригласила Жванецкого, и он пришел, хотя чувствовал себя плохо, но ни секунды не сомневался. Пришел и сказал замечательно. После него собирался выступить Ельцин. Очень переживал, был немного подшофе. Его выступление было явно неуместным. Я понимала, как ему было нелегко. Он честно пытался уйти из своего времени, родить в себе другого человека. После Жванецкого он прошел к микрофону. И вдруг Миша подходит к Ельцину и тихо говорит: «Борис Николаевич, мне кажется, вам не надо выступать сейчас». И он послушался Жванецкого. Миша чуть не расплакался, он верил этому человеку и понимал, какую трагедию переживает Ельцин. К Мише прислушивались все. Он нам был нужен.

Всего год назад прошел его юбилей. Зал полон, такое впечатление, что он переполнен Москвой. Двери в фойе были открыты, и в них стоял народ.

Он и страна, человек, который принадлежит всем: олигарху и президенту, крестьянам и рабочим. Он был мудр, нам этого не хватает. Великолепный ребе, великий ученый еврей. Когда я его видела, я всегда волновалась. Его мысль билась, как сердце, это было остро, смешно, зло… Он сострадал нашей стране, нашему отечеству, неразумному, не сумевшему стать мудрее».

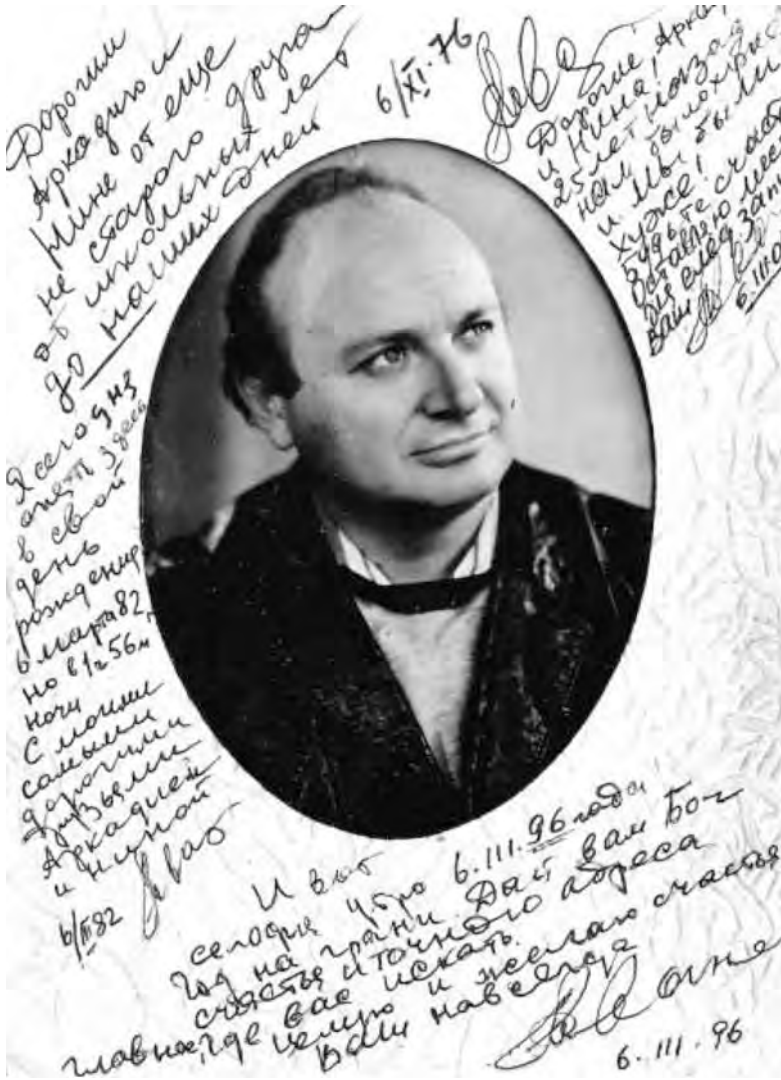
В 1992 г. сын Аркадия, Борис Бортник принимает решение об отъезде. Страшное потрясение для родителей. Они в отчаянии, единственный сын с женой и любимыми внуками покидают Одессу. Михаил Жванецкий видел, как страдают близкие друзья. Чем можно им помочь?.. В один из дней в квартире Бортника раздался звонок. Аркадий открывает дверь, на пороге курьер, протягивает конверт – распишитесь. Немая сцена. С удивлением он открывает конверт. В нем два авиабилета в Израиль и обратно, на имя Аркадия и его супруги Нины. Михаил Михайлович подарил друзьям путешествие, чтобы смягчить разлуку с сыном.

А через четыре года Аркадий с Ниной уже сами летят в Австралию. В Мельбурне их встречает Борис с семьей. Жванецкий напишет тогда: «Не тем путем идешь, Аркадий. Ты всегда делаешь, что говоришь, но никогда не говоришь, что делаешь. Он был хорош, хотя искал чего-то большего. И он уехал, и там преуспел».

А Аркадий, поселившись в Мельбурне, получил квартиру от государства. Гостиная, две спальни, оборудованная кухня, комната для стирки со встроенными шкафами. В одной из спален Аркадий оборудовал небольшую мастерскую и продолжал заниматься любимым делом – ремонтом бытовой техники.

В гостиной как напоминание о друге висит уникальная фотография, подаренная Жванецким в свой день рождения в далеком 1976 году. На ней история их дружбы в автографах Михаила Жванецкого разных лет.

Первая запись: «Дорогим Аркадию и Нине от еще не старого друга от школьных лет до наших дней 6.11.1976 г.».


Дорогим Аркадию и Нине от еще не старого друга от школьных лет до наших дней
6/XI.76
Дорогие Арка
и Нина! 25 лет назад нам было хрис
и мы были хуже! Будьте счастл
Оставляю место
Ваш
6.III.00
Я сегодня опять здесь в свой день рождения 6 марта 82 но в 1 ч 56 м ночи
С моими самыми дорогими друзьями Аркадием и Ниной
6/III 82
И вот сегодня утро 6.III.96 года
год на грани. Дай вам Бог счастья и точного адреса
главное, где вас искать.
Целую и желаю счастья
Ваш навсегда
6.III.96

Следующая запись в этот же день, но уже в другой год: «Я опять здесь в свой день рождения, 6 марта, но в 1 ч. 56 мин. ночи. С моими самыми дорогими друзьями Аркадием и Ниной 06.03.1982 г.».

Третий автограф Михаил Жванецкий оставил 06.03.1996 г., перед их вылетом в Австралию. Специально прилетел в Одессу попрощаться с друзьями. «И вот сегодня утро 06.03.1996 года. Год на грани. Дай Вам бог счастья и точного адреса. Главное, где Вас искать. Целую и желаю счастья, Ваш навсегда. Михаил Жванецкий».

Наконец, последний исторический автограф уже в Австралии, в 2000 году: «Дорогие Аркадий и Нина! 25 лет назад нам было хуже, и мы были хуже! Будьте счастливы. Оставляю место для следующей записи. Ваш Михаил Жванецкий. 06.03.2000 года».

Больше они не встречались. Только частые телефонные разговоры и поздравления с днями рождения, переписка с появлением Интернета. Ежемесячная виртуальная встреча с другом в передаче «Дежурный по стране». Чем старше они становятся, тем чаще печальные сообщения о покинувших этот мир друзьях и близких. 20 марта 2016 года ушла из жизни супруга Аркадия Нина. 6 ноября 2020 года не стало Михаила Жванецкого.

В этот день ранним утром у меня раздался неожиданный звонок. Звонил Аркадий. Обычно утром он никогда не звонил, ходил на прогулку, созванивались вечерами. «Привет», – раздался его голос. И долгая пауза. Я почувствовал необъяснимую тревогу. И словно обухом по голове: «Умер Миша»… Дальше он говорить не мог. В трубке я слышал лишь приглушенное рыдание…

Кто же такой Аркадий Бортник, которого так любил Жванецкий, с кем длилась дружба 75 лет, кто занимал столь значимое место в его жизни, к чьим советам он прислушивался?

Оба – дети войны. «Пока не грохнула война. Дальше – поезд, Средняя Азия, школа, Победа, возвращение в Одессу», – напишет Михаил Жванецкий.

Семью Аркадия война застала в Одессе. Отец работал на заводе «Автозапчасть» начальником транспортного цеха. Хотя завод обслуживал советский автопром, но автомобилей было мало, и заводской транспорт представляли подводы, запряженные лошадьми.

С июля 1941 г. Одессу бомбили ежедневно. При первых звуках воздушной тревоги мама хватала шестилетнего Аркадия, брала в руку маленький фибровый чемоданчик, и они бежали в подвал. Кто-то со свечой, счастливчики обладали керосиновой лампой. В полумраке подземелья от неровного света на стенах появлялись уродливые тени.

И когда вздрагивала земля от разрывов бомб, колыхался огонь свечей, и тени, пляшущие в полумраке на стене, вызывали ужас не только у детей.

А линия фронта все ближе подходила к городу. Началась эвакуация предприятий. Администрация завода принимает решение подводами транспортного цеха вывозить членов семей. Мама с маленьким Аркадием с вечера погрузили в подводу вещи: с еще одной семьей они должны были покинуть город ранним утром. Судьба распорядилась иначе. Ночью у Аркадия поднялась температура, к утру 40º, начался бред. Врач, осмотрев ребенка, ставит страшный диагноз: «Дифтерит. Ни о каком отъезде не может быть и речи. Если сейчас уедете, потеряете сына». Пришлось остаться.

Позже они узнают, что немцы высадили десант, перерезав дорогу отступающим. Большинство заводчан, покинувших город, были убиты. Такая же участь могла постичь и Аркадия с беременной мамой. Его болезнь спасла им жизнь. К тому времени Одесса с суши полностью окружена. Единственной дорогой жизни для одесситов оставалось море. Демонтированное заводское оборудование грузили на судно. Вместе с заводом эвакуировали и оставшихся членов семьей. Дед, отец мамы, уезжать категорически отказался, заявив: «Я воевал в Первой мировой, видел немцев – это интеллигентные люди». Они с бабушкой погибли в гетто на Слободке.

Уходили из Одессы в дождливую промозглую осеннюю ночь. Тревожные гудки парохода. Корабль переполнен, люди разместились в кают-компании, в коридорах нижних палуб. Уходили с погашенными огнями. И только корабельные прожектора освещали фарватер. Лучи с трудом пробивались сквозь плотный туман, освещая черную воду залива. Вдоль бортов стояли матросы с длинными шестами в руках. Концы шестов обмотаны ветошью.

Матросы всматривались в темноту, пытаясь разглядеть плавающие в воде морские мины. И, обнаружив их, шестами осторожно отводили от бортов корабля. Неосторожное движение – и мог произойти взрыв.

Покинув Одессу, через сутки пароход причалил в порту Мариуполя. Пассажирских вагонов не хватало, комплектовали товарные составы, оборудовали нарами. В порту царил хаос. Отец был занят погрузкой оборудования, Аркадий оставался с мамой. Оставив его возле вагона в ожидании посадки, мама решила сбегать за кипятком. Посадка началась в ее отсутствие. Когда вернулась, ни на перроне, ни в вагоне Аркадия не было. На последнем месяце беременности женщина металась по причалам, по путям, разыскивая сына. Можно себе представить, какой ужас она пережила. Тем временем объявили об отправлении поезда. Отец и сотрудники завода силой заставили мать Аркадия сесть в уходящий состав.

В дороге от волнения у нее начались схватки. Ее высадили из поезда на одной из станций, отправили в местную больницу. Отцу Аркадия разрешили ее сопровождать. Роды были сложными. Выписали только через месяц.

А маленький перепуганный Аркадий долго бродил по вокзалу, искал маму. Кто-то из взрослых, увидев плачущего мальчика, отвел его в вокзальное отделение милиции. В это же время отправляли на Восток один из детских домов. С ним и уехал Аркадий. Семье повезло. Завод «Автозапчасть» направили в г. Чкалов. Туда же прибыл и детский дом, где находился Аркадий. Родители после рождения второго сына добрались до Чкалова. Рассылали запросы в поисках старшего сына и уже потеряли всякую надежду, когда пришел ответ. Оказалось, Аркадий находился в нескольких кварталах от места их жительства.

Отец весь день был занят на заводе. Когда закончили наладку, его призвали на фронт. Заканчивался 1941 год. Мама осталась с двумя детьми. Им выделили маленькую комнатку без удобств. Печка-буржуйка, дымоход выходил в форточку. Туалет во дворе, воду приносили из колонки. Главным водоносом был маленький Аркадий. Особенно тяжело было зимой, когда и колонка, и все вокруг покрывалось льдом. Он долго не мог приспособиться к коромыслу, на котором носил два ведра.

Закончился декретный отпуск у мамы, и она вынуждена была выйти на работу. Она была единственная кормилица в семье, получающая хлебные карточки. Аркадий пошел в первый класс. Утром в школу, возвращался к двум часам. Мама работала во вторую смену. На его попечении оставался маленький Миша. Школьные военные годы запомнились холодом и голодом – есть хотелось всегда. Мама давала Аркадию в школу бутылочку. В ней почти на донышке было немного молока, которое она получала как кормящая мать, и маленький кусочек хлеба. Молоко и завернутый в бумажку хлеб он носил в авоське. (Авоська – сумка тех времен, сплетенная из хлопчатобумажных нитей. Складывалась в небольшой комок. Обычно ее носили в кармане – авось пригодится. Отсюда и название.) В школе дедовщина. В первый же день старшие школьники отобрали его скудный обед, да еще дали подзатыльник. Было очень обидно. Выросший на улицах одесской Молдаванки, он рано научился давать сдачи. На следующий день, когда к нему вновь подошел хулиган, Аркадий, размахнувшись авоськой с бутылкой, ударил обидчика по голове. Вызвали мать, хотели исключить из школы, но больше его не обижали. Четвертый класс он окончил с отличием и получил похвальную грамоту.

Одессу освободили в апреле 1944 года. В родной город они вернулись летом 1945-го. Квартира Бортников была занята. Освобождать никто не собирался. Только в 1947 году, когда отец пришел с войны, после судебного разбирательства квартиру вернули законным хозяевам. А пока они поселились в квартире погибших дедушки и бабушки. Им повезло, так как прежние жильцы – полицаи, занявшие их квартиру, бежали вместе с румынами.

В сентябре 1945-го Аркадий пошел в пятый класс. Детей мало, в их классе всего десять учеников. Администрация города принимает решение объединить несколько школ. Класс Аркадия переводят в школу № 118. Ученики не очень рады. Школа рядом с домом, маленький класс, привыкли друг к другу. Всем классом ходили с жалобой в районо – ничего не помогло. Мог ли Аркадий предположить, что перевод в новую школу окажется судьбоносным, изменившим всю его жизнь? Именно тогда состоялась встреча Аркадия Бортника с будущим писателем Михаилом Жванецким. Это произошло 6 ноября 1945 года.

Аркадий Райкин и завлит театра Михаил Жванецкий

Как и все советские дети, они были пионерами, комсомольцами. Аркадий избирался старостой, комсоргом. Три человека в классе шли на золотую медаль. Жванецкий, Бортник, Кравцов. Увы, шли, шли, но дошли не все. Медаль получил только Кравцов. С горестным юмором об этом напишет Михаил Жванецкий: «Я вырос в смертельной борьбе за существование. Откуда этот юмор? Где его почва? Везде – от окончания школы до поступления в институт. Учителя предупреждали: парень идет на медаль. Шел, шел, шел, потом: нет, он еврей, – и где-то в десятом классе я перестал идти на медаль. Ни черта не получилось – еврей! Потом опять еврей, и снова еврей – все время я натыкался на это лбом, у меня не было того – самого главного… Я всегда говорил:

«А вы могли бы в этой стране прожить евреем?». Когда вижу антисемита, мне хочется спросить: «Ты что, завидуешь?». Я же не вылезал из конкурентной борьбы. То подожгут, то не дадут, то обидят, то вообще задавят. Одно, другое, третье – и все время ты сглатываешь, сглатываешь… Сейчас я закончу формулировкой: неважно, кем ты был, – важно, кем стал».

И дальше продолжает: «Что движет евреем – чувство опасности. Что защищает еврея – чувство юмора. Еврей – это болезнь или образ жизни? Еврей – это подробность. Это бензин страны. Свобода расширила понятие «еврей», сюда входят люди разных национальностей, мало-мальски интеллигентные и талантливые».

Михаил Жванецкий в своем доме принимает московского раввина

Перед уходом Михаил Жванецкий, вспоминая свою жизнь, подводит итог: «Вся штука в том, что ты стремишься в институт, в консерваторию, в скрипку, в науку, в спорт, лезешь наверх, напрягая все силы, чтобы доказать, что ты не еврей. И наступает момент, когда ты становишься не евреем, а Ойстрахом, Гилельсом, Плисецкой или Пеле. Но всегда будут люди выше или наравне с тобой, и для них ты опять еврей. И что тебе тут посоветовать, кроме как принять, наконец, это звание и умереть среди своих». И он принял это звание и стал *Михаилом Жванецким*, и умер среди своих…

Но вернемся к Аркадию. В его жизни были два увлечения. Первое – с шестилетнего возраста, когда родители подарили ему детский барабан. С тех пор он с ним уже не расставался. Помните реплику Бориса Друккера: «Он кошмарный ударник по своим родителям и по моей голове»?

В седьмом классе два друга, Жванецкий и Бортник, увлеклись гимнастикой. Записались в секцию спортзала «Труд». Добились результата, сдали на второй разряд. На городских соревнованиях представляли свою школу.

Но главным увлечением всей жизни Аркадия стала радиотехника. Он посещает кружок Станции юных техников. Вначале примитивные радиоприемники, радиоуправляемые самолеты. Затем более сложное. А тем временем звучит последний звонок. Медали не получил, но уже мог отремонтировать любой радиоприемник. Заработал первые деньги на поход с подругой в кино, в кафе-мороженое.

И свой выбор Аркадий уже сделал: будет поступать в Одесский институт связи. Первый экзамен – русская литература. Уроки легендарного Друккера не пропали зря. «Отлично» по сочинению, «отлично» по литературе. Следующий экзамен – письменная математика. Абитуриенты сидели по одному за столом. Все шло хорошо, Аркадий легко справился с задачей и двумя примерами, уже собирался сдать экзаменационный лист, когда сосед, сидящий за ним, тронул его за плечо. Он обернулся: «В котором часу мы заканчиваем?» – спросил сосед. Аркадий не успел ответить, когда подошел преподаватель, не говоря ни слова, написал на его экзаменационном листе: «Разговаривал на экзамене». На следующий день вывешены результаты испытаний. Против своей фамилии он увидит – три. Когда Аркадий потребовал, чтобы ему показали экзаменационный лист, ему объяснили – вы допустили серьезное нарушение, разговаривали на экзамене, результат понизили на два балла.

Оставалось ждать следующего года и повторить попытку. А пока решил устроиться на работу. Вскоре стал работать грузчиком на полставки на инструментальном заводе. В свободное время продолжал ремонтировать радиотехнику. Об этом узнают сослуживцы. Появляется дополнительный заработок.

Проходит год, Аркадий подает документы в Одесский политехнический институт. Готовился очень тщательно, ошибиться было нельзя. На вступительных экзаменах обычно предлагали сочинения на три темы. Две по школьной программе литературы и одна свободная. Аркадий готовит сочинение на вольную тему. Вызубрил наизусть, память позволяла это сделать. Первый экзамен – сочинение, он уверен в успехе. На следующий день, придя в институт, подходит к вывешенным результатам. Шок: Бортник – тройка! Обращается в приемную комиссию, просит показать сочинение. Преподаватель, принимавший экзамен, заявляет: «Так написать десятиклассник не может, я убеждена, что вы его списали». С трудом сдерживая себя, он говорит: «Я готов в вашем присутствии написать сочинение, прямо сейчас». – «Не устраивайте цирк, здесь не глупее вас. Я принимаю экзамены не первый год, десятиклассник так написать сочинение не может».

В справочнике поступающих Аркадий прочел о том, что продолжается набор документов в Киевский политехнический институт. Через несколько дней он уже в Киеве. Самое удивительное, его зачисляют на заочное отделение по результатам только что сданных в Одессе экзаменов. Так он становится студентом.

Но, как пел Утесов: «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Первая настоящая любовь и на всю жизнь. Ее зовут Нина. Свадьба, рождение сына, нужно содержать семью. К этому времени он уже полноценный работник. В центре Одессы открывается мастерская предприятия «Рембыттехника», нужны радиотехники.

Месячное испытание – и очень быстро Аркадий становится одним из лучших специалистов в городе. Все стараются попасть к мастеру Бортнику. О таких в народе с уважением говорили: мастер золотые руки.

Первым освоил обслуживание слуховых аппаратов. Стал единственным специалистом по всей Одесской области и Молдавии. Пробовали и другие, но все шли к Бортнику.

В стране начинают выпуск фотовспышек. Единственный таллинский завод-изготовитель заключил с Бортником договор на гарантийное обслуживание. В 1976 году завод в Таллине объявляет всесоюзный конкурс среди профессионалов –

В мастерской

мастеров по ремонту их изделий. В конкурсе участвовало более трех с половиной тысяч человек. По его итогам первое место решено было не присуждать, второе место и денежную премию получил Бортник.

Когда-то писатель Акунин сказал, что каждый человек в чем-то талантлив. Но большинство, прожив свою жизнь, не подозревают, в чем их талант. И счастлив тот, кто сумел открыть свой талант. Тогда профессия не только принесет радость, но и обеспечит достойное существование.

К сожалению, таких счастливчиков не очень много. Но к ним смело можно отнести Аркадия Бортника.

Михаил Жванецкий любил приходить к Аркадию на работу. Мастера сидели в большом зале, каждый за своим рабочим столом. И только у друга был небольшой кабинет. Жванецкий садился у окна, наблюдал за тем, что делает Аркадий, внимательно

слушал его телефонные беседы с клиентами и постоянно что-то записывал в свою записную книжку. Так под пером писателя родился портрет обаятельной фигуры – человека, обо всем имеющего свои суждения, не способного никому ответить молчанием, отказом. Этакий энциклопедист нашей жизни, немного смешной своей добротой и домашней отвагой. Миниатюру, посвященную своему другу, Жванецкий назвал «Специалист».

Сам Жванецкий рассказывал, что диалог с одними ответами рождался в кабинете его друга, в Одессе на улице Чижикова.

В этой миниатюре проявилась еще одна грань таланта большого писателя – когда в своем остроумии он легко выходит за пределы реальности, выступая в роли фантаста, рисуя образ не только первоклассного специалиста, но и человека с доброй широкой душой… Прочтите монолог, и вы поймете, с какой любовью, с каким уважением к другу он написан.

Специалист

– Бебеля, двадцать один, квартира три, – нет звука?.. А изображение?.. Нормальное… Хорошо… Я буду у вас с пяти до семи… Пожалуйста…

– Да, да… Слушаю… Плохо шьет?.. Строчку не дает?.. Немецкая… Свердлова, восемь, квартира сорок семь… Буду до пяти… Пожалуйста…

– Алло… да, я… Почему болит?.. А вы согревающий компресс на ночь… Нет, мой дорогой. Кто кого лечит?.. Я же вам оставил рецепт… Как – потеряли?! И что, температура поднялась?.. Тридцать восемь и три… Ничего без меня не принимайте. Только горчичники к ногам. Я буду у вас между шестью и восемью… Лежите спокойно.

– Да… Снова замолчал… А вы ему телеграмму давали?.. Я же вам продиктовал текст… Ну, пишите: «Надоедать не буду. Но хочу оградить тебя от неприятностей. Жду на вокзале у газетного киоска в двадцать часов. Наташа». Прибежит. Мужчины трусливы. Если позвонит, не разговаривайте. Все при встрече. Потом мне расскажете… Не за что…

– Алло… Это вы… Я вам неправильно предсказал. Вместо большой дороги в казенный дом следует читать: «Задуманное вами исполнится вскоре. Вас ожидает большая радость и спокойная жизнь, что вам будет в награду за пережитое. Насчет личных интересов можете не сомневаться. Они окончатся удачно, и в жизни вашей удачи будут продолжаться вплоть до преклонных лет…» Записали?.. Если что-нибудь будет неправильно, позвоните, уточним… Я думаю, все будет хорошо.

– Да… Алло… С этим?.. Попробуйте сметану с пивом за четыре часа до. Полное отключение радио и телевидения. За три часа – чай с малиной и коньяком. Мюзик-холл с коньяком в антракте. Минут за двадцать – крепкий кофе с лимоном. Проветрите комнату и позвоните мне. Если не поможет, будем действовать током… Шестьсот вольт. Решающее средство… Всего доброго… В любое время…

– Замдиректора камвольного комбината?.. Минуточку!.. 298-18-23, с восьми до семнадцати… Пожалуйста.

– Да, да… В «Смене» сегодня «Люди и розы», сеансы в восемь, десять, двенадцать и так далее через каждые два часа… Пожалуйста…

– А-а! Арнольд Степанович!.. Откладывается у вас ревизия… Она нагрянет внезапно, восемнадцатого января в десять утра… Будьте здоровы. Звоните…

– Да… Слушаю вас, товарищ… Нет, мой дорогой. Так перед людьми не выступают… А мы вот взгреем вас на коллегии. Тогда вы возьметесь за дело… Что значит – записочки посылают? А вы отвечайте… Ну, мой милый, вы за это зарплату получаете. Всё!

– Шестнадцатый. Я – Таганрог. Посадку разрешаю… Ветер тринадцать боковой…

– Алло… Да… Пылесос «Ракета»? Бьет током?.. Провод не отсырел?.. Попробуйте просушить… Канатная, четырнадцать, квартира три… Буду у вас до трех…

– Натирку полов сейчас некому… Звоните в пятницу.

– Да-да… Не подошла?.. Ей тридцать пять… Вам пятьдесят пять, слава богу… Не читает газет… Что вы от нее хотите?.. Она не знает, где Лаос?.. Так объясните ей. Постойте… Вы просили… Вот у меня записано… Не старше тридцати пяти. Блондинку.

Не больше одного, не старше десяти. С высшим. С удобствами. Не выше третьего этажа. Район Парка культуры… Ничего насчет газет… Ах, вы решили добавить… Надо заранее… Записывайте. Лесной проспект, восемнадцать, корпус три, квартира четырнадцать… Библиотекарша. Вся периодика – через нее.

– Что у вас?.. Ого!.. Завтра вводите новую камеру Вильсона… В Серпухове?.. Посчитайте заново эффект Броуди – Гладкова. Подставьте лямбда 2,8 вместо 3,1… Да. Должно сойтись… Держите меня в курсе…

– Нет, мальчик, амнистии в этом году не будет.

– У вас что?.. Пьеса… А вы попробуйте поменять концовку. Не грустно лег, а радостно вскочил… И не на кладбище, а в санатории… И позвоните мне… А сейчас, извините, у меня обед…

Он развернул бумажку. Прижал пальцем котлетку к кусочку черного хлеба и начал есть, глядя в пространство.

В комнатке, где трудился Аркадий, висел прейскурант. Там перечислялись услуги, которые он оказывал, и их стоимость. Однажды Жванецкий, взяв карандаш, написал на этом прейскуранте: «А сколько стоит – *поговорить*?».

Еще один смешной эпизод. В осенне-зимнее время друг приходил в верхней одежде. В помещении было тепло, одежду снимал. В комнате Аркадия не было вешалки, и куртку он вешал на спинку стула. Несколько раз он просил забить гвоздь, на который можно было бы повесить куртку. Аркадий все время забывал. Через некоторое время в его книге жалоб и предложений Михаил Михайлович карандашом написал: «Несмотря на обращение к мастеру, гвоздь был вбит не был». После этого гвоздь был вбит…

Жванецкий, в 2003 году вернувшись из Австралии, где он встретился с Аркадием, напишет: «Выражаю личное мнение о будущем, имея в виду что-то вроде конца XX века, начала XXI века. Этим жарким летом мне показалось: дружба будет торжествовать повсеместно. Под этим будет пониматься что-то иное, чем сейчас, но в ней будут искать опору и утешение». До последних дней был поддержкой своему другу и находил опору в любознательном мудром доброжелательном товарище.

Обычно свои дни рождения Михаил Михайлович проводил в компании друга. Когда жил в Одессе – это было просто. Поселившись в Москве, Жванецкий либо прилетал на эти дни в Одессу, либо приглашал Аркадия с супругой в Москву, оплачивая перелет и гостиницу.

У всех великих было свое время – время Пушкина, Достоевского, Гоголя, Чехова, Бабеля. А нам выпало счастье жить в довольно жестокое время, когда творчество Жванецкого не признавали власть имущие, не публиковали его книг, не допускали на телевидение, запрещали выступать. И его, чьи произведения, записанные на магнитофонной пленке, знала вся страна, изгоняли с родины – Одессы, из своей страны – Украины.

Юрий Михайлик, сравнивая творчество Иосифа Бродского и Михаила Жванецкого, подчеркнул их особое историческое значение в русской литературе: «Такое сочетание имен, возможно, удивило бы их обладателей. Однако нам представляется, что существуют некоторые плоскости, где Иосиф Бродский и Михаил Жванецкий, на наш взгляд, соединимы определенно и естественно. Для начала ограничимся самоочевидным: история русской литературы XX века, богатая блистательными дарованиями, не сможет обойтись и без этих двух имен».

Мельбурн

Ирина Озёрная

Цирк навсегда

Фрагмент из книги «Юрий Олеша»*

Из «Метаморфоз» Овидия, прочитанных на латинском Ю. К. в третьем классе, он узнал, что по античному преданию циркуль (от лат. *circulum*) был изобретен гениальным учеником и племянником первого воздухоплавателя Дедала – двенадцатилетним Талосом. А с помощью циркуля была вычерчена совершеннейшая из геометрических фигур, символизирующая бесконечность, – круг, на латинском – *circus*. И именно такое название получило древнеримское архитектурное сооружение круглой формы с песчаной ареной посредине, предназначенное для состязаний колесниц, разнообразных спортивных соревнований, боев гладиаторов и прочих народных зрелищ. После распада Римской империи цирки долго не приживались в Европе и начали укореняться там – уже современного типа с эксцентричными представлениями профессионалов – только с конца XVIII века, а во второй половине XIX появились в России. И в 1894 году в Одессе, пышно отмечавшей свое столетие, торжественно открылся необычайной архитектуры стационарный цирк. Здание в форме двенадцатиугольника, с большим двойным железным куполом раскинулось между Коблевской и Садовой, в двух шагах от Ришельевской гимназии. И, начиная с 1909 года, Ю. К. в течение девяти лет учебы будет неизменно находиться рядом с главным праздником своего детства и юности. «Цирк в детстве произвел на меня колоссальное впечатление, – рассказывал он. – Мне иногда хочется сказать, что желтая арена цирка это и есть дно моей жизни. Именно так – дно

* Книга «Юрий Олеша» готовится для серии «ЖЗЛ» в издательстве «Молодая гвардия».

жизни, потому что, глядя в прошлое, в глубину, я наиболее отчетливо вижу этот желтый круг с рассыпавшимися по нему фигурками людей и животных в алом бархате, в блестках, в перьях и наиболее отчетливо слышу стреляющий звук бича, о котором мне приятно знать, что он называется шамбарьер, а также крик клоуна: «Здравствуй, Макс!» – и ответ на него: «Здравствуй, Август!..»**

Билет в цирк для гимназистов стоил тогда полтинник. Это были для мальчика огромные деньги, а цирк, мимо афиш которого Ю. К. проходил дважды в день, всякий раз зазывно окликал его, искушал и тянул, тянул в свой волшебный круг. Мальчик готов был проводить в нем все свое свободное время, проблема заключалась в деньгах на билет. И маленький Ю. К., жертвуя школьными завтраками, откладывал предназначенные для них монетки на билеты в цирк.

«На завтрак мне давали пять копеек. Это мало, но не так уж мало, поскольку на эту сумму можно было купить, скажем, бублик, яблоко и стакан чаю. Или котлету, на которую уходила, впрочем, вся сумма <…>

Разумеется, это было мало – пять копеек. Мало потому, что начинало хотеться есть к первой перемене <…>

И вот чаще всего я не тратил своих пяти копеек на завтрак. Я их откладывал, чтобы к концу недели иметь тридцать копеек. К этим тридцати копейкам еще с большим трудом добывались двадцать, и в субботу я шел в цирк, купив билет, который для гимназистов стоил пятьдесят копеек. Как добывались недостающие двадцать – это тема для другого рассказа. Замечу только, что у меня была бабушка, у которой было много серебряной монеты и которая меня любила. Однажды на именины она даже подарила мне золотые пять рублей, маленькое солнце которых, выглядывавшее из-за коричневых складок кошелька, я тоже никогда не забуду, как не забуду и бабушки, лежавшей в гробу, как в легкой лодке».

Цирк был огромной отрадой маленького Ю. К., лекарством от неурядиц и страхов, праздничным миром отваги, игры, света и веселья, миром смельчаков-виртуозов, каких-то очень близких ему невзрослых взрослых. Здесь не было ни поучительства,

** Эта и другие цитаты Ю.К. Олеши, кроме поясненных в сносках или авторском тексте, приводятся по его «Книге прощания» и «Ни дня без строчки».

Олеша с Вандой. Начало 1900-х

ни занудства, ни какой другой взрослой скуки, не было ни зимы, ни осени, а было вечное лето. «Жизнь – это вечное лето», – надеялся он в детстве и всегда находил его в цирке с его не меркнувшим солнцем софитов и счастливым ликованием всегдашнего детства. Цирк был его свободой и счастьем!

«Есть день, – вспоминал он, – который уже стоит на всех улицах, в переулках, даже в парадных, когда я выхожу из дому, – белый, грязноватый день в ноябре, исчерченный ветками, но чем-то приятный. Не тем ли, что на афише нарисован клоун и что он – суббота, оканчивающаяся цирком?»

И часто по дороге в гимназию таким вот ранним и тусклым субботним утром у мальчика возникали фантазии, приобщавшие его к миру, совершенно противоположному тому тоскливому обывательскому мирку, в котором ему приходилось жить с воскресенья по пятницу. Двери в цирк были для него той самой незабываемой «зеленой калиткой» из рассказа Уэллса. «У него есть рассказ («Зеленая калитка»), – писал Ю. К. в конце 1950-х, – о человеке, который однажды, в детстве, открыв некую встретившуюся ему по пути зеленую калитку, очутился в неизъяснимо прекрасном саду, где

на цветущей лужайке играла мячом пантера… Хотя произошло это в далеком детстве, на заре жизни, но воспоминание о чудесном саде настолько завладело душой героя, что вот идут годы, а он все ищет зеленую калитку. Теперь он уже зрелый, достигший высокого положения человек <…> но лучшее, к чему постоянно возвращается его душа, – это мечта отыскать калитку».

Итак, в очередной холодный осенний или зимний субботний вечер – здание цирка чаще всего виделось в воспоминаниях Ю. К. сквозь падающий снег – дверь (его «зеленая калитка») в тот фантастический мир распахивалась перед ним, и он гордо предъявлял свой билет.

«Я приобрел этот билет путем непосредственной затраты сил, физических и душевных, – рассказывал он, – ждал в очереди, верил, что дождусь, вдруг терял веру… Я честно добился его, этого листка тонкой бумаги с лиловым штемпелем!

Вот он у меня в руках. Да, тонкая, почти просвечивающая желтоватая бумага, да, лиловый штемпель… Но это право попасть в этот плюшевый рай, в этот рай мрамора, ступеней, золота, матовых ламп, арок, коридорчиков, эха, хохота, блестящих глаз, запаха духов, стука каблуков – мало ли чего!»

И никто не знал, что восхищение цирком давно уже переплелось у мальчика с его мечтой о славе. И так как в те отроческие годы мечта о писательском будущем еще не проявилась в нем, он решил стать знаменитым цирковым актером, причем именно прыгуном.

«…Уметь делать сальто-мортале было предметом моих мечтаний, – вспоминал писатель. – Я пытался научиться этому в гимнастическом зале гимназии <…> Однако ничего не получилось, поскольку отсутствовали соответствующие приспособления <…> Я и не знал, что требуются приспособления, относя этот фантастический прыжок к каким-то таинственным возможностям, заключенным в некоторых людях. Я им завидовал, этим людям. Я их видел в цирке – мальчиков, девочек в белых башмаках, толпу детей, выбегавшую из малиновых ворот кулис на арену и чуть не с хохотом проделывавших передо мной то, что я не мог бы проделать даже в самом необыкновенном сновидении.

Я, между прочим, и теперь иногда сообщаю знакомым, что в детстве умел делать сальто-мортале. Мне верят, и я, вообще не любящий врать, рассказываю даже подробности.

Может быть, эта мечта уметь делать сальто-мортале и была во мне первым движением именно художника, первым проявлением того, что мое внимание направлено в сторону вымысла, в сторону создания нового, необычного, в сторону яркости, красоты».

Он уже чувствовал себя внутри этого блещущего великолепием манежного братства, благодаря которому с малолетства сумел постичь великую силу искусства, способную творить чудеса. Уже тогда он интуитивно ощутил свою причастность к нему, свой талант и артистичность во всем. И впервые это ощущение появилось у него именно в цирке. «Кому бы ни принадлежали ноги в трико, кто бы ни был обсыпан по бархату золотыми блестками, на чьем лице ни играла бы застывшая малиновая улыбка – все это говорило о том, что в мире есть какая-то великая тайна, которую я скоро постигну, ради которой живу», – вспоминал он.

Это отождествление себя с виртуозной актерской братией придавало ему уверенность и силу. Он переставал видеть себя некрасивым, жалким малокровным заморышем. Цирк одаривал его, как Гея-Земля Антея, огромной мощью и энергией. И тогда его, маленького гимназиста, охватывала великая гордость:

«Стоит вспомнить, как горды мы в юности. Эта гордость основана на сознании своей красоты и силы – если вы даже и не красивы, и не сильны! Да, да, красоты и силы, так как молодость по существу красива и сильна. Может быть, потому именно, что предчувствуешь все же, что кто-то прильнет к тебе – только к тебе, отдастся тебе, полюбит тебя!

Пожалуй, гордость – одно из главных переживаний юности… Я помню себя очень гордым – в серой шинели гимназиста, у которой черный каракулевый воротник, с лицом, которое пышет, с бровями, мягкость которых я сам ощущаю, – поистине соболиные брови мальчика!»

С 4 декабря 1912 года в Одессе стала выходить ежедневная детская газета «Гудок», «воспитательно-нравственная, духовно и художественно-литературная». За четвероклассником, круглым отличником тринадцатилетним Ю. К. к этому времени уже прочно закрепилась слава вундеркинда. Потому его охватила ревность, когда он развернул первый номер детской газеты и прочитал о другом вундеркинде, да еще ставшем главной сенсацией текущего циркового сезона – о семилетнем «чу-

до-мальчике» Володе Зубрицком: «Я сам был, черт возьми, чудо-мальчик <…> и существование какого-то чудо-мальчика вывело меня из равновесия», – признавался он. И это запомнившееся на всю жизнь ощущение яркой картинкой отразилось в «Зависти», где маленького гимназиста Ивана Бабичева, привыкшего во всем считаться первым, обожгла подобная вспышка ревности по поводу прекрасной девочки в розовом платье, верховодившей на елочном балу. Да, Иван, подобно маленькому Ю. К., «тоже привык к восторгам <…> тоже был избалован поклонением».

Рисунок Ю.К. Олеши «Канат». 1950-е

Зная, что в цирк Ю. К. тогда ходил по субботам, можно предположить: номер Володи Зубрицкого он впервые увидел 8 декабря. Кстати, газеты сообщают, что билеты для гимназистов в этом сезоне стоили уже не пятьдесят, а семьдесят пять копеек, а значит, Ю. К. приходилось прикладывать значительно больше усилий для раздобывания денег. Правда, в это время мальчик уже начал подрабатывать репетиторством, с чем будут связаны все его последующие гимназические годы.

Очевидно, выступление Володи Зубрицкого произвело на Ю. К. сильное впечатление, пронесенное через всю жизнь. Писатель намеревался когда-нибудь превратить его в рассказ, который, можно считать, начал в конце 1950-х, разминая, по своему обыкновению, тему в дневнике:

«Рассказ, который я обязан написать и который собираюсь написать уже много лет, следует начать с описания шедшего в тот вечер снега.

Это был особый снег, особый его сорт – я назвал бы его филигранным, тот сорт, когда образуются снежинки в виде крохотных

изделий, совершенно, разумеется, бесполезных, тем не менее абсолютно точных – неких концентрических восьмиугольников, неких разносторонних крестов с вылетающими из углов лучами, неких звезд с поперечными перекладинами на каждом луче… Эти тельца, зацепленные вами на ходу, не разрушаются, хоть и феноменально легки: наоборот, долго висят на реснице, поддевшись на нее, скажем, крайним восьмиугольником, – и вам приходится долго моргать, чтобы свалить эту мохнатую махину, да и то, упав, скажем, на рукав, она все еще сохраняет некоторую форму. В самом деле, уж как, казалось бы, легка, а, пролетая между фонарем и освещенной стеной, бросает тень, в которой вы находите сходство даже с облачком».

И после описания этой снежной эквилибристики, явившейся словно из какого-то диковинного предрождественского представления, Ю. К. вновь тринадцатилетним гимназистом подходил к цирку:

«Освещенная стена, афиша… Я прочитываю все те слова, которые сейчас, через десять минут, как только войдут в полную силу света висящие над ареной лампы, превратятся в клоунов, в мандолины, в маленьких собачек, в бубенчики, в лошадей, в узкие тела, летающие между трапециями. Вот только во что превратится Володя Зубрицкий, я не могу себе представить.

«Володя Зубрицкий, – написано на афише, – чудо-мальчик» <…>

Чудо-мальчик! Что это такое? Ладно, посмотрим».

И вот, изучив афишу, он входит в цирк, предварительно освободившись от облепивших его с фуражки до ботинок сотен тысяч снежинок, уже утративших свою волшебность, хрупкость и красоту. Вот он находит указанное в билете место, садится, оркестр громозвучным маршем гасит суету в рядах, и парадом-алле начинается представление. Наконец, инспектор манежа торжественно объявляет номер, являвшийся «гвоздем сезона»: «Чудо-мальчик!»

Ю. К. подробно описал выход Володи Зубрицкого:

«На арену вынесли большую грифельную доску – поменьше, чем в гимназии, однако в хорошем четырехугольнике и на подставке и с тряпкой в меловой пыли на нижнем ребре <…>

Чудо-мальчик пошел по песку арены, чуть утопая в нем атласными белыми башмаками. Почти рядом с ним, немного отставая, шел студент в черной тужурке, в пенсне, с усами и с бородой.

Чудо-мальчик сейчас был просто довольно полным мальчиком, блондином с челкой, и не только в белых атласных башмаках, но и в таком костюме – матросском, только в коротких штанах и с воротником не синим, как у матросов, а с розовым, тоже атласным, и розовым якорем на рукаве».

На этом, увы, воспоминание о сенсационном мальчике обрывается. Но в силу колоссального впечатления, произведенного им на Ю. К., Одессу и всю Россию, просто необходимо подробнее рассказать о нелегкой судьбе Володи Зубрицкого.

Во время его одесских гастролей все газеты, не скупясь на патетику, относили ребенка «к числу величайших феноменов последнего столетия». Так что не только детская газета «Гудок» ежедневно украшала себя первополосной рекламой с крупно набранным именем «чудо-мальчика» и через номер печатала материалы разных журналистов о нем. Но нам здесь интересна именно заметка, опубликованная в ней 7 декабря 1912 года (№ 4), так как вряд ли Ю. К., регулярно читавший «Гудок», мог пропустить этот текст (приводится в сокращении):

«Володя Зубрицкий

Первая гастроль феноменального ребенка привлекла вчера в цирк Малевича массу публики. На первых местах публики обращают на себя внимание профессора, врачи, педагоги и журналисты.

Володя дает всем генеральное «сражение», он, шутя, делает в уме вычисления на все 4 действия, производит умножение на сотни тысяч и удерживает в памяти сотни цифр, и производит над ними угодные комбинации. В хронологии истории (по учебнику Елпатьевского) Володя Зубрицкий показал поразительные познания. Когда кто-нибудь называл событие, ребенок моментально указывал дату и, наоборот, на дату называлось событие. Когда называли какую-нибудь дату, Зубрицкий немедленно называл день.

В качестве жюри на эстраду цирка были приглашены 6 человек из публики – врачи и педагоги. По предложению жюри студент, воспитатель Володи, предложил ему помножить 7983 на 379. Не прошло и 2-х минут, как Володя кричит: «Готово!» –

и объявляет результат 3 025 557. Публика и жюри приветствуют Володю шумными аплодисментами. Трех- и четырехзначные числа Володя решил на несколько секунд раньше, чем члены жюри успели сделать это на бумаге».

Любопытно, о чем именно собирался рассказать Ю. К., вспоминая гениального мальчика? Скорее всего, писателю не были известны перипетии его непростой судьбы. Почувствовал ли тринадцатилетний «чудо-мальчик» Ю. К., что его знаменитый конкурент, с виду совсем обычный, благополучный и послушный ребенок, на самом деле, как и он сам, затаенный бунтарь, восстававший против родительских устоев и воли? И уж точно не мог себе представить того, что Володя Зубрицкий всей душой ненавидел цирк. Они во многом были похожи, различаясь тем, что Ю. К. обожал цирк, наблюдая его с парадной стороны, а Володя Зубрицкий почти с пеленок постиг неприглядную изнанку манежного закулисья.

Итак, приоткроем завесу и расскажем о том, чего не мог знать Ю. К., глядя на циркового «чудо-мальчика» с праздничной стороны манежа.

Владимир Степанович Зубрицкий (1904-1998), будучи сыном акробата-вольтижера и танцовщицы на проволоке, с пятилетнего возраста выступал с отцом и братом в акробатическом номере. Этот «гуттаперчивый мальчик» умел делать по десять задних сальто подряд, стойку на одной руке, поднимать тяжелые гири и многое другое. Но однажды отец сорвался с трапеции, покалечился, и его артистическая карьера закончилась. Но к этому времени он уже знал, что Володя обладает феноменальной памятью и необычайно быстро считает в уме. С помощью нанятого репетитора семилетнему мальчику был создан уникальный номер, называвшийся попеременно то «Живая счетная машина», то «Чудеса памяти», то «Чудо-мальчик» и, начиная с 1912 года, покоривший многие города России. Известный московский невропатолог Г.И. Россолимо, исследовавший Володю Зубрицкого, отметил его «специфическую зрительную и слуховую память», встречавшуюся очень редко, и, тревожась о здоровье ребенка, настоятельно советовал прекратить его выступления. По слухам, даже граф Витте предлагал отцу Володи отдать сына в реальное училище, где он будет содержаться государством на полном пансионе. Но отец не пожелал терять доход от выступлений сына.

Уже взрослым человеком Владимир Зубрицкий вспоминал, как по ночам его мучили кошмары, и он, ненавидя цирк, бунтовал и несколько раз пытался убежать из дома. В начале Первой мировой войны отец был отправлен на фронт, выступления прекратились, и цирковая карьера мальчика навсегда закончилась. В 13 лет он записался добровольцем в красноармейский батальон, потом служил разведчиком на бронепоезде, был ранен в голову, вылечился и стал моряком. Участвовал в Великой Отечественной войне, имел боевые награды, дослужился до звания капитана 3-го ранга. Редкая память помогала ему на службе, но гениальность, отличавшая его в детстве, исчезла. Иногда он рассказывал сослуживцам о грандиозном успехе своих знаменитых цирковых выступлений. Ему не верили.*

Но цирковая изнанка все же приоткрылась однажды Ю. К. Он влюбился в девочку-акробатку. Та пронзительная история с мельчайшими подробностями архивировалась в его памяти.

«Это было трио: двое мужчин и девушка, – рассказывал он. – Да нет, не двое мужчин, а два мальчика, и не девушка, а девочка. Вот они крутят передо мной сальто. Вот же они, вот! Да вот же, неужели не видите? Никто не видит! Вижу только я, и вижу в том несуществующем пространстве, которое клубится перед моими глазами и называется память.

Крутя сальто, девочка превращалась в видение, ошеломлявшее меня, хотя ничего особенного в это время с ней не происходило, кроме того, что она крутила сальто и у нее развевались волосы: я был тогда всего лишь мальчиком и не представлял себе, что для любви нужно свершение более грандиозных вещей, чем просто развевающиеся волосы <…> Если бы не разлетались ее волосы, то, может быть, и не влюбился бы. Если бы не разметались волосы и если бы белые замшевые башмаки так не выделялись, то на песке, то в воздухе, то в круге сальто… Никто не знал, что я влюблен в девочку-акробатку, тем не менее мне становилось стыдно, когда она выбегала на арену. Как она была одета? Не помню. Помню только белые замшевые ботинки, твердо, как на детях, надетые и застегнутые по боку белыми же круглыми

* Сведения из статьи: Черненко Г. Феномен Володи Зубрицкого // Техника – молодежи, 2014, № 2, с. 40-43.

пуговицами, и помню только разлетающиеся волосы. Я, возможно, и сам не знал, что я влюблен. Мне было только стыдно, – причем стыдно за нее, стыдно, что она именно такая – вызывающая во мне приятное, незнакомо приятное чувство».

Но вот однажды осыпаемый, как часто бывало, предцирковым снегом, он подошел к артистическому кафе, откуда вышли трое молодых людей. В двух из них он узнал акробатов, работавших с девочкой. Третий был «с некрасивым лицом и в кепке; невысокого роста, какой-то жалкий на вид, нездоровый, с широким ртом молодой человек. Он сплюнул, как плюют самоуверенные, но содержимые в загоне товарищами молодые люди – длинным плевком со звуком – сквозь зубы». Ю. К. решил, что он – товарищ партнеров девочки, но вдруг, к своему ужасу, узнал в нем ее:

«Этот третий, неприятный, длинно и со звуком сплюнувший, был – она, – писал он. – Его переодевали девочкой, разлетающиеся волосы был, следовательно, парик. Однако я до сих пор влюблен в девочку-акробатку, и до сих пор, когда я вижу в воспоминании разлетающиеся волосы, меня охватывает некий стыд».

И, конечно же, он вспоминал свою «девочку-акробатку», когда писал в 1917 году сонет «В цирке»:

Как ей идет зеленое трико!
Она стройна, изящна, светлокудра…
Allez! Галоп! Все высчитано мудро,
И белый круг ей разорвать легко…

И уж, конечно, во многом с нее срисовывался образ циркачки Суок – «самой лучшей актрисы в мире»: «…холщовая створка приподнялась, и оттуда выглянула девочка, чуть наклонив голову с растрепанными кудрями. Она смотрела на доктора серыми глазами, немного снизу, внимательно и лукаво <…> это была кукла наследника Тутти!»

Иерусалим

Окончание следует

Публикации

276 **Валентина Голубовская – Олег Губарь**
Вокруг «Онегина»

Валентина Голубовская – Олег Губарь

Вокруг «Онегина»

Роман в письмах

Письма в последние десятилетия пишут все реже и реже. Перешли на телефонный обмен информацией, на электронную почту. А уж романы в письмах…

Вспоминаешь «Персидские письма» Монтескье или «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Правда, в двадцатые годы Вячеслав Иванов и Михаил Гершензон, находясь в одном и том же голодном и холодном Петрограде, написали и издали «Переписку из двух углов». Попытался уже в нашу эпоху оживить этот жанр Вениамин Каверин, создав блестящую имитацию – роман «Перед зеркалом»… И, пожалуй, все.

А тут во Всемирном клубе одесситов завязался разговор, спор Олега Губаря и Валентины Голубовской, который вылился в… два десятка писем о Пушкине, Онегине, в конце концов – о себе. Роман ли это? А что такое роман? Исследование? Ума холодных наблюдений и сердца горестных замет? А разве так важно поставить определение, дефиницию, диагноз? Признаюсь лишь, что мне как «почтальону» читать эти письма было интересно. А раз так, у них могут появиться и другие читатели. Все началось с разговора об образовании Онегина…

Евгений Голубовский

«Дорогая Валя!

Вероятно, в этом «образовательном сюжете» есть какая-то недоработка. Небрежность. Французский аббат не укладывается в габариты прототипа. С одной стороны, в черновиках подчеркивается его значительность («швейцарец благородный», «швейцарец очень строгий», «швейцарец очень важный», «швейцарец

очень умный»), с другой – это тот же Бопре из «Капитанской дочки», которого опять-таки «прогнали со двора». Швейцарец, несомненно, уроженец французского кантона, республиканец на деле. Кроме того – это мое личное предположение – кальвинист. Но в результате каких-то манипуляций он превратился в аббата, то есть типологического иезуита, каковые и строили пансионную систему воспитания в России. Но, так или иначе, парадокс налицо («прогнали со двора»), если не понимать ситуацию метафорически, а именно: в 1815 г. иезуитов прогнали из обеих столиц, а в 1820-м – отовсюду. Тогда-то аббат Николь оставил свое детище – Ришельевский лицей. Если понимать «гонение» так, то Пушкин – как обычно, умница и сукин сын.

Формально аббат-иезуит, конечно, давал своему питомцу вполне достаточный для светского очковтирания запас эрудиции – латинские и французские крылатости и т. п.

Вопрос в другом – а не пропущено ли какое-либо пансионно-лицейское образование Онегина?

По убедительным расчетам, Онегин 1795 г. р., и, согласно отвергнутому двустрочию,

И лет 16-ти мой друг
Окончил курс своих наук.

О том же – «когда же юности мятежной», то есть учился он в отрочестве, лет до 15-ти или 15-ти с хвостиком. Получается – до 1810-1811 гг. Стало быть, никак не в Лицее (19 октября 1811 г.). Ничего мы не знаем и о приготовлении к военной карьере – отпадают «корпусы» и т. п. Нечего говорить и о, скажем, Институте инженеров путей сообщения. Теоретически он мог учиться только в СПб., пансионе тех же иезуитов, но в этом мало смысла, коль скоро наставником его был тот же иезуитский аббат.

Короче говоря, из всех щелей прет лишь подтекст о поверхностном образовании, в духе дендизма. Это специфическое щегольство – на манер принципов «новых русских». Житейский практицизм (Адам Смит) в противовес сомнительным геттингенским плодам отвлеченной учености.

Если обратиться к реестру интеллектуалов (сверстников Пушкина), выяснятся презабавные вещи. А именно как раз то, что большинство из них получило «онегинское образование». И при этом продвинулось куда дальше героя романа. В том числе – военные, отличавшиеся начитанностью не меньше, чем карточными долгами. Что до Онегина – это во всех отношениях довольно посредственная фигура. Это не лучший из худших и не худший из лучших. Это, как ни банально, – явление типологическое. Не среднее, выше среднего, но и только.

Впрочем, кажущаяся лакуна в тексте есть, обо что-то как бы спотыкаешься. Об авторское легкомыслие, должно быть.

Обнимаю пристрастно.
Целую повсеместно
Губарь»

«Дорогой Олег!

Должна признаться, что мое легкомысленное замечание по поводу некоторого «провала» в онегинском образовании, вернее, пушкинских сообщений об этом предмете, никак не рассчитано было на столь учтивый и глубоко аргументированный ответ. Дело в том, что я просто поделилась радостью какого-то совершенно свежего

(исключительно для самой себя) прочтения знакомых строф, отрешенного от многих и многих комментариев почтенных и заслуженных пушкинистов.

Во время очередной бессонницы, вновь-таки обращаясь к любимым строфам, я обнаружила (опять же исключительно для себя) нескромное желание прокомментировать еще один пушкинский сюжет – речь идет о фамилии Ленский. Понимая всю дерзость и вероятную несостоятельность своих догадок, все же рискну, высокочтимый Учитель, предложить их на Ваш суд.

Насколько мне известно, исследователи, по аналогии с Онегой, Печорой, фамилию несчастного поэта связывают с сибирской рекой. В.Д. Набоков, как Вам известно, об этом замечает мимоходом, даже, на мой взгляд, несколько пренебрежительно, как нечто само собой разумеющееся, помещает это сообщение в скобки, правда, подавляя нас эрудицией, тут же сообщает о некотором существовании этой фамилии в допушкинские времена.

Мне же пришла в голову совсем другая версия. Ленский. Лена. Сын министра Д.В. Набокова мог слышать что-то о заварушке, но не будучи читателем краткого курса истории ВКП(б), словосочетания «Ленский расстрел» знать, скорее всего, не мог. Боюсь, что и Александр Сергеевич об это не догадывался.

Очевидно, что моя незрелая версия была бы отвергнута автором романа «Пнин», и он остановился на географическом происхождении. В мою же воспаленную бессонницей бедную голову пришла такая робкая догадка: а не была ли фамилия Ленский по аналогии с тем же сюжетом – Пнин, Бецкой – сокращенным

вариантом от какой-нибудь знатной фамилии, ну, например, Оболенский? И если позволить себе разыграть эту партию, то тогда возникают варианты некоторых иных толкований судьбы поэта.

Откуда Германия, Геттинген? Как эта мысль появилась у тех, чей «прах *патриархальный*» (подчеркнуто мною. – **В. Г.**) почтил он «надписью случайной»? И весь романтизм Ленского – некоторое чувство «отдельности», «некаквсешности» (вспомним, как мучился тайной происхождения не только Павел I, но и Делякруа, допытывавшийся тайны своего происхождения от Талейрана, о чем говорили в парижских салонах). Словом, какая-то загвоздка здесь есть. Я не предлагаю считать Ленского одержимым комплексом бастарда, но, возможно, осторожно упоминаемые семейные предания о происхождении фамилии, о какой-то давней неравной любви волновали его душу? С этой точки зрения, может быть, он и «пел разлуку и печаль, и нечто, и туманну даль», и это у Пушкина не только цитирование Кюхельбекера, а некоторая подсказка читателю?

Боясь утомить Вас своими непрофессиональными рассуждениями, я все же решаюсь предложить Вам свои, очевидно, несостоятельные догадки. Могла бы написать: «Страшно перечесть… Стыдом и страхом замираю…». Но так как я не предполагаю в себе никаких пушкинистских амбиций, а мне просто весело играть с Александром Сергеевичем в бесконечную и увлекательную игру под названием «Евгений Онегин», я считаю возможным поделиться с Вами моими ни на что не претендующими ночными забавами.

С бесконечным почтением.

Валентина»

«Дорогой Олег!

Я настолько увлеклась игрой в «Е. О.», что, не дожидаясь Вашего ответа (или не рассчитывая на него), тороплюсь предложить Вам еще некоторые наблюдения или догадки в той последовательности, в какой они возникли у меня в эти дни и по-прежнему в бессонницу (последнее – точнее).

Говоря об еще одной фамилии в предыдущем письме, я имела в виду отца Татьяны. Почему Ларин? Да еще Дмитрий. Весь образ патриархального отца семейства, домоседа и все, что о нем известно, связано с домашним очагом, его покровителя-

ми. И хоть «латынь из моды вышла», но Александр Сергеевич блестяще знает античную мифологию и, на мой взгляд, не только связывает фамилию отца Татьяны с ларами, подкрепляет ее (фамилию) именем – Дмитрий (от Деметры). Таким образом, для образованного современника («разумному – достаточно») ономастическая характеристика становится сжатой формулой образа. Для менее понятливых, как будто в насмешку, следующая строфа начинается с «подсказки»: «Своим *пенатам* (подчеркнуто мною. – **В. Г.**) возвращенный Владимир Ленский…».

Так как я просто получаю огромное удовольствие от этих догадок, от этой игры, я, конечно же, не отказываю себе в необходимости обращаться к мнению высоких авторитетов. В.Д. Набоков опять же упоминает о почти анекдотических фигурах, однофамильцах «господнего раба и бригадира», а потом какое-то поспешное упоминание о ларах завершает этот комментарий, но эта версия происхождения Владимиру Дмитриевичу кажется то ли неинтересной, то ли неубедительной, что он не считает возможным или важным ее как-то развивать. Жаль!

Мне же, лишенной пушкинистской солидности и академизма, все время чудится, что Александр Сергеевич как-то нас разыгрывает, что-то нам предлагает, а мы, может быть, об этом даже не догадываемся.

И вот тут, мой дорогой Олег Иосифович, Вам как своему конфиденту я решаюсь поведать самую крамольную, самую завиральную (уж не знаю, как Вы ее назовете) свою догадку, версию, словом, «нечто»…

Итак, своими «непушкинскими лапами» я рискую прикоснуться к самому сакральному, к священной корове пушкинистики – к фамилии главного героя. Задержите дыхание, дорогой Олег Иосифович, смеяться будете потом, но все же на Ваш суд предлагаю некоторые наблюдения и подозрения.

По-моему, начиная с «неистового Виссариона», который все измерял расстояния от Онеги до Печоры, все успокоились и приняли как должное: фамилия героя от гидронима. Юрий Михайлович Лотман, как известно, подробно на этом останавливается, а Набоков очень сухо констатирует (правда, своему западному читателю объясняя, где эта река Онега).

А Вам, Олег Иосифович, не казалось ли странным, почему это на брега Невы поселяет Пушкин своего героя «имени северной русской реки»? Что Александру Сергеевичу эта Онега? Он что, плавал в ней, может быть, мечтал ее увидеть, как «адриатические волны»? Или Онеге он писал: «прощай, свободная стихия»? Олег Иосифович, прошу Вас, ответьте: «Что он Онеге, что ему Онега?».

Но тем не менее Евгений – Онегин. Не Ладогин, не Невин, не Москварекин, наконец! И тут, отбросив смешливость и легкомыслие, я призадумалась. Стала перебирать пушкинские названия. «Моцарт и Сальери», «Борис Годунов». Реальные имена. «Граф Нулин» – выразительное вымышленное имя. «Дубровский» – еще красноречивее: «Я – Дубровский» – почти как «Я – Робин Гуд». В фамилиях смысл, но уже не такой простоватый, как Скалозуб, Правдин, Простаковы. А тут любимое детище наречь просто так – Евгений Онегин (далась нам эта Онега!). И тут, Олег Иосифович, в мою неискушенную и не отягощенную пушкинистскими забобонами голову вползло одно веселенькое подозрение: а не разыгрывает нас, не потешается ли над нами вот уже двести годков светлейший и остроумнейший Александр Сергеевич? Эпоха любила розыгрыши, шутки, «обманки». И бумага, которую хочется приподнять в знаменитых работах с птичками и вишенками Федора Толстого, и муравьевский «Вьеварум», может быть, придуманный «Вобюлиманс», да и многое другое можно вспомнить.

В названии, в сердцевине обоих слов уже как будто бы заключена игра в перевертыш: ген – нег. Ну на это, наверное, все всегда обращали внимание. Но во время бессонницы, в темноте, обостряется по-своему восприятие. Я стала про себя твердить эти два слога, как будто бы почувствовав в них какую-то подсказку, я стала повторять те строфы, которые знаю наизусть, уже почти уверенная, что Пушкин где-то опять лукаво подмигнет и что-то подскажет. Ух, нашла! Я просто от счастья начала смеяться. (Сейчас Вы будете надо мной смеяться, но это же не для пушкинистики, а для меня радость!) «Но в чем он истинный был гений… была наука страсти *нежной*». «И чувств *изнеженных* отрада», память тут же подсказывает другое: «открой сомкнуты *негой* взоры». Любимые пушкинские слова, не правда ли? Многозначность – и любовь, и «дольче фар ниенте» (прошу прощения, у меня нет

латинского шрифта), но «фар ниенте» упоминает опять же Пушкин в романе.

Постепенно я добираюсь еще до одного «ключика». Эпиграф ко второй главе:

О rus! Гораций.

О Русь!

А если его продлить (понимаю – святотатство, но все же):

О нега!

В таком контексте название романа, фамилия героя приобретают не просто гидронимическое заимствование, а некий потаенный смысл, в котором характер героя, погруженного то в негу, то в науку страсти нежной.

Ваша Валя Голубовская»

«Дорогая Валя!

Не думаю, чтобы этот вопрос («фамильярный») мог бы быть решен определенно. Версия романтическая, симпатичная. Чтобы поверить сие алгеброй, недостает корректной статистики, но совершенно очевидно, что фамилия Оболенский типичнее. Сама по себе «выборка» пушкинских знакомцев убедительна: 4 Оболенских (м. п.) и 2 Ленских. Другой вопрос – этимология «короткой фамилии». И здесь не будет однозначного ответа: возможны оба варианта – и «сибирский», и – с обрезанием левой крайней плоти. Но тогда «географический случай» – много моложе традиционного – уже хотя бы потому, что Лена освоена и «укоренена» довольно поздно. Стало быть, Оболенские благороднее. Пушкин в этих делах был дока – и чрезвычайно дорожил своим «шестисотлетним дворянством». Тогда цитата о дистанции между Онегой и Леной все же огромного размера. Тогда можно понимать эту метафору так, что Онегин – благородный выродок, но Ленский – выродок тоже. Правда, с некоторой оговоркою. Интуиция подсказывает мне, что принципиально наблюдение очень меткое: старое и новое разбиваются друг о друга, а пользы отечеству нет. Эти по-римски разлагаются, те самоуничтожаются в грезах. Возможен и тот привкус «бастардизма», о котором говорено. И все-таки главное – пшик, перманентный российский пшик: вода разрушает камень, лед испаряется, предварительно затушив

пламень, не проза поэтизируется, а стихи прозаизируются и т. д. То есть в России плюс на минус дает не минус, а ноль, пустое место. Это то, что я бесконечно твержу себе: Россия – буферная зона, проводник, электролит, домна, а потребители – за ее пределами. Банальная схема: Онегин («Отцы и дети») – маскирующийся отец, как и Ленский – маскирующийся ребенок. Другой ее же вариант: Онегин – российский «европееман», Ленский – формальный «западник». И что же? На поверку оба оказываются стерильно русскими – вспыльчивыми лентяями.

Что до «геттингенской линии» – она, мне кажется, все-таки выстроена вполне реалистично-прагматически. Когда-то я глубоко копался в истории пушкинских эпиграмм на Стурдзу. Суть такова, что он опорочил Геттинген и вообще университеты в глазах своих политических заказчиков тогдашнего «Варшавского договора» европейских венценосцев (1818 г.). Студенты сделали большой скандал – посягали на их еще средневековые права. Стурдза скрывался от преследовавших его студентов-дуэлянтов, чухнул в Россию, где его поджидали убийственные уколы молодежи. Пушкин был закоперщиком, вероятно, подогреваемый целой когортой ближайших друзей-геттингенцев (все три Тургенева, Каверин, преп. Куницын и пр.). И – кроме всего прочего! – из-за этой эпиграммы он фактически и был удален на Юг. Так что текст о Ленском, писанный в Одессе, с Геттингеном дружен по праву (здесь же был и Стурдза).

Согласен с Н. в том, что поиск литературных прототипов – дело темное. Но, думается, Ленский получил что-нибудь от В.И. Оболенского – с которым Пушкин общался (сообщался), прозябая в Одессе, через Раича. На фоне обновленного знакомства со Стурдзой. Этот Оболенский по некоторым параметрам по фасону. Как знаток языков, как пишущий человек. Остальное – от… геттингенцев – Тургеневых.

Получается так, что догадка об «усеченной фамилии» работает сразу на несколько фронтов: 1) новая поросль; 2) слабая (урезанная) поросль; 3) поросль такая же бесполезная, *бесперспективная*, как и та, что *молодится*, пытаясь соответствовать.

Но главное – в том, что хотя немцу смерть от русского хорошего, только сам русский – что новый, что старый (в одном лице) – от своего хорошего застрелиться бы рад, да лень.

По-моему, суммарно у нас вышло что-то забавное и даже, как обычно, судьбоносное. Может быть, назвать «Ночные забавы» нашими «Совместными ночными забавами»? Забавами с Пушкиным (групповуха)?

С надеждой принять участие и многочисленными платоническими поцелуями повсеместно

Губарь О.»

«Дорогая Валя!

«Путешествие дилетантов» продолжается. Это очень вкусная игра, которая пришлась мне по душе еще до того, как привязался к Джойсу. Там, помните, громадный ономастический пирог. Елли Хвойн, Манон Лесок, Норма Дров, Мона Листик, Кора Березоу, Тебена О'Рехи и т. д. Мы играли в *это* с моей Машкой-школьницей, а потом с Викторией-студенткой. Конденсировались презабавные образы: Света Фор (или Сима Фор), Кира Газ, Тома Гавк и прочие «синеглазки». В рукописи, которой теперь занимаюсь, есть некая Коняна Скаку и Косая Сажень. Знаю народные образы ярче: Циля Немнихер, Сара Накойхер, Рудик Херсним и пр.

Размышляя о Ваших ларах, все время натыкался на Карла, стибрившего у Клары кораллы. Дремучий аркадийский мотив (лары, Деметра и пр.) окатывает острую, пряную, жгучую мелодийку шутовской пляски. Не сверяясь с Набоковым, я тотчас вспомнил Иллариона Ларина (какая пронзительная тавтология!) – того веселого проходимца, о котором рассказал Липранди. В сочетании с эпитафией и шекспировским Йориком – это убедительно даже не на уровне фактажа, но на эмоциональном. *Я почувствовал*, а уж потом обдумал, заглянул в справочник, мемуары и пр. Был еще другой отставной военный – помещик *Ларий*. Оба прототипа общались с Пушкиным в начале 1820-х, непосредственно перед Одессой, где и писана 2-я глава. Обдумывая всю ситуацию, я поймал себя на ощущении, что вижу деревенскую идиллию из окошка дома в Михайловском. На самом же деле «Деревня» медитировалась в Одессе. И в этом было больше игры (близкой к нашей), чем может показаться.

Версия шута-военного мне представляется достоверной еще и по другой причине. Пушкин военным не был, но среди офицеров прожил несколько лет (1820-1823). Все его поступки

свидетельствуют о том, что странное светское амплуа его как-то тяготило. Он постоянно самоутверждался, не раз убеждая приятелей, что не уступает им ни в чем (выпивка, барышни, дуэли, сумасбродство), а то и превосходит. По-видимому, шутовской шарж на офицера входил в его расчеты. Во всяком случае, он не раз выставлял дураками тупиц-служак.

Перейдем теперь ко второму блюду. Мистическим, как любит выражаться Феликс, образом наши письма предварили друг друга. Я уже определил свое отношение к фамилии героя: Онега – гидроним со стажем, Лена – нувориш. Отсюда – все частности. В том числе – та, о которой Вы толкуете. Разумеется, старая Онега плавна, ленива, да, она нежится. Лена – вспыльчива, стремительна, бурлива, молода, она – «как закипевшего Аи» и т. п. Но в обоих, как бы поточнее выразиться… *очень много воды*. Бесплодности, тщетности. Если привязывать текст к скорости течения, получается, что вторая глава – в самом деле Онега, хотя там и появляются истоки Лены. И в этом смысле Вы совершенно правы.

«Е. О.» – не просто зарифмованный роман, но зарифмованный символистский роман, символика которого как раз в ономастике. Вероятно даже, что такое исследование существует. Убежден, однако, что наше «Путешествие» живее и приятней.

К слову. Вдруг вспомнил одну свою приятельницу, Ирину, – большую, рыхлую и очень умную бабу. В ее объятиях – словно бы в пирине-пространстве. На заре оная колыхалась и выдыхала: «Нега-а». Хотя надо бы написать пе*рина*. Такая вот ассоциация.

А вообще *Онегин* – это изрядное нахальство. Рифмы-то нет!

Обнимаю пристрастно
Весь Ваш Губарь О!»

«Дорогой Олег!

Мне показалось, что «онегинская» игра Вас несколько утомила. Поэтому появилось желание выйти за ее пределы в упоминании о Джойсе, в обыгрывании бесконечно милого многим поколениям краткого русского слова. (Признаюсь, правда, что Ваш юмор по этой части мог быть по достоинству оценен в гусарской среде, может быть, он был бы благосклонно принят кавалерист-девицей, а я, к счастью, ни то, ни другое.)

Но если Вам угодно вернуться к нашим «мутонам», то вот на Ваш суд некоторые наблюдения и рассуждения. Из области читательских эмоций, а не исследовательских резонов. (Я тут случайно на каком-то из каналов увидела хвост английского «Евгения Онегина», о котором недавно шумела российская пресса, и в очередной раз подумала о незащищенности классика, правда, англичане, по-моему, вполне уверены, что с пиететом отнеслись к «энциклопедии русской жизни».)

Я вдруг проявляю смешное упрямство и никак не соглашусь, что «рифмы-то нет!» (Олег Губарь). Есть, Олег Иосифович, есть! Она просто «закодирована», это внутренняя рифма. Я уже робко попыталась Вам об этом сказать, но Вы не поддержали мою догадку. Я еще раз пытаюсь Вас убедить, что мне и только мне сейчас интересно *так* перечитывать «Онегина», хоть все окружающие эти мои неловкие размышления могут считать ахинеей. И коль мы затеяли эту игру, которая, *естественно*, может *естественно* прекратиться с утратой интереса к ней, я продолжаю.

Кстати, Вы сами говорите о символизме и зашифрованности романа. Знаток пушкинской среды, имен, реалий, Вы оперируете историческими фактами и в этом преуспеваете. Я же намеренно (да строго говоря, и не желая – ведь не исследованием же я занимаюсь), просто на свой лад читаю Пушкина.

И опять, кстати, признаюсь, что один «мячик» подбросили мне Вы своей давней публикацией о «сыне египетской земли» – до Вашей публикации имя Морали читалось мною как итальянское, во всяком случае, латинский привкус в нем был. Теперь, просвещенная Вами, я думаю, а не было ли в этом столкновении итальянизированного написания имени мавра Али с его аттестацией «корсара в отставке» (с соответствующими «моральными» устоями) намеренной пушкинской шутки, вождения за нос простодушного читателя?

Но возвращаюсь к внутренней рифме. Я не случайно предложила Вам продлить, как говорится, на свой страх и риск эпиграф ко второй главе:

О нега!

И горациева «деревня», и пушкинская «Русь» (не петербургская Россия) – ясный, прозрачный зачин второй «патриархальной»,

деревенской главы. При чем здесь «нега»? Признаюсь, это слово в пушкинском словаре меня не отпускает от себя. Что оно для Пушкина? Возможно, я ломлюсь в открытую дверь, и об этом уже написаны пушкинистами многие страницы, но я ведь делюсь с Вами своими собственными корявыми измышлениями. Так вот, оставляя в стороне все производные в виде «грусти нежной», «науки страсти нежной» (как усиливается жизненный опыт и эмоциональный, чувственный накал!), «чувств нежных» (пресыщение этим опытом!) и т. д. – обратиться к самой неге – слову, обладающему у Пушкина символическим сокровенным смыслом. Уже в первой главе все сказано: смысл и стимул пушкинской жизни – свобода: «Я негой наслажусь на воле», «и far niente мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы». Но нега – это не просто безделье, не унылая праздность. Человек, обремененный зависимостью служебной, военной или чиновничьей, либо другой несвободой, не пребывает в состоянии неги, ее внутренней свободы, воли, творческого или любовного пафоса.

Итак, любовь и свобода аккумулируются в одном слове. Не стану, дорогой Олег, утомлять Вас цитатами, хоть, на мой взгляд, небезынтересно, как это слово угасает постепенно в романе, исчезает в последних главах, чтобы ослепительно вспыхнуть в одесском сюжете – россиниевском: «он звуки льет, они кипят все в неге, в пламени любви»…

И уж поистине трагическим упоминанием завершается «Пора, мой друг, пора» – «в обитель дальнюю трудов и чистых нег». 1834 год. Прощание с негой – больше в стихах Пушкина этого слова нет (во всяком случае, в канонических сводах лирики). Признаюсь, я даже как-то иначе, как-то пронзительнее услышала лермонтовское: «Зачем от мирных нег и дружбы простодушной…».

Вот, дорогой Олег Иосифович, что, какую рифму услышала я в любимом Вами гидрониме.

И какой-то грустной показалась мне наша игра в «Евгения Онегина» – во всяком случае, расхристанность и очевидная неубедительность моих соображений, скорее каких-то интуитивных «вчувствований», но в любом случае я Вам благодарна за то, что вы затеяли эту игру, а я еще и еще раз перечитала свой любимый роман.

Ваша Валентина Голубовская.

P. S. Нет нужды объяснять, что именно с сельской свободой рифмуется больше всего нега.

О нега!»

«Дорогая Валя!

Я всегда думал (ошибался, должно быть), что между сальностью и шуткой, амикошонством и открытостью (распахнутостью) есть некоторая разница. Хочешь быть открытым – обязательно получишь по морде. Вы не кавалерист-девица: «к счастью» или несчастью – Вам решать. Но Пушкин, в которого мы играем (без правил), гусаром был, а язык наш любил «во всей его первозданной похабности». И я (грешным делом) считал, что сальность – это, прежде всего, глупость. То же, что вызывает живую улыбку, искренний смешок – не сальность и не «шутка юмора» для «ограниченного контингента». Так мне кажется, но не смею навязывать это свое мнение.

Если я Вас правильно понял, «Онегин – О нега» – рифма «закодированная», а не формальная. То есть Вы чувствуете, что пушкинская *нега* полисемична, что за ней – вполне определенный семантический ряд, лаконично формулирующийся как «любовь и свобода, аккумулирующиеся в одном слове». Вероятно, я не понял Вас раньше – моя вина, – а то бы проаплодировал оглушительно. Эта мысль мне очень близка. «Рискуя навлечь себе новые неприятности», скажу, что размышлял о том же в связи с любимым словечком моей любезной подруженьки. Пытался тогда вникнуть в его тайный смысл. И ход этих размышлений протекал тем же руслом – в соответствие с Вашей логикой.

Нега – какое вкусное словцо! Пушистое, мохнатое, обволакивающее! В нем есть что-то от материнской утробы: блаженство, абсолютная безопасность. Скольжение по поверхности (воды?), бархат бережного касания.

Не хочется приземлять его алгеброй, но я нырял глубоко, доискивался – потому что тогда для меня это было важно: я искал секрет этой женщины-*неги*. Не стоило этого делать, но любопытство пересилило.

Оказалось, что само по себе слово – загадка. Откуда оно? Куда? Кого-то это давно интересовало, и накопилось сколько-то

мнений. Самое очевидное – разглядывание «в пакете» с *нежностью*. Это корректно по сути. Виньетка нежности обрамляет негу.

Неженка, нежиться, неговать: старательно заботиться, нежить себя, нежить друг друга, баловать, лелеять. Нежный – тонко чувствующий, мягкий, рыхлый (помните, что я писал о своей подруге?), чувствительный, восприимчивый, крайне чуткий, разборчивый и еще… *жидкий* (!). Запомним это.

Семантическое разнообразие почти уникальное. *Нега* – наслаждение, упоение, забытье, довольство, баловство, холя. Еще – «полное довольствие», «ласка», «состояние, близкое к блаженству». Еще – «услада», «чувственные подробности услады».

У ближе всех стоящего к пушкинской лексике Даля – сущностное: упоенье, *сладостное успокоенье духовное*, *нравственное*; покойное услажденье, *мечтательное забытье*.

Что видим мы? Из двух компонентов – покой и воля (свобода) – выбирается как раз *первый*. Если перефразировать на новый лад, получается *нирвана*. Но тогда выходит по-нашему: и покой, и воля одновременно. Воля – это также внутренняя сила, мобилизация к ощущению свободы. Получается некоторое противоречие: нега немыслима в сочетании с силовым напряжением. Потому-то мечтается о ней как о нирване – идеальном, недостижимом состоянии духа.

О нега – без восклицания, но с сожалением, в безысходности. Таков в общих чертах ход наших мыслей. Так?

Теперь кое-какие гипотетические вкрапления – по поводу тайного смысла.

Выше: «нежный-жидкий». При всей неясности этимологии различается отчетливое водное начало: не просто «чувствовать расположение», но «льнуть», «липнуть». Некоторые исследователи пронырнули еще дальше, довольно убедительно обосновав родственные связи *неги* и *снега*. Сопоставляют с древнеиндийским «делаться мокрым, липнуть», что-то близкое к растительному маслу и др. Речь идет о чем-то жидковато-липком, возможно, о мокром снеге. Еще древнеирландское «каплет, дождит», «изморось». Тут совсем близко к Онеге: климатически и топографически. Так «героическое имя» озвучивается новыми тайными смыслами.

Если суммировать все наговоренное нами – выходит, по-моему, не так уж плохо. Так что игра, кажется, не окончена. Что

до Морали, он сюда как-то не подверстывается: не хочется пока мутить чистую воду Онеги и О неги.

Искренне Ваш
Губарь О!»

«Дорогой Олег!

Как ни смешно, я возвращаюсь к «дремучему аркадийскому мотиву». Понимаю, что это все напоминает доморощенное «открытие Америки» и что в профессиональной среде многие мои «прозрения» воспринимаются как банальности, такой себе пушкинистский моветон, тем не менее беру на себя смелость продолжать, вернее, делиться с вами своими докучливыми соображениями.

Так вот, вернемся к ларам. Неожиданно для себя я вдруг поняла, что здесь закручивается любопытный узел. У Пушкина есть образы, понятия, символы и т. д., которым он верен, которые он «обкатывает», пробует на язык, на слух – та же нега, грусти нежной, наконец, упоминания Италии златой. Последнее не менее важно, чем первые и многие здесь не упомянутые пушкинские любимцы. Так вот. Мои размышления об Италии златой (не стану их сейчас развивать) вернули меня к ларам. Пушкинское кочевье, бездомность, положение в родительской семье лишают образ латинских домовых хрестоматийной мифологической риторики, и, как ни покажется это смешным, сближают в своей сокровенности с уже препарированной негой. И начинается это уже в лицейские годы: «Завистливой судьбы в душе презрев удары, в деревню (!) перенесем отеческие лары!». «О вы, отеческие лары, спасите юношу в боях!»; «Пою под чуждым небом. Вдали домашних лар…». Наконец. «Тебя молю, мой добрый домовой, храни селенье» и т. д.

Пять-семь лет отделяют эти строчки от второй главы, начинающейся со знаменитого эпиграфа. Горациева деревня, деревенская Русь – за ними или из-за их плеча выглядывают то ли лары, то ли домовой. И может, столкнувшись с омонимным звучанием фамилий своих южных знакомцев, Пушкин и обыграл этот сюжет? Может, я ошибаюсь, но Александр Сергеевич избегал лобовых приемов – отказывается же он в эпиграмме «Хоть, впрочем, он поэт изрядный, Эмилий человек пустой» от однозначного, лежащего на поверхности Людмилина? (Так, во всяком случае, в примечании Т. Цявловской.)

А теперь, может быть, главное. Вы, дорогой Олег Иосифович, полагаете, что Пушкина интересовал «смиренный грешник Дмитрий Ларин», и он решил этого бригадира ущучить фамилией липрандиевского «веселого проходимца»? «Господен раб» понадобился Пушкину только для того, чтобы дать имя, то есть фамилию, родовой корень своей героине. Наверное, не случайно не озвучена фамилия супруга – князя N. А как содрогнулся бы бедный Александр Сергеевич от чудовищного оперного варианта? Татьяна Гремина. Ничего, правда?

Нет, все-таки, на мой взгляд, между юношескими помыслами о ларах и Татьяной, которая, подобно Пушкину, «в семье своей родной казалась девочкой чужой», для которой и «бедное жилище», и «смиренное кладбище», впрочем, что перечислять, все широко известно, связи гораздо больше, чем между нею и всеми военными знакомцами Пушкина.

А теперь еще о «библейской, первозданной похабности» языка. Александр Сергеевич, не спорю, любил примерять к себе доломан, ментик, кивер. Но и любил слово «комильфо». Одно дело «гений чистой красоты», другое дело мужские эпистолы А. Вульфу по поводу «мимолетного виденья».

Мне же больше нравится элегантное, острое и безукоризненное остроумие Пушкина в других образцах, ну хоть в этом:

Христос воскрес, моя Ревекка!
Сегодня следуя душой
Закону бога-человека,
С тобой целуюсь, ангел мой.
А завтра к вере Моисея
За поцелуй я, не робея,
Готов, еврейка, приступить –
И даже то тебе вручить,
Чем можно верного еврея
От православных отличить.

Засим остаюсь
Ваша Валентина Голубовская»

«Дорогая Валя!

Я все думаю о пушкинской символике. Бог с ним, с Лариным. Берите выше. *Лары* – символ того же порядка, что и *нега*. Давайте-ка еще покрутимся вокруг домашнего очага (потанцуем от печки, посидим у камина). Разумеется, тут видится грандиозное обобщение. Боря Херсонский непременно перетолковал бы ситуацию по Фрейду: что-нибудь вроде покоя и неги зародыша и т. п. Но, так или иначе, а все мечтают нежиться на косматой шкуре у камина в доме с домовятами. И чтобы при этом время остановилось, закуклилось. Дальше – оттенки этого благостного ощущения ласкающего безвременья. «Неговающие лары» – может быть, так, хотя звучит немузыкально? Может, «одомашненная нега»? Нега как ощущение материнской утробы-родины («дремучий аркадийский мотив»)?

Что в итоге? В итоге – мотивация волшебного замка творчества как виртуального (пошлое, но точное слово) пространства «чистых нег». Вероятно, два-три знакомых слова в самом деле ключ куда более универсальный, чем это может показаться, и с чем я Вас и поздравляю!

Что до «комильфо» (уела-таки!), то я, честно говоря, не в восторге от помянутого Вами «разнополого» двуличия. Меньше всего хочется быть хамелеоном, гаденько приноравливаясь к ситуации. А если называть вещи по именам – облапошивать и «любимую», и «друга». Предпочитаю – в подобном контексте – не быть комильфо, но – самим собой. Другое дело, что не следует навязывать откровенность, о которой не просили. Впредь буду осмотрительнее.

Да, Вы знаете, а я вспомнил, что и сам нагрешил *негой*. В 9-м классе. У меня тогда были проблемы с таблицей Менделеева, и я написал виршик о закисях, окисях и химичке. Забавно, что десятиклассники положили мои стишки на музычку и прокукарекали на каком-то школьном вечере. Химичка была в восторге, хотя и грозила мне пальчиком. Там была строчка: «Мне бы отдохнуть сейчас, предаться неге…». Теперь думаю вот о чем: ведь это я невольно озвучивал Пушкина! Спал я на раскладушке в проходной комнате (мы всей семьей возлежали вокруг стола), с этой раскладушки ушел в армию и на эту же Р. вернулся со службы. Вероятно, покой мне только снился – как Ал-ру Сергеичу?..

Искренне Ваш

Губарь»

«Дорогая Валя!

Поскольку настроение паскудное, решил под занавес развлечь Вас и себя еще кое-какими размышлениями о неголарах и ларонегах. Пишу слитно не для оригинальничанья: слова эти буквально перетекают друг в друга – как сообщающиеся сосуды, получается любопытный купаж, каковой мы с Вами и распробовали.

Слова эти сливаются в том устье, где «гостеприимный кров, В сени домашних где богов…» и т. д. (Батюшков), где супружеские, плотские и проч. отношения становятся *родственными*. Где жизни мышья беготня уходит из реальности, где покой *разлит* по «Сельскому кладбищу», где он владычествует. Где по-язычески *сливаешься* с «*разнеженной* природой» (Фет). Постоянное акцентирование: твердая фаза жизни суетной, алчущей, переходит в жидкую – растворяется в пейзаже:

«…И пташки тепля гнезды,
Что свиты над окном,
Щебеча покидают
И негу отрясают
Со крылышек своих».

Нега – анабиозная жидкость, облекающая и растворяющая. Это – сон в растворенном состоянии:

«…Открой *сомкнуты негой взоры*
Навстречу северной Авроры».

Нега – сама дремлющая природа (роща, пажити, ветви, цветы и листья, вершины и облака), природа, всегда увлажненная, отражающаяся и тихо плещущаяся в каком-нибудь старом пруду, окунающаяся в безвременье. Поэты вечно глядятся в это зеркало вод и различают ревнивым умом антропоморфные деревья, цветики, птичек, звезды.

«Как незаметно потухают
Лучи – и гаснут под конец!
С какою *негой в них купают*
Деревья пышный свой венец». (Фет)

«Юга созвездье! Сердца зенит!
Сердце, любуяся вами,
Южною *негой*, южными *снами*,
Бьется, томится, кипит».

(Вяземский)

А что же Александр Сергеевич? Он, кажется, на полдороги, «Зимней дороги»:

«Завтра, к милой возвратясь,
Я *забудусь* у камина…»

Нега-забвенье, нега-диффузия, нега – анабиозный сон, нега – растворение в пейзаже:

«Где *пьется дней моих невидимый поток*
На ложе *счастья и забвенья*».

(«Деревня»)

Дальше – больше: «Пора, мой друг…».

На поверхности – как бы стремление к самоуничтожению, провоцирование ситуации. На деле, мне кажется, не все так мрачно. Просто невозможно погрузиться в Лету на всем протяжении временного потока, но есть неосознанное желание присутствовать во всех его профилях одновременно. «Тятя, тятя, наши сети…» – есть желание отодвинуть надмогильную ларинскую плиту, погрозить голой фалангой – чего мол, детки вы тут расшалились?! Нега – не есть физическая смерть, а есть прикосновение к Вечности. Это липкий снежок, летящий с небосклона, из какого-нибудь межзвездного пространства. Это липкая же река, с водою сверхпресной, густой, клейкой, несущей, но не позволяющей обгонять течение. Нежелание нежиться, просто вдумчиво плыть по течению (не барахтаясь и не трепыхаясь, подчиняясь однонаправленности и неумолимости течения), нежно, жалостливо оглядывая уходящие берега – травка, коровки, соломенные шляпки, пастушки-дурнушки и проч. – лишает покоя и воли не подчиниться даже, но органично вписаться в неизбежное.

Побарахтаемся, что ли? Побарахтались, утонули. Мудрец же нежится, растворяется, впечатывается, диффундирует, оставаясь в неистолкованной субстанции на вечные времена. Вот почему всегда проповедуется смирение.

Я вовсе не пытаюсь вещать (хоть имя как бы обязывает). Вы правы, если хорошенько вдуматься, прислушаться, принюхаться, то и выходит, что в Онегине и «Онегине» гораздо больше от символистского романа, чем это может показаться. Во всяком случае, налицо все атрибуты, включая Пространство и Время.

Обнимаю Вас и *негую*. Благодарю за соучастие.

Вот наш Онегин на свободе. Плывет. Куда ж нам плыть?!

Весь Ваш Губарь»

«Дорогой Олег!

Пауза в нашей переписке затянулась, но причины ее нам обоим понятны и, очевидно, они в чем-то схожи. Тем не менее должны признаться, что диалог (монолог?) продолжается все это время.

Как-то Евгений Михайлович, который и благожелательно, и иронически относится к нашему «Путешествию дилетантов», заметил: «Если уж Онегин связан с негой, то почему бы не предположить связь Ленского и лени?». Параллель настолько прозрачна и откровенна, что я от нее отмахнулась вначале, а потом подумала: а почему бы и нет? Действительно есть внутренне смысловое созвучие между негой и поэтической ленью, леностью, свойственной тому, кто «забавлял мечтою сладкой сомненья сердца своего». Прошло несколько дней, я все пытаюсь охватить, постичь это необозримое пространство пушкинского подтекста, в насмешку брошенного намека, как вдруг материализуются «странные сближения». Е. М. приносит 12-й номер «Звезды» с опубликованной стихотворной перепиской Н. Гумилева и Л. Рейснер и читает мне из нее одну эпистолу Рейснер Гумилеву:

От лицейских наставников Пушкин,
От Monsieur и уроков Онегин
Уходили, как зверь из ловушки,
Для поэзии, лени и неги.

Так что, дорогой Олег Иосифович, были и есть пушкинские читатели, которым в онегинских строфах слышится близкий нам с Вами звук и смысл.

Уже давно меня смущает строка, подогревающая наш одесский патриотизм, – «Там все Европой дышит, веет…». Что же такое «европейское» поразило Александра Сергеевича в Одессе пыльной, в Одессе грязной? Ресторация Отона? Но и у Talon в СПб. не тюрю подавали, как известно. Театр? Опять же – за плечами были петербургские искушения. А уж воспитанному среди царскосельских чертогов и садов, в среде петербургского ампира вряд ли одесские «новостройки» (хоть были уже здесь и осуществленные тома-де-томоновские замыслы) могли вскружить голову. Естественно, не мною замечена впервые эта оппозиция – ссылка и свободная стихия (лучше всего, пожалуй, у И. Бродского «Памятник Пушкину в Одессе»).

Какой-то почти опереточный «бурный Зевес», устраивающий комическое на пять-шесть недель «наводнение». Но, кажется, здесь возникает первое предчувствие, драматическое. Конечно, звонкая мостовая – определенный цивилизованный уровень, но как-то жалко этот «спасенный город», который покроется «кованой броней», и, увы, надолго.

Любопытно, как эта одесская безалаберность стихии будет потом противопоставлена трагическим образам «Медного всадника». Кстати, сколько угрожающих «р» перекатывается в «Петра творенье», в «державном теченье», а глаз упирается в «береговой гранит», в «оград узор чугунный»…

Почему при добром Инзове – «Проклятый город Кишинев», а при известных отношениях с Воронцовым – «благословенные края»? Конечно, «берега эвксинских вод» не знали континентальной *ксено*фобии, здесь пребываешь в состоянии *неги*, как «мусульманин в своем раю» (Гейне где-то писал, что предпочел бы мусульманский рай с его вином и гуриями), а с чем, как не ленью томительной, длящейся, ассоциируется состояние блаженства и неги?

Пожалуй, на сегодня достаточно. Что-то не хватает неги и лени. Может, как-нибудь в другой раз получится более ясное и толковое «речение»!

Засим остаюсь Ваша Валентина Голубовская»

«Дорогая Валя!

Логика Голубовского безупречна: разумеется, Онегин – нега, Ленский – лень. Мы все можем себе позволить: наши правила – наши права.

Если пойти еще дальше, то и выходит, что «поэт» Ленский – «медитатор» и лентяй, что душа геттингенская – всего-навсего маскарадный наряд, самоодурачиванье, фальшивка, что он глуп, фатоват, банален. Что туда ему и дорога. Нега – не лень, правильно. Нежится мудрец, сибарит, а дурак просто лодырничает. Тогда противовес волны и камня и проч. обретает совершенно иное звучание. Под лежачий камень вода не течет, вот как. Онегин способен к протеканию, к эволюции, Ленский – даже не льдина (на самом деле лед и пламень меняются местами), а нечто аморфное, импотентное. В самом грубом приближении он отмирающая ветвь. Онегин, вероятно, тоже, но (совсем другая песня) этот может процвесть, а уж потом понемногу вырождаться.

Что до одесского европеизма пушкинских времен – эта тема меня настолько утомила, что и не передать. 20 лет складывал портрет легендарного приморского городка. Понимал, что много воды утекло с тех пор «по воле бурного Зевеса». А потому поступил очень просто: собрал и препарировал все известные и прежде неизвестные тексты, разделив их на две части – «изнутри» и «извне». В результате явился энциклопедический (интегральный) образ, отдельные характерные черты которого *совпадали во всех описаниях*. Далее сопоставил эту картинку с «художественным обобщением» Пушкина. Что получилось? Получилось нечто невероятное: художественный текст оказался универсально информативным, не просто контрастным, но и достоверным. Учтены *все* «необщие» черточки той Одессы, отмеченные в исторических анналах. Невероятно, но это так. То есть я хочу сказать, что пушкинские строки – исторический первоисточник, отвечающий всем требованиям источниковедения. Помнится, меня это так поразило, что выступил с докладом (он опубликован в сборнике) на Пушкинской конференции. Исследование было признано вполне корректным и вошло в научный оборот.

Дело здесь вовсе не в яканье и похвальбе, а в том, что первозданный *литературный облик* юной Одессы соответствовал ее *реальному облику*. Только и всего. Другое дело, что пока «волна»

доходит до потребителя, изменяется сам источник «волногонения». Покуда бабелевская Одесса вошла в обиход, умерли первообразцы. Пока баснословный портофранковский городок трансформировался в миф, вода утекала вместе с негой и ленью. (Если не ошибаюсь, в новой книжке написал что-то такое: пока доходит свет этой далекой одесской звезды, светило гаснет; приезжают пижоны – в поисках звездной энергии – и сетуют: нас обдурили!) Так вот, европеизм, а точнее *ретро*европеизм, отмечен как главная, определяющая черточка Одессы 1810-1830-х (да и позднее) годов. Многие вояжеры прямо говорят, что она мало чем отличается от портопунктов Средиземноморья, Леванта – Италии, Греции, Анатолии и т. д., и т. п. Называются конкретные двойники: Пирей и Салоники, Смирна, Триест, Трапезунд и др., и пр. Европеизм – не в двух-трех запроектированных Томоном незавершенках. Визуально – типологически средиземноморский порт, даже без характерного (с точки зрения европейца) лица: целые греческие, турецкие, итальянские, албанские, в целом югославянские кварталы, перистили всех трех рыночных площадей, никаких «вседержавных доминант», порт, карантин, казино, кофейни, винные погребки и пр. – все скроено по европейскому фасону. Реально, фактически официальное, русско-итальянское двуязычие (во всех учебных заведениях, в тезаурусах коммерции, судоходства – а это основное; вплоть до двуязычных указателей улиц, не говоря уж о винарках; музыкальная культура – струнная и отчасти вокальная школа трепыхаются до сих пор). Европа первой четверти XIX ст. – не Париж, а Медитеррания, морские коммуникации, античная культура побережья. «Маленький Париж» – это потом, десятилетия спустя. А тогда – Италия. Да, да, все зацикливается. Аркадийский пейзаж – «благословенные края», никак не иначе. Южная нега, вплоть до лени: и Онегину, и Ленскому комфортно. Здесь они и были зачаты в любви, а потому и вышли удачно. Никогда не было Ал-ру Сергеичу так сладко-беспечно, как в Одессе.

А дальше… Дальше – меньше, а не больше. Как Вы точно изволили заметить. Все меньше неги. Вспыхнула напоследок в «Пора, мой друг…» и угасла. Абсолютно убежден в том, что нам с Вами подобное пока еще не грозит.

Весь Ваш Губарь»

«Дорогой Олег!

Мне хочется крикнуть «браво!» по поводу Вашего последнего письма. Мне понравился, доставил удовольствие его тон, вернее, уже почти не скрываемое раздражение по поводу моих соображений об «одесском европеизме». Наконец-то в нашей переписке появляется эмоциональная окраска.

Вначале тон был учтиво-назидательный – это об образовании нашего вертопраха, нашего петиметра. Потом – несколько, я бы сказала, высокомерный, когда столкнулись Ваши гидронимные доводы и мой бедный лепет. Вы снисходительно отмахнулись от моих бедных лар, в пресность нашей переписки попытались внести ернический тон, а я на него ответила, как могла. И вот «наконец я слышу речь не мальчика, но мужа!» – утомленный вышеобозначенной темой, Вы, дорогой Олег Иосифович, тем не менее снисходите вновь до подробного комментария. (Я только хочу признаться, что я Ваша давняя читательница и поклонница Ваших литературно-исторических опытов.)

Почему же меня в восторг привело это письмо?! Во-первых, мне удалось Вас по-настоящему разозлить (хоть Вы сумели это облечь в достаточно сдержанную форму). Но суть не в этом. Мне кажется, что здесь уже ясно обозначилась разница наших «весовых» категорий. Я уже как-то вскользь об этом Вам писала, рискну еще раз вернуться к этому предмету.

Один из моих любимых литературных жанров – комментарии. И книги часто начинаю читать с них, прежде чем приняться за столбовой текст.

И абсолютно искренне признаюсь в глубоком интересе к Вашим историческим экскурсам. Я же (опять же неоднократно это подчеркивала), полагаюсь только на интуитивное прочтение нашего любимого романа. И все же, все же…

Не стану сейчас ссылаться на историю развития европейских городов (вот это было бы долго и утомительно) и на свой скромный опыт знакомства непосредственного с ними, могу согласиться, что этот европеизм пребывал в эмбриональном состоянии, в чем-то планировка Одессы в своей ясности и четкости могла восходить к римским каструмам, не вижу повода оспаривать все Ваши убедительные доводы и перечисления доказательств. Речь о другом.

Я все думаю, что «Е. О.» – роман, столь сложный, многослойный, при его гениальной прозрачности, что, по моему (не знаю, скромному или дерзкому) предположению, при современном прочтении, или, говоря Вашими словами, при «опрокинутом зрении», может считаться предтечей современных структуралистских опытов. Но это такая неподъемная тема для дилетантских размышлений, что лучше мне об этом не говорить.

Два единственных европейских города (западные «колонии» империи в счет не берем) – Петербург и Одесса. В столице – весь европейский и не только арсенал: от архитекторов, скульпторов, создавших царственный облик Северной Пальмиры, до бытовой фактуры – и то, что шлет «Лондон щепетильный» и Париж, «янтарь на трубках из Царьграда», и немецкий «васисдас», и т. д. Я это все к тому, что Питер не был, как известно, кондовым «расейским» городом.

Чего же не хватает Пушкину в столице и что он находит в Одессе? О многом уже сказано – даже стыдно повторяться. И все же рискну высказать свое предположение. Петербург в контексте всей европейской истории (как бы это сказать, чтобы не обидеть горячо любимый и почти родной мне город?) – самозванец, без корней, без прошлого, без «гения места». Почти через сто лет появляется наша героиня, и хоть ей не тягаться в своем облике младенческом, формирующемся со сложившимся северным соперником, у нее исторические преимущества. Да, средиземноморская принадлежность, да, язык Италии златой. И вот эта неоднократно упоминаемая (не только в «Е. О.») Италия златая не дает мне покоя. Как известно, Италия пушкинских времен – одна из самых захолустных стран Европы. Вспоминаю, как пару лет назад, перечитывая том за томом Гоголя, я наткнулась на восхитивший меня эпизод в гоголевском «Риме». Герой покидает Италию, позади него остается Симплонский тоннель, и он патетически восклицает: «Наконец-то я в Европе!».

Конечно, уже в Бессарабии, в «проклятом городе Кишиневе» являлась Пушкину тень Овидия, но только «на эвксинских берегах», к которым льнет «степь нагая», в этом первозданном образе бытия природы («дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет») ему открывается и «наука Эллады», о которой

через сто лет напишет другой поэт, и в звучании итальянской речи на «улице веселой» ему слышится «язык Петрарки и любви», язык охотно читавшего в Лицее Апулея, и, конечно же, язык «науки страсти нежной»… И можно только догадываться, какие образы, какие сравнения своей судьбы с изгнаннической судьбой не только Овидия, но и Петрарки возникали в этих благословенных краях. Этот одесский гений места, может, и давал повод к экзистенциальным размышлениям о Золотом веке Италии златой, о потерянном, но здесь, в Одессе, на какое-то время возвращенном Рае…

Словом, завершая сумбурные заметки, хочу сказать (так, во всяком случае, слышу я), что этот «европейский» подтекст гораздо тоньше, глубже, что «русская душою» Татьяна Дмитриевна *Ларина* вписывается в этот контекст «священных камней Европы».

На этом остановлюсь, чтобы не дать Вам, дорогой Олег Иосифович, воскликнуть: «Остапа понесло!».

С благодарностью за терпеливую поддержку моих писаний
Ваша В. Голубовская»

«Дорогая Валя!

Очень рад, что доставил Вам удовольствие: я вообще очень эмоциональный (впечатлительный) тип, поэтому мне это ничего не стоило. Вот кокетничать, честно говоря, утомительнее, а говорить, что думаешь, проще простого. Так что и не благодарите меня: не за что.

О внешнем облике «одесского европеизма» как будто уже все сказано, но имеется и некое неочевидное внутреннее содержание. Первое. Вся цивилизованная Европа устремилась в Дикое Поле тотчас после присоединения его к России. Отныне здесь пребывало Великое Искомое – законсервированная античность. Ничего не надо было даже откапывать: руины храма Ахилла на Змеином дожили до приезда Пушкина в Кишинев, Ольвия еще не была разобрана крестьянами Мусиных-Пушкиных, Пушкин посетил Пантикапей и т. д., и т. п. Любой вояжер априори знал об этой «российской античности», намеревался к ней прикоснуться телом и душою. Микроренессанс, описанный десятками авторитетных свидетелей, включая того же Муравьева-Апостола

и др. Пушкин заранее ожидал встречи с «Митридатовым гробом» и пр. Нечего говорить об одесском Бларамберге и пр. Но есть и другой аспект, самый простой. Одесса строилась «под задачу», на редкость прагматично, строилась конкретными людьми *для себя*, для эксклюзивного комфорта, для воссоздания привычной среды обитания. Потому-то и получился довольно-таки безликий (с точки зрения, скажем, средиземноморского шкипера) левантийский порт. Но в том-то и штука, что этот «инородец» был прихватизирован стоеросовой Империей. При чем тут Петербург? Да, судьбы окраинных вторых (третьих) столиц (Пальмир) в чем-то схожи. Но разве был СПб. хотя бы подобием какого-нибудь Брюгге? Что он – какой-нибудь ганзейский город? Едва ли. Потому иностранцы и не распознавали, в чем разница между Одессой и любым средиземноморским портовым городком. Зато тот же Кюстин отменно изобразил мавзолей-Питер. СПб. – неуклюжая пародия на европеизм. Одесса органично «европеична» – потому что ее *придумали* для себя европейцы, безо всякой задней мысли. Просто чтобы приторговывать, получать барыши и жить по заведенному в какой-нибудь Южной Италии (Франции и пр.), Северной Турции (и пр.) регламенту: биржа, театр, казино и др., и пр. Практично, дешево и сердито. А разные Фельнеры и Гельмеры – это уже другой этаж истории.

Продолжу об эмоциях (впечатлительности). Я, знаете, все сколько-нибудь важные решения всегда принимал интуитивно – это не стиль, не линия поведения, это я сам. Поэтому – что музыка, что стихи, – слушаешь неконцептуально. Укалываешься, угадываешь – но, мне так кажется, это больше *наше с вами*, чем авторское. Это не комментарии, а нечто самоценное. Ведь непонятно, что значимее: груда беспорядочных предметов на столе или натюрморт. Я хочу сказать, что мы не толкователи, вот что. История – сама по себе, а «Евгений Онегин» – сам по себе. Они не сшиваются, не брошюруются. Я, может быть, жестко что-то сформулировал (прежде), и Вы обиделись. Напрасно. Просто пушкинский европеизм – это всего-навсего *звучащие слова*, а не (им же описанные) казино или театр.

Это так. Хотите ужаснуться? Вот черновиковые варианты всего одной «одесской строчки»:

Сменяет пылкого коня
Сменяет гордого коня
Сменяет легкого коня
Сменяет слабого коня
Сменяет быстрого коня
Сменяет хилого коня

То же самое – о «звонкой мостовой», причем здесь (в черновиках) ясно: мостовая спасет «*от потопленья*»; вот, оказывается, каков смысл этого «спасенья» и «кованой брони». Вот и получилось у Пушкина: два пишем, один в уме. Получилось музыкальнее, но Вы почувствовали здесь что-то нелогичное. Вы – говорю искренне, – как Набоков, угадали ошибочное прочтение рукописного текста (опосредованного).

Дорогая Валентина Степановна! Если Вы обнаружили в моих письмах что-нибудь «учтиво-назидательное», «несколько высокомерное» и пр., то, уверяю Вас, это, вероятно, по той же причине, что и в комментарии к «звонкой мостовой»: я написал одно, а Вы угадали другое. Откуда эта колючая подозрительность? Зачем она?

Ваш Губарь»

«Дорогой Олег!

Я сегодня пыталась поздравить Вас с днем рождения Александра Сергеевича, но телефон молчит. Поэтому вновь берусь за эпистолу.

Вы, очевидно, полагаете, что интерес к нашей переписке, вернее, к ее предмету у меня угас. Отнюдь.

Моя первая запинка на образовании Онегина оказалась не единственной. Пушкин не тянет резину, а «без предисловий, сей же час» знакомит нас со своим героем. И вот любопытно, что, сообщая множество деталей (ну хотя бы знаменитое меню ресторации Талона, перечисление джентльменских услад, наполнявших кабинет философа в осьмнадцать лет, и многое другое – кстати, меня давно восхищает глагольно-социальная характеристика петербургских типов: «Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенка спешит» – словно острым карандашом блестящего рисовальщи-

ка подмечены сословные различия и характеры), так вот, так подробно воссоздавая самую приближенную к Онегину материальную и эмоциональную среду обитания, Пушкин очень скупо, словно сквозь зубы, цедит сведения об онегинской родне. Несколько строк об отце, даже имени мы его не знаем, ни слова о матери. Отец что, вдовец? И вспомним, как густо именует Александр Сергеевич окружение и родню Татьяны – от имен родителей, сестры, даже знаем, как звали супруга няни Филипьевны, до многочисленных соседей и т. д.

Я думаю, почему? И тут у меня возникает две версии, два моих подозрения, что Пушкин, как мы уже не раз убеждались, в ясности и прозрачности романа прячет смысловую глубину подтекста, зашифрованной сокровенности. Не хочется поминать всуе любимого нами Борю Херсонского, но так и хочется что-нибудь закрутить вокруг фрейдизма (?).

Можно было бы подумать, что в мае-июне 1823 года в Кишиневе, когда «даль свободного романа» Пушкин «еще ясно не различал», эта холодноватая отчужденность от семейных уз (о ларах и пенатах не может быть и речи) – некоторая задержавшаяся дань романтическим условностям, горделивому одиночеству монструозных романтических героев. Да нет!

С первых же онегинских строф – отсутствие романтической патетики, сталактитов романтического вымысла. Почему же Онегин – один? Мне показалось, что подобно тому, как Татьяна останется для Пушкина вечной Лариной (я уже как-то вам писала о ларах, о корнях, о том, чтоб не замутить сокровенный смысл фамилии Татьяны, появляется князь N). Что же, не мог подобрать Пушкин своей любимице достойную партию среди знаменитых фамилий – вон только звучных имен героев 12-го года сколько.

Нет, останется для Пушкина и для нас Татьяна Лариной. А Онегин? Я возвращаюсь к тому, о чем уже было говорено в нашей переписке. Может быть, не менее сокровенная пушкинская нега, окутанная, словно в раму упрятанная фамилия героя, побудила Александра Сергеевича отмахнуться, не делиться, не разбавлять ее на предков, на родичей.

Онегин – один. И Татьяна – одна. Какое схожее несходство или же наоборот. Как много в каждом Пушкина.

Вот такими мыслями сегодня, 6 июня, я захотела поделиться с Вами, дорогой Олег Иосифович, отложив на недолгое время домашние хлопоты и «увлекательное» чтение дипломных записок.

Валентина Голубовская»

«Дорогая Валентина Степановна!

Хорош же этот наш Голубовский, доставивший письмо от 6 июня… 10 августа! Представьте себе, что такому поручат разносить наши пенсии. Пушкин, между прочим, успел за это время вернуться «с саранчи», затеять полемический дебош и оказаться (по-моему, уже 9 августа) в Михайловском. Подозреваю, что Е. М. большой ревнивец (?). И у него к тому есть все основания. Не так давно видел Ваши с ним любительские фото, вероятно, хрущевского сезона, и какой кураж был в Ваших взорах! Помню такой же прищур фотоэтюда с Ксаной Добролюбской – в такие «лица в простой оправе» влюбляешься с первого взгляда. У меня в книжке есть метафора, лучше которой и не найду. Там речь идет о случайной знакомой, которую замечаешь вдруг – «когда вся она – вспыхнувший светофор», а так стоишь, переминаешься с ноги на ногу, не понимаешь, возможно ли встречное движение.

Читая Вас, сразу же возрадовался первой же пушкинской (бытописательской) цитате, очень для меня значимой. Тут же совершенно прозрачная параллель энергичного движения в Северной и Южной Пальмире: в СПб. – встает, идет, тянется, спешит; в Од. – «идет купец взглянуть на флаги», «сошлися два купца» и пр. Но самое симпатичное – «с кувшином Охтенка спешит». Логично, вроде бы, что в кувшине – молоко, либо что-нибудь кисломолочное. А если поразмышлять, то и не получается молока: сколько (и – на сколько) его в том кувшине?! Бессмысленное занятие. Ответ отыскался у Гоголя, который просто-напросто развернул лаконичную пушкинскую цитату в «Невский проспект» (так что А. С. дарил его идеями не только «Ревизора» и «Мертвых душ»). Раскатав упомянутую «бытовую динамику» на три-четыре десятка страниц, Н. В. не забыл и «мальчишек в пестрядевых халатах, с *пустыми штофами*». Вот, оказывается, в чем дело: Охтенка *похмеляется*! Стоимость «стекла» была довольно велика – полштофная пустая бутылка стоила не менее 5 коп. серебром.

Стоимость «питей» – того же порядка. Поэтому покупщики пользовались многоразовыми штофами, кувшинами, графинами. Если бы А. С. спроецировал эту ситуацию на Одессу, то, вероятно, получилось бы, что похмеляется Молдаванка.

Ваши версии о «сиротстве» Онегина, мне кажется, попадание в десятку. Семья – и родительская, и собственная, – была просто-таки какой-то трофической язвой для Пушкина. Я как-то цитировал совершенно объективную и беспристрастную Е.П. Янькову, очерчивавшую детскую беспризорность маленького Александра – нескладного замарашки и увальня. Тут, конечно, не без дедушки Фрейда, но больше со стороны равнодушных ханжей-родителей. А потому ему всю жизнь пришлось доказывать всему миру, что он блестящий кавалер, самый галантный танцор, отменный наездник, дуэлянт, игрок и др., и пр. Всю жизнь выяснял финансовые отношения – с родителями, потом с Павлищевым и Левушкой, не говоря уже о кредиторах. Все верно: покой (и нега) нам только снится. Пушкин вообще никогда не распространялся о своих семейных проблемах и меньше всего желал впрыскивать их в живое тело романа. Впрочем, жизненная программа его – вот что меня разочаровывает. Ведь, кажется, научен «трудным детством», так нет же, подавай ему не просто жену, а корову-рекордистку, самую-самую, такого себе ротвейлера «новых русских» (может, я здесь что-нибудь соврал, так как плохо разбираюсь в песьих породах). Сам же себя загнал в угол (пятый?), из которого выбрался как бы православной формой самоубийства – дуэлью. Вот что меня во всей этой истории разочаровывает. Не финальная тупиковая ситуация, а именно

какой-то купеческий выбор подруги жизни, изначально имевшей вид романтической героини (Татьяны Лариной?). Не хочу сказать, что он выбирал как барышник, нет, Гончарова – бесприданница. Но гениально тонко чувствующий человек, мечтающий о покое и неге, живущий в последний раз, выбирает *формально*. Вот это меня опечаливает. Пушкин был исключительно, абсолютно одиноким – Вы правы! Но… где та другая одиночка, вторая половина одиночества? А. С., получается, прогнозировал в «Онегине» свою судьбу – не быть ему с Татьяной! Снова что-то фрейдовское, попахивающее мазохизмом.

Грустно все это, дорогая Валя. Радостно зато, что вас я люблю даже больше, чем Пушкина.

Ваш Губарь»

Сокровища из сокровищницы

310 Татьяна Щурова
«…Мне был праздник дарован…»

Татьяна Щурова

«...Мне был праздник дарован...»

Марина Дмитревская (слева) в отделе искусств ОННБ с сотрудницей отдела Эммой Бойко. Март 2010 г.

Обычно для нашей рубрики мы выбираем из фондов ОННБ редкие периодические и книжные издания двух предыдущих веков, уже действительно ставшие сокровищами и библиографической редкостью. Но не будем обижать век нынешний. За два минувших десятилетия случилось много незабываемых встреч, радостного общения с удивительными людьми и их талантливыми книгами, сокровищами наших дней.

Окунемся в воспоминания 2010 года. На конференции в ОНМА имени А.В. Неждановой «200 лет театральной жизни в Одессе» впервые довелось услышать блестящее профессиональное выступление Марины Дмитревской. Тогда же мы познакомили ее с нашим отделом искусств и коллекцией редких изданий по истории театра. Искреннее ее восхищение было понятно. Марина Юрьевна Дмитревская – известный театральный критик и театровед, профессор, создатель, редактор и директор «Петербургского театрального журнала» (входит в пятерку лучших театральных изданий Европы); с 2004 года арт-директор фестиваля «Пять вечеров» имени Александра Володина. Тогда же она подарила нам несколько номеров журнала, а вскоре, воспользовавшись приездом

на фестиваль артистов Одесского русского драматического театра, передала с ними большую коробку, где помимо журналов были еще ее авторские книги: «Театр Резо Габриадзе» (2005) и сборники воспоминаний «О Володине» (составитель М. Дмитревская, 2006, 2007), вышедшие в серии «Библиотека ПТЖ».

Что сказать? Первым было чувство благодарности автору за выбор героев книг, людей много одаренных, сумевших, по большому счету, быть свободными и независимыми от системы, занимавшими в наших душах несколько десятилетий большое и особое место. Марина Юрьевна признается, что писала свои книги «с ощущением счастья» и, нужно сказать, сумела передать это состояние читателям.

Резо Габриадзе, драматург, режиссер, художник и скульптор, известен как сценарист более 35 фильмов (!), среди которых «Не горюй!», «Мимино», «Чудаки», «Кин-дза-дза!», «Паспорт». В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток, который очень быстро завоевал популярность. Впервые в Одессу Габриадзе привез свои театральные работы в апреле 1988 года. Мы сохраняем программки спектаклей и вырезки из газеты «Вечерняя Одесса» с публикациями Евгения Голубовского – интервью с режиссером и рецензией, где он, в частности, писал: «Давно ждали любители искусства Одессы встречи с этим человеком и с созданным им театром. Ожидания сбылись и убедили: здесь каждый спектакль – праздник, нежный, мягкий, немного грустный, но всегда необыкновенно человечный…». Очень быстро Резо Габриадзе стал своим в нашем городе. Одесса не раз принимала его театр марионеток.

1 апреля 1995 года в Саду скульптур во дворе Одесского литературного музея был открыт «Памятник всемирно известному герою одесских анекдотов Рабиновичу» работы Габриадзе, положивший начало галерее

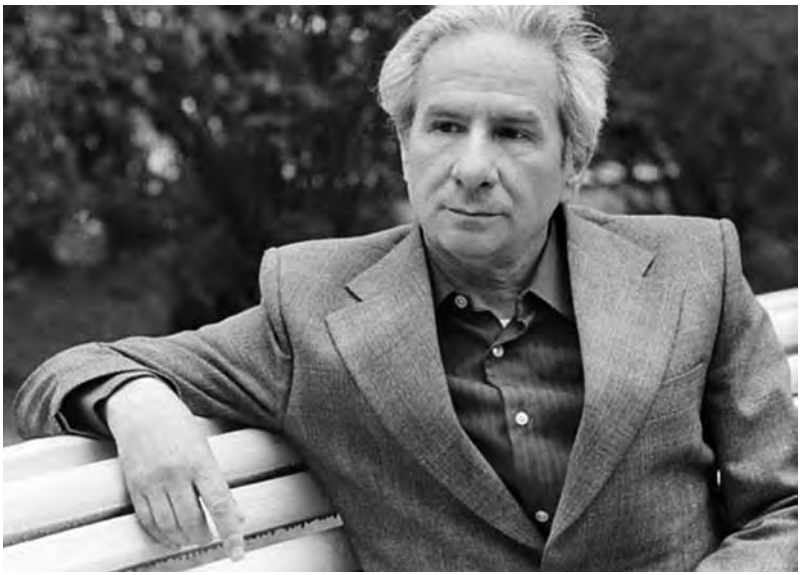
шуточных бронзовых изваяний. Кто-то, наверно, помнит выставку его графики «Пушкин и дельфин» в Одесском музее западного и восточного искусства (1995). В том же году Габриадзе стал почетным членом Всемирного клуба одесситов.

В книге Дмитревской о Габриадзе подзаголовок: «История тбилисских марионеток и беседы с Резо Габриадзе о куклах, жизни и любви». Они дружат много лет. С 1992 по 1996 гг. в журнале существовала рубрика «Театр Резо Габриадзе». Это были сложные годы в жизни мастера. Он уезжал в Европу, ставил там спектакли, вернулся, на короткое время возглавил Театр Образцова (трагическая ошибка, как все считают). В эти годы они с Мариной Дмитревской переписывались, при встречах вели долгие разговоры, она писала о его работах. Так постепенно собиралась эта необыкновенная книга, наполненная множеством рисунков – не про-

Памятник Рабиновичу в Саду скульптур Одесского литературного музея

думанных, моментально рожденных. Они помогают войти в атмосферу рассказов Резо, сочетающих фантазию и воспоминания, рассказанных с улыбкой и грустью, в них трогательное признание в любви людям из детства. А не так давно мы убедились, как замечательно дополняет книгу о Резо Габриадзе анимационно-художественный фильм «Знаешь, мама, где я был?» (2018), сделанный сыном мастера Леваном с равным участием самого Резо, в кадре рассказывающего свои удивительные истории и тут же иллюстрирующего их. Книга и фильм сохраняют неповторимую живую речь Габриадзе. А с каким тонким пониманием описывает автор книги суть его творчества:

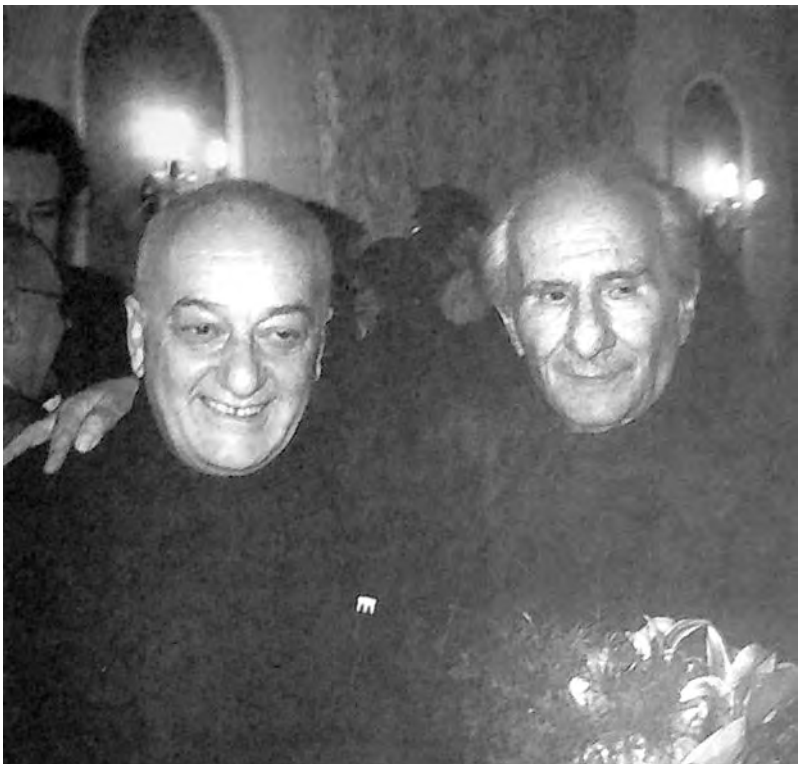
Э. Штейнберг, Е. Голубовский, Г. Исаев, В. Хаит, Р. Габриадзе на открытии памятника Рабиновичу. 1 апреля 1995 г.



Александр Володин

«Уникальность искусства Резо, лечившего своими спектаклями наш эмоциональный склероз, реанимировавшего истощенные будни, составляла редкая способность помнить минутные впечатления… и будить в нас заснувшую память на микроощущения жизни, детства…». И еще: «Внедряться в жизнь, наслаждаться ею, мять ее, как глину; затрачиваться на нее – и тогда она ответит тебе тем же, вернет сторицей освоенное – в этом долгие годы была суть этически-эстетических отношений Резо Габриадзе с действительностью».

Марине Дмитревской повезло быть близким другом Александра Володина (1919-2001). Уверены, многие знают творчество этого удивительно талантливого, «пронзительного» драматурга, сценариста, поэта, прозаика и не забыли спектакли и фильмы, поставленные по его произведениям, которые, как считается, «были новой точкой отсчета правды на сцене и на экране. С него началась новая интонация…». Согласитесь, вы до сих пор помните «Фокусника», «Слезы капали», «Старшую сестру», «С любимыми не расставайтесь», «Пять вечеров», «Осенний ма-



Р. Габриадзе и А. Володин на церемонии вручения «Золотой маски». 1997 г.

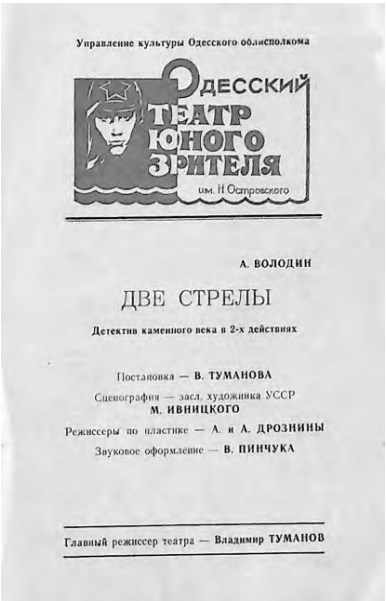
рафон», «Ящерицу», «Две стрелы». Жаль, что его пьесы почти не шли на одесской сцене. Пожалуй, исключение составил спектакль «Две стрелы» в Одесском театре юного зрителя, поставленный в начале 1980-х годов талантливым режиссером Владимиром Тумановым и оформленным Михаилом Борисовичем Ивницким.

Когда Володина не стало, все чаще произносилась фраза: «Ушел последний свободный человек». Марина Дмитревская поняла, что постепенно память о нем будет выветриваться, уйдет то, что помнилось, пока он был жив. И она сумела собрать две книги воспоминаний о Володине, куда, в частности, вошли тексты

А. Володин. Рисунок и скульптура Р. Габриадзе

известных людей театра, кино, литературы, с которыми он работал и дружил. Вторая книга, кстати, оформлена рисунками Резо Габриадзе. В одном из интервью Володин сказал: «Все, что я делал в жизни, – я писал про земное, но обязательно с внутренним ощу-

щением чего-то высшего…». Он искренне писал и о себе. М. Дмитревская считает, что он «бесстрашно обнародовал и сделал достоянием искусства две свои личные драмы: «Осенний марафон», фильм на все времена, воплотил его «горестную жизнь плута», а «Записки нетрезвого человека» в традициях русской литературы узаконили идеологию пьянства как освобождения». В книгах много замечательных слов о нем, хочется привести несколько цитат и текст выступления Михаила Жванецкого на презентации одной из книг Александра Володина.


Управление культуры Одесского облисполкома

ОДЕССКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ им. Н. Островского

А. ВОЛОДИН

ДВЕ СТРЕЛЫ

Детектив каменного века в 2-х действиях

Постановка — В. ТУМАНОВА

Сценография — засл. художника УССР М. ИВНИЦКОГО

Режиссеры по пластике — А. и А. ДРОЗИНЫ

Звуковое оформление — В. ПИНЧУКА

Главный режиссер театра — Владимир ТУМАНОВ

А. Володин с Р. Габриадзе и его женой Еленой Захаровной на церемонии вручения «Золотой маски». 1997 г.

– Потому что знает точно то, о чем тоскуем мы… (Булат Окуджава).

– Человеческая истинность. Сейчас мало людей с такой способностью к сомнению, к самоиронии, хотя их всегда были единицы… (Галина Волчек).

– Он не верил в дарованные сверху свободы, потому что знал, что истинная свобода завоевывается каждым внутри себя… (Сергей Коковкин).

– В нем такая независимость была от жизни, от возраста, от нашей системы. Высшая степень искренности… Поражало его стеснительное отношение к своему творчеству и абсолютное восхищение другими художниками, превознесение талантов коллег… (Станислав Любшин).

– В тихом и очень застенчивом человеке – настоящая бойцовская душа. Всегда собственная, личная позиция… (Кирилл Лавров).

Михаил Жванецкий

Володину

Александр Моисеевич Володин.

Твои попытки жить незаметно ни к чему не привели.

Ты живешь и будешь жить очень незаметно.

Ты населил наши души старшей сестрой и осенним марафоном.

Если интеллигенции не станет, ее будут изучать по тебе.

Это он, это ты, это я.

Облепленный беспомощными женщинами и беспомощной страной.

Эта страна была беспомощной раньше, вместе со всеми своими танками, и потом, без всех своих танков.

Бедные и нерешительные облепили одного такого же бедного и нерешительного, которому что-то дал Бог.

И он волок на себе всю жизнь.

Неумение сказать «нет» приводит к такому количеству детей, друзей и сослуживцев, что только врач может освободить либо тебя, либо их.

Эта фотография сделана в Концертном зале у Финляндского вокзала
на презентации книжки А. Володина «Попытка покаяния», где М. Жванецкий произнес этот текст

Всю жизнь думаешь, как это все собрать, в конце мучаешься, как это все раздарить.

Александр Моисеевич!

Мы сделали главное – мы дожили до перемен и пережили их.

Но новая жизнь не может наступить.

Ей мешают лица.

Лица, которые мы видим.

Саша! Что смешно – это то, что ты делаешь все, чтобы тебя забыли.

А они не могут – и всё!
Лекарство можно забыть принять, но что будет?!
А кто-то хочет, чтоб его помнили.
А его, его видят и не вспоминают.
Какое открытие ты совершил в «Осеннем марафоне»!
Ты описал себя, а открыл нас.
Каждый увидел.
Каждый принял.
Это величайшая комедия нашего века.
Это открыл ты.
Теперь делай все, чтоб тебя забыли.
А мы не захотим, и будет великий судебный процесс.
Народ России против Александра Володина.

Тексты воспоминаний в этих сборниках органично перемежаются стихотворениями Володина, раскрывая и дополняя представление о личности этого неповторимого человека и творца.

* * *

Надо следить за своим лицом,
чтоб никто не застал врасплох,
чтоб не понял никто, как плох,
чтоб никто не узнал о том.
Стыдно с таким лицом весной.
Грешно, когда небеса сини,
белые ночи стоят стеной –
белые ночи, черные дни.
Скошенное – виноват!
Мрачное – не уследил!
Я бы другое взял напрокат,
я не снимая его б носил,
я никогда не смотрел бы вниз,
скинул бы переживаний груз.
Вы оптимисты? И я оптимист.
Вы веселитесь? И я веселюсь.

* * *

Ты осветила все, что было прежде,
задолго до тебя,
таким весенним,
таким широким светом!
И при свете,
как в позабытом школьном сочиненье,
рассеянно исправила ошибки:
уступчивость мою – на Доброту,
неправоту мою – на Правоту…
Погасишь свет – и станет так темно!
И все ошибки – на своих местах.

* * *

А легко ль переносить,
сдерживать себя, крепиться,
постепенно научиться
в непроглядном рабстве жить?
И навеки кротким стать,
чтоб не выйти из терпенья,
угасая постепенно,
и смиряться, и прощать?
Мол, дотерпим до зимы…
Проползли ее метели.
Так до лета неужели
как-то не дотерпим мы?
А потом до той зимы…
А случится, и до лета,
ну, случится, до тюрьмы
(где-то в смысле шутки это).
И не то перетерпели!
Ведь не мы одни. Теперь
терпят все – и те и эти,
но доколе так терпеть и
сколько можно так терпеть!
Мол, дотерпим до зимы…
Проползли ее метели.
Так до лета неужели
как-то не дотерпим мы?..

* * *

Погода, плохая погода,
неуравновешенный век.
Мы вниз опускались полгода,
а где же полгода, чтоб вверх?

Запросы покорно понизив,
согласны на осень, на снег…

На разные беды – полжизни.
А где же полжизни на смех?

* * *

Нас времена всё били, били,
и способы различны были.
Тридцатые. Парадный срам.
Тех посадили, тех забрили,
загнали в камеры казарм.

Потом война. Сороковые.
Убитые остались там,
а мы, пока еще живые,
все допиваем фронтовые
навек законные сто грамм.

Потом надежд наивных эра,
шестидесятые года.
Опять глупцы, как пионеры,
нельзя и вспомнить без стыда…

Все заново! На пепелище!
Все, что доселе было, – прах:
вожди, одни другого чище,
хапуга тот, другой, что взыщешь,
едва держался на ногах…

* * *

Необходимо ль твердым быть?
Необходимо ль честным слыть,
прекрасно ль голову сложить,
неправоту разоблачая?
Не знаю.

Время беспощадно, но
есть у него одно бесспор-
ное свойство, оно
облагораживает. Сколько
раз мы наслаждались
чем то ничтожным,
палкой, табуреткой
покрытой патиной
времени. Но когда
оно коснется того что
изначально было рождено
благородным, мы замолкаем
как перед совершенным,
нужным как воздух. Мне кажется,
что Володин и все что он создал
навсегда останутся с нами.
Наиболее благородным является
соразмерность. Но им владеют
только избранные.
Володин-драматург владел им
в совершенстве
Потому он всегда будет жить
в театре.

Резо Габриадзе

И надо ли, меня прости,
другим прокладывать пути,
чтоб было проще им идти,
когда в душе дыра сквозная
и самому невмоготу
преодолеть дорогу ту?
Не знаю.

* * *

Правда почему-то потом торжествует.
Почему-то торжествует.
Почему-то потом.
Почему-то торжествует правда.
Правда, потом.
Но обязательно торжествует.
Людям она почему-то нужна.
Хотя бы потом…
Почему-то потом!

* * *

Свой крест все тяжелей нести.
А память свод грехов листает.
Жизнь прожита почти…
Почти!
Вперед вгляжусь – а там светает.

* * *

Так неспокойно на душе.
Умнее быть, твержу, умнее!
Добрее быть, твержу, добрее!
Но мало времени уже.

Марина Дмитревская не бросает своих героев. В 2019 г. вышла ее новая книга о Резо Габриадзе. Кстати, в июне нынешнего года ему исполняется 85 лет. С 2004 г. усилиями небольшой группы энтузиастов во главе с М.Ю. Дмитревской регулярно организуется и проходит театральный фестиваль «Пять вечеров» имени Александра Володина. А Резо Габриадзе отлил в бронзе миниатюрную фигурку Александра Моисеевича, подарив ее фестивалю…

Путешествие

328 Владислав Кураш
Русалочка

Владислав Кураш

Русалочка

Согласно старинной легенде, Русалочка вместе со своей сестрой удрала из родительского дома. Сестра поплыла к берегам Эресунна. О дальнейшей ее судьбе в одной из своих сказок написал Ганс Христиан Андерсен. А Русалочка поплыла к берегам Гданьского залива и оказалась в Висле.

Плавая по Висле, она волновала воду и пугала рыб. Рыбаки из небольшой прибрежной деревушки выловили ее и хотели убить. Но когда Русалочка запела, очарованные чудесным голосом рыбаки отпустили ее. В благодарность за это Русалочка осталась там жить и по вечерам радовала рыбаков своим пением.

Однажды Русалочка выплыла на берег и предсказала рыбаку Варсе, что он вместе со своей женой Савой построит большой красивый город. Ее слова оказались пророческими. Вскоре на месте деревушки выросла Варшава. Русалочка прожила триста лет, умерла и превратилась в речную пену. Горожане пожелали увековечить память о Русалочке и поместили ее изображение на герб города. Так Русалочка стала символом Варшавы.

Многие выдающиеся скульпторы и живописцы в своем творчестве обращались к этому сказочному образу. Не остался равнодушным к Русалочке и Пабло Пикассо. В 1948 году, когда он гостил в Варшаве, на стене одной из квартир городского новостроя углем нарисовал свою Русалочку. Традиционно Русалочка изображалась с мечом и щитом. Русалочка Пикассо была с молотком и символизировала отстраивающуюся, поднимающуюся из руин и пепла, возрождающуюся послевоенную Варшаву.

Рисунок Пикассо сразу же стал знаменитым. И тем самым сделал невыносимой жизнь новоселов, получивших эту квартиру. Тысячи ценителей великого мастера ринулись туда, чтобы увидеть его творение.

В конце концов жильцам этой квартиры удалось уговорить городские власти дать разрешение закрасить стену со знаменитым рисунком. Так в 1953 году «Русалочка» Пикассо была уничтожена. Но в 2019-м благодаря стараниям культурной общественности рисунок был восстановлен на первоначальном месте. «Русалочка» Пикассо снова увидела свет.

Когда мы с Марленой приехали в Варшаву, первым делом я хотел посмотреть на знаменитую «Русалочку» Пикассо. Даже Рембрандт, чьи картины экспонировались в Королевском замке, меня не так волновал, как Пикассо. Благодаря Интернету найти адрес квартиры, в которой была нарисована «Русалочка», не составило особого труда.

Мы бросили сумки в отеле и на своем стареньком «мустанге» отправились туда. Но там меня ожидало невыразимое разочарование. Нам не удалось попасть в квартиру с изображением. Оказалось, что все визиты к «Русалочке» нужно согласовывать с городскими властями. От досады хотелось рвать и метать.

Я вспомнил, что в Варшаве есть еще одно изображение «Русалочки» Пикассо, копия знаменитого рисунка на фасаде дома, где жила семья варшавских архитекторов, у которых в 1948 году гостил Пикассо. Ничего не оставалось. Мы поехали туда.

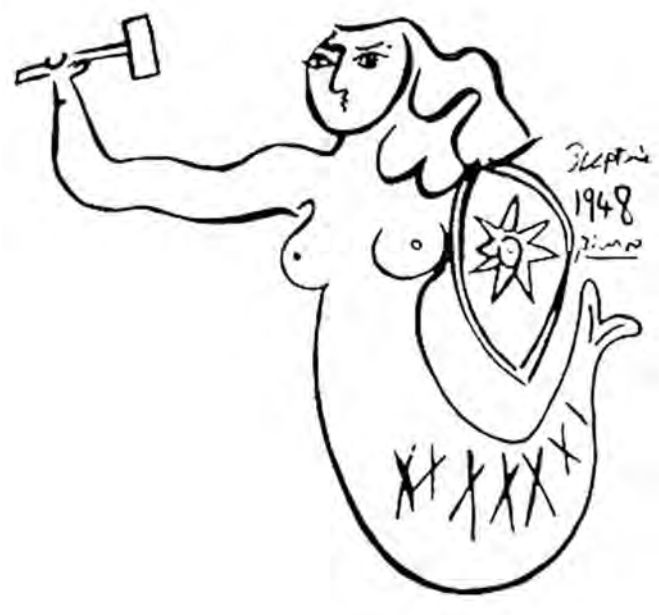
Уже было поздно. Начинало смеркаться. Мы сделали несколько снимков. Постояли немного возле дома, рассматривая «Русалочку» Пикассо. Потом сели в свой «мустанг» и поехали назад в отель.

Приехав в отель, мы заказали ужин и пару бутылок виски. Приняли ванную, поужинали и с виски развалились в креслах перед телевизором. Марлена нашла какой-то интересный фильм, и мы весь вечер просидели у телека, пока Марлена не уснула.

Весь вечер меня не покидали мысли о «Русалочке» Пикассо. Весь вечер они крутились у меня в голове и не давали мне покоя. Когда Марлена уснула, я перенес ее в постель, а сам, вместо того чтобы лечь рядом и уснуть, пошел к письменному столу. Мне ужасно хотелось нарисовать свою Русалочку.

Нашлось несколько листов бумаги и шариковая ручка. Я открыл в телефоне фотографию Русалочки и сел за стол. На первый набросок у меня ушло около получаса. Это была детальная копия «Русалочки» Пикассо, очень похожая на оригинал.

Второй набросок занял чуть больше времени. От первого он отличался тем, что в руке вместо молотка Русалочка держала гусиное перо, символизировавшее нелегкое писательское ремесло.



«Русалочка» Пабло Пикассо. Копия на фасаде дома, где гостил автор

Идея была неожиданной и показалась мне очень оригинальной. Я был доволен своей «Русалочкой». Теперь мне нужны были карандаши и краски.

С мыслями о Русалочке я пошел в постель. Ночью мне снова снились кошмары. Я практически не спал. И наутро у меня разболелась голова. Ужасно хотелось выпить, но я удержался. У нас была назначена встреча с сестрой Дамьяна, а она жила где-то за городом, поэтому к ней нужно было ехать на машине.

Душ и несколько таблеток обезболивающего сделали свое дело. После завтрака мы поехали к сестре Дамьяна. Как Дамьян и обещал, она отдала нам долю Марлены, удержав лишь комиссионные за хранение. Деньги были очень даже кстати, потому что мои уже начинали заканчиваться.

Забрав сумку с деньгами, мы вернулись в отель, пообедали, а потом устроили небольшой шопинг. Заодно я купил краски и все необходимые принадлежности для рисования. Рембрандта мы решили перенести на следующий день.

Шопинг затянулся до самого вечера. А вечером, когда Марлена легла спать, я пошел к письменному столу. Целый день Русалочка не давала мне покоя, и я никак не мог дождаться этого момента.

До самого утра просидел я над своей «Русалочкой», и только когда уже начало светать, рисунок был готов. Оставив его сохнуть на столе, с чувством огромнейшего удовлетворения я уснул. Вот так появилась на свет моя никому не известная «Русалочка».

Ах, Одесса

334 Елена Палашек
О братьях наших меньших

342 Влада Дизик
Дух сосиски

347 Эдвиг Арзунян
Мальчишеские сражения

355 Григорий Барац
Четыре времени жизни

Елена Палашек

О братьях наших меньших

Выбор бумера

Во мне и в моей хозяйке так много любви, что мы просто ее вдыхаем и выдыхаем вместо кислорода и углекислого газа.

Это я сейчас такой грамотный и знаю, кто и чем дышит, потому что хозяйка – настоящий, но необычный профессор медицины. Она часто по телефону рассказывает, как и чего делать, чтоб не болеть, а еще тренирует своих пациентов ходить с палками. Я люблю сопровождать ее на тренировках, слушать рассказы, рассматривать самую совершенную фигуру на свете и нежные мягкие ладони, запах которых не могу сравнить ни с чем. Длинные пальцы умеют так почесать за ухом, что я чуть сознание не теряю от удовольствия.

Наши отношения сразу не сложились идеально, но сейчас я самый счастливый пес на свете: у меня красивенный красный ошейник вместо веревки, и никто меня не сажает на цепь.

Я не могу сказать, что мой бывший хозяин плохой человек, очень даже хороший, просто раздражительный. Иногда он со всего размаха бил меня по голове так, что глаза выскочить хотели. Говорят, что шрамы украшают кобелей, но я предпочел бы, чтоб меня ими не украшали. Но самое страшное, что он мне хвост отрезал, или, как это называют двуногие, купировал. Об этом я тоже узнал от моего профессора. Ну несправедливо у собак этим словом называть процесс обрубки хвоста, а у людей – прерывание острого приступа болезни. Как люди не понимают, что отрезать собаке хвост – это все равно что отрезать человеку язык. Хотя с помощью хвоста четвероногие умеют рассказать куда больше, чем двуногие языком. Кстати, если собака – сучка, то она может

вместо хвоста хотя бы попой вилять. Но кобелю это не комильфо. Это словечко я перенял у одной из гламурных сук.

Мой бывший хозяин меня не выбирал, меня выбрала его жена. Она была очень больна, у нее внутри завелся какой-то рак, наверное, один из тех, что любят кушать мои сожители и их гости, и даже меня угостить пытались. Хорошо я отказался, потому что один из раков грыз хозяйку изнутри. Когда я лизал руки этой маленькой хрупкой женщины, а она трепала мою холку, мне хотелось тоже попасть вовнутрь и загрызть этого рака.

Но пришел тот день, когда она ушла навсегда, а я стал ненавидеть всех раков на свете.

Мой бывший благодетель тоже горевал и заливал свою скорбь пивом. Как-то он купил целый ящик и пригласил любителей этого странного напитка, пахнущего, как прокисший хлеб. Фу, ни за что не стал бы пить такую гадость.

Друзья принесли два огромных пакета раков. Их высыпали в синий таз, в тот самый, куда мою умирающую хозяйку в последние дни выворачивало грязно-зеленой смесью, прямо под цвет раков, и поставили за угол дома, чтобы спрятать от солнца. Но я не солнце, я их нашел и ни одного не оставил в живых.

Впервые я получил не кулаком по голове, а цепью по спине. Хозяин меня избивал, пока не удалось вырваться.

Я выскочил за ворота и увидел приоткрытую калитку одного из соседних домов. Я тихо лежал всю ночь за гаражом в чужом дворе. Спина болела, и хотелось скулить от боли, но язык онемел от страха, что хозяин найдет меня.

Утром во двор въехала дама на красивой машине. Она была слишком высокая для этой маленькой будки, поэтому выползала из нее, как одна моя знакомая сука из конуры. Таких длинноногих людей, как она, я не видел никогда. Прихрамывая, я отважился к ней подойти. И чудо случилось. Она, сложив пополам свои ноги, начала меня гладить. Мне было больно, но она не видела синяков под шерстью, а я терпел, чтоб ее не обидеть.

Потом она встала и сказала так просто, как будто мы были знакомы тысячу лет:

– Как ты здесь оказался, сосед? Ты, наверное, голодный и пить хочешь. Пойдем со мной.

На этом волшебство закончилось.

Она отвела меня к хозяину.

Я снова получил кулаком, как только эта красавица ушла. Не пойму, почему свое раздражение двуногие всегда вымещают на тех, кто или слабее, или деликатнее.

В этот момент я понял, что больше так жить не хочу. В конце концов, если люди могут выбирать себе собак, значит, и собаки имеют право выбирать себе человека. И я выбрал эту женщину с огромными умными добрыми глазами.

Три дня я сидел день и ночь возле калитки ее дома. И наконец она приехала. Мы поздоровались, как старинные знакомые. Хотя как два серьезных, так и хочется сказать – человека, эмоции скрыли внутри.

Красавица меня впустила во двор, и я провел с ней полдня. А потом она собралась уезжать и попросила выйти на улицу.

Вечером хозяин промахнулся и ударил со всего размаха по носу. Это было не только больно, но и унизительно.

Я стал жить на улице у калитки соседнего дома, ожидая приезда своей избранницы. Она появлялась то через день, то через два, то через три. Приходилось иногда заглядывать к извергу, чтобы покушать, попить воды и получить порцию тумаков.

Однажды, когда красавица уезжала, мне удалось остаться в ее дворе – сначала выбежал с нею, а потом, когда она отвлеклась, метнулся назад. Я готов был даже умереть, лишь бы моя царевна поняла, что я выбрал ее. Через четыре дня, когда она открывала калитку, у меня еле хватило сил выйти навстречу. Меня поддерживала уверенность, что до моей любимицы дошло: я уже никогда не вернусь к живодеру. Простите за это слово, так много обид накопилось, что иного не нашел.

А потом случилось чудо – моя уже хозяйка стала жить в доме постоянно и никуда не уезжала. Спасибо какому-то коронавирусу, который она ругала, а я полюбил.

Всю весну и лето мы жили душа в душу. Часами гуляли, исследуя берег Хаджибейского лимана. Мне хотелось кричать: представляете, мир – это не только двор моего хозяина, который, кстати, нелегко смирился с моим уходом. Как-то он явился к нам со словами:

– Предатель! Я лучше себе попугая заведу.

Я считаю, что ему как бывшему моряку попугай подойдет, только переживаю, выдержит ли бедная птица удар в лоб. Ну если выживет, мы его в наш дом заберем. Понимаете, именно в наш! Мне разрешили ночевать не на улице.

Когда я впервые зашел в прихожую и увидел свое отражение в зеркале, я понял, что в моих глазах больше нет страха.

Моя влюбленность переросла в настоящую любовь. Я не мог без моей ненаглядной хозяйки уже ни минуты. И когда она в очередной раз села в машину и поехала по своим делам, я понял, что умру уже через час после начала разлуки.

Я бежал за машиной долго-долго, силы были на исходе, но любовь подарила второе дыхание, потом третье.

И вот машина остановилось, и мой ангел, моя длинноногая богиня вышла со словами:

– Дурачок, что же ты делаешь? А ну-ка, прыгай в машину.

Эх, если б у меня был хвост вместо обрубка, я бы так рассказал о своей радости!

С тех пор мы не расстаемся. Я сопровождаю хозяйку на работу, на тренировки, кстати, она тренирует других с палками, которых я уже не боюсь, и радуюсь, что они не в руках у бывшего тирана. Я хожу с ней на выставки, в гости к ее друзьям. И так приятно, когда все говорят: «Какая воспитанная собака!».

Передайте всем четвероногим на свете: не бойтесь выбирать людей сами, и тогда мир станет добрым по отношению к вам.

Ну вот, вроде и все, о чем хотел рассказать.

Хотя нет, хочу сказать людям: не бойтесь выбирать тоже, и тогда мир станет добрым по отношению к вам.

Кешбэк

А знаете, что собаки воют только на вдохе, а что моя хозяйка по кличке Мила – тоже собака, и по гороскопу, и в жизни.

Она красива и любвеобильна, как моя мама, которую я хорошо помню с того момента, как она вылизала меня и съела мой послед. Нас в помете было семеро, и всем хватало шершавых ласк

ее языка. Но как же мне хотелось, чтоб я был один у мамы, чтоб ее язык принадлежал только мне!

Увы, хозяйка любит не только меня. Легко терпеть ее постоянные мимишки по отношению к маленькому наглому волнистому попугаю и к грациозной длиннолапой бесшерстной кошке, чьи многочисленные складки на коже прикольно вылизывать (иногда бывает настроение).

А вот ее любовь к мужчинам – это совсем другое дело. Три бывших мужа были противными и наглыми, как чихуахуа, питбуль и ризеншнауцер из соседних подъездов, и называли ее: «Моя кицюня». Ну какая она им кицюня? Кицюням нужен обслуживающий персонал, как нашей, лишенной не только шерсти, но и совести. А хозяйка преданно служила им, как собака.

Одного сделала главным в своем бизнесе, а он сбежал к другой суке вместе с деньгами.

Второму воспитала щенка от первого брака и не побоялась его дружков, вечно воняющих наркотиками.

Третьего она называла «мой любимый альфонс». Я тогда узнал, что альфонсы сидят на шее, но я не видел, как он сидел на ее шее, видимо, при мне стеснялся, но все об этом говорили.

Ее наградой был я – абрикосовый красавчик той-пудель по кличке Кешбэк. Только не думайте, что хвастаюсь.

Имя досталось мне не случайно: в тот день, когда хозяйка меня купила за немалую сумму, поверьте, я того стоил, тут же нашла не без моей помощи в укромном месте за пианино пакетик с наличностью, заныканный первым муженьком. Если ее спрашивали о моем прозвище, она сначала вытягивала трубочкой губы, а потом причмокивала и загадочно улыбалась. В этот момент мне нестерпимо хотелось лизнуть ее прямо в лицо, о чем сообщал хвост, слава собачьему богу, не купированный. Я бы все лапы искусал всем придуркам, кто способен оттяпать уши и хвосты собакам.

Моя хозяйка никогда бы ничего мне не отрезала, потому что она умнее всех на свете, да и я тоже не промах. Не думайте, что хвастаюсь, но ума мне не занимать. Вот я с удовольствием выполняю все команды хозяйки, а ее мужья такой чести от меня никогда не дождутся.

Каждую ночь я устраиваюсь под боком у моей ненаглядной. Там я кряхчу и возмущаюсь, отодвигая лапами очередного кобеля

от ее мягкого тела, пахнущего ромашками, медом и дерьмом так сильно, как будто она только что качалась на траве.

Самый противный последний самец: вонючий, вечно потный, к тому же выше и толще кухонного комода чуть ли не в два раза. Мы прожили вместе больше четырех лет, а друг к другу так и не привыкли. Ни разу не дождавшись ласки от этого двуногого шкафа по кличке Сережа, я был даже изувечен этим паршивым псом.

Как-то он столкнул меня с кровати так резко, что я, пролетев метра два, неудачно приземлился. Я, конечно, матерый кобель, причем еще какой (об этом знает много сук, не подумайте, что хвастаюсь)! Но от боли орал как резаный. А потом страдал в ветбольнице целых две недели, причем больше всего из-за отсутствия хозяйки. Она приезжала ко мне каждый день, и мне хотелось у нее спросить только одно: выгнала ли она уже эту плешивую шавку, которую звала муженьком, и когда она меня заберет. Я не мог понять, какой вопрос для меня важнее, и объединил их в один.

И не напрасно я не любил это гигантское двуногое. Когда пришла беда, оно даже не отважилось лично покусать обидчика, а переуступило это мне.

Недавно к хозяйке понаехали гости. Я понимаю, что лето в Одессе проводить лучше всего, но нельзя же так наглеть, поэтому, встречая их, долго пытался объяснить, что это неправильно. Хозяйка почему-то попыталась закрыть мне пасть и скомандовала:

– Кешбэк, фу, на место!

Это самая глупая команда, которую я слышал. Мое место рядом с ней, поэтому я и так на месте. И я спокойно продолжил рассказывать о широкой душе моей хозяйки и о том, что родственники и приятели с ней не церемонятся и приезжают всегда без предупреждения пачками.

В этот раз тоже их понаехало много, и все не помещались в квартире. Мы их накормили и отвезли в загородный пансионат за две ходки.

А потом, чтобы сэкономить деньги гостей, я и моя красотуля каждое утро ездили туда через Привоз.

Ее двуногий шкаф тоже пристраивался с нами. Он был прожорливее, чем вечно голодные привозные дворняги, и совал себе в рот все подряд, делая вид, что собирается покупать эти

продукты. Но покупала-то хозяйка. И все же польза от него была, он таскал сумки, а я сидел на руках у моей любимицы.

В этот день солнце было очень противным с самого утра, оно как будто с цепи сорвалось и раскалило прилавки. Продавщицы стали недовольными и неуступчивыми. Мы делали закупки, а двуногий шкаф никак не мог наесться.

Даже в машине, пока я наслаждался самыми мягкими коленями, он жевал кровяную колбасу со сладким рогаликом, не думая, что мне тоже хочется, и, собирая крошки с живота, ворчал о том, что все гости сидят на нашей шее.

А хозяйка, как всегда, скромно молчала о том, что на ее шее сидят не только гости, но и он.

Когда приехали на место, я первым выскочил из машины и побежал метить территорию.

Двуногий шкаф лениво вытер руки и рот влажной салфеткой и отдал жене. Она улыбнулась и выбросила в урну.

Из подъезда появился первый встречающий, мелкий шустрый мальчик лет четырех, которого все звали Василий Петрович. Щенки в семье часто становятся самыми главными, по себе знаю, поэтому его величали по имени-отчеству.

– Кебеш, лядом, – скомандовал он и побежал в направлении детской площадки.

Все, что произошло дальше, помнится, как сон наяву, страшный-престрашный сон, и мне до сих пор хочется проснуться.

Из-за угла дома выскочили два огромных алабая и бросились вдогонку за малышом.

Хозяйка замахала руками и заорала:

– Василий Петрович! Стой! Нет! Не останавливайся! Беги в подъезд! Нет, лезь на горку!

Потом она толкнула своего мужа:

– Сделай что-нибудь…

И этот паршивый пес сделал… бросил пакеты на землю и засунул в машину свое огромное тело быстрей, чем обычно.

Я же бросился наперерез собакам. Мне удалось высоко подпрыгнуть и уцепиться за губу одного из страшилищ.

Тот взвизгнул так, что сработала сигнализация в машинах на стоянке.

Второй пришел на помощь, увы, не мне. Я почувствовал, как зубы впиваются в кожу, и трещат мои ребра. В это время хозяйка подхватила мальчика и побежала в подъезд.

Как только Василий Петрович оказался в безопасности, она метнулась к машине, выхватила оставшуюся колбасу из рук мужа и побежала спасать меня.

Колбаса отвлекла этих двух монстров, и они потеряли ко мне интерес, выплюнув, как кусок испорченного мяса.

Дышать было трудно. Впервые руки хозяйки делали больно, когда она прижимала меня к груди.

Наконец появился владелец зверюг. Он не счел нужным даже извиниться.

Нам с хозяйкой было не до него, она спешила в больницу. По дороге она нашептывала много нехороших слов о трех монстрах. Больше всего досталось владельцу. Оказывается, она его знает, и этот урод, зажравшийся депутат местного разлива, еще свое отгребет.

Я очнулся на холодном столе, когда мне делали рентген. Хозяйка просила меня не шевелиться. А я и не собирался, у меня все равно не было сил.

Врачи сказали, что надежды нет, что дело совсем плохо.

А я с первой минуты невыносимой боли понял, что моя смерть равносильна предательству. Я не хочу предавать свою хозяйку, я буду бороться за жизнь. Я выживу хотя бы для того, чтобы посмотреть, как двуногий шкаф, которому служит моя богиня так же преданно, как я ей, соберет свои вещи и уберется восвояси.

А я ему на прощанье скажу только одно…

Хотя зачем? Не подумайте, что я хвастаюсь, но я очень умный, и понимаю, что он все равно ничего никогда не поймет.

Влада Дизик

Дух сосиски

Надо накормить кота!

Безупречной чистоты,
Небывалой красоты
На диване кот лежал,
О сосисочке мечтал.

Он помахивал хвостом,
Размышлял о том, о сем.
Ухом медленно водил –
Звуки разные ловил.

Вот хозяин кран открыл,
Воду в мисочку налил.
Из кулечка хлеб достал.
Наш знакомый кот лежал.

Слышал, как отрезал хлеб
Этот странный человек –
Масло вынул, мазать стал.
Кот без дела не вставал.

Тут вдруг скрипнул целлофан,
А в ответ ему – диван:
Кот, как молния, мелькнул,
Миновал в полете стул.

У хозяйских ног сидит.
И усиленно урчит.
Жмурит хитрые глаза,
Часом потечет слеза.

Лапы рядом все сложил,
Сверху хвостиком прикрыл,
Мол, такой прилежный кот,
А он сосиску не дает!

Человек не устоял,
Целлофан скрипучий снял,
На кружочки накрошил
И хитрюгу угостил.

Кот управился за миг,
Только розовый язык
Щедро по усам гулял –
Дух сосиски собирал.

Мысль истории проста:
Надо накормить кота!
Даже если он не твой,
А тем более худой,
У витрины магазина
В летнюю жару и в зиму,
На скамейке, у ворот…
И счастливей станет кот!

А может, все наоборот,
И счастливей стал не кот?

Мы сверху все, наверно, муравьи

Мы сверху все, наверно, муравьи:
В похожей суете неразличимы.
И за мечтой парим неутомимо,
Порой не отрываясь от земли.
Но как печальна жизнь без мечты!

Мы все в любви, похоже, дураки.
Упорно можем ей сопротивляться.
Порой, не зная меры, добиваться,
Всей робости природной вопреки.
Но как печальна жизнь без любви!

Мы все из детства выросли давно,
В игрушки стали взрослые играться,
И, в чудесах успев засомневаться,
Себя не мним героями в кино.
Но как приятно в детство возвращаться!

Мы все стремимся в жизни преуспеть.
Не все, увы, умеют добиваться.
И не одно и то же: захотеть
И к цели неустанно продвигаться.
Но как печально даже не пытаться!

Мы в прошлое внимательно глядим,
Зарубками ошибки отмечая:
«Не ту любил! Осталась, но не с ним!»
Склонений сослагательных не знает
Заветный том, историей храним.
Но как печально, если опыт не спасает!

Мы все хотим попозже умереть
И прелестями жизни наслаждаться.
Ах, как не просто так прожить суметь,
Чтоб на исходе лет счастливым оставаться.
Побольше сил нам в жизни все успеть!

Он и Она

Он гулял, он кутил,
Вкусно ел, много пил
И о ней совершенно забыл.

А она все ждала,
Все догадки плела
И однажды почти умерла.

Он бродил по земле
И летал он во сне,
И зимою мечтал о весне.

А она без причуд,
Стол накрыв на сто блюд,
Все ждала, наплевав на весь люд.

Он любил, но не тех.
Он был легок на грех
И охотлив до сладких утех.

А она не могла,
Однолюбкой слыла
И любовью единой жила.

Он стал стар, он устал
От гитар, от сигар.
И однажды в пути он упал.

А она у окна
Все сидела без сна
И от горя сходила с ума.

А ему повезло,
И невзгодам назло
Жизнь его возвратила в седло.

И она дождалась:
Жизни всей ее страсть
На закате вступила во власть.

Жаль, что годы ушли,
И друг друга нашли,
Лишь когда к завершенью пришли.

Эдвиг Арзунян

Мальчишеские сражения

Стукалки. Одесская школа № 50 была на улице Конной, через дорогу от Нового базара. Причем это была задняя по отношению к центру города часть Нового базара, то есть те самые задворки базара, в которых собиралось больше всего всяких биндюжников, спикулей, воров, проституток и прочей базарной элиты – ведь это был 1946 год. Многие из них и жили где-то тут же.

Биндюжник – ломовой извозчик в Одессе и некоторых других южных городах России, от *биндюг* – «длинная большегрузная телега».*

Кстати, потому улица и называлась – Конная, что изначально была улицей биндюжников.

Среди моих соучеников оказалось немало детей этой базарной элиты, и они задавали в школе очень жестокий тон. А были ведь еще и дети с просто расшатанными нервами, которых коснулись ужасы войны. Среди всех их были и весьма положительные ребята, но это не мешало им иногда вспылить и проломить соседу по парте голову чернильницей.

А я был из того меньшинства детей, кому посчастливилось избежать особых душевных потрясений, связанных с войной. И нам, нормальным детям, было страшновато в этой жестокой атмосфере.

На Комсомольской было много развалок с сохранившимися двух-трехэтажными стенами, кусками этажей и лестниц. На остатке стены, глядящем на улицу, обязательно была надпись какого-нибудь цвета краской: «Проверено – мин нет!». Эти надписи

* Викисловарь, «биндюжник», «биндюг».

советских саперов появились в первый же месяц после освобождения города от оккупантов.

В одной из этих развалок мы, пацаны, регулярно собирались после занятий на *стукалки*.

– Постукаемся? – предлагали и мне. – После уроков в развалке…

Развалка – «остатки здания, разрушенного бомбой, снарядом, миной».*

Стукаться – это значило драться; но и не совсем драться: это было как бы обрядом выяснения отношений. Постоянно выяснялись отношения, кто кого бьет. Тому, кто тебя бьет, ты должен во всем подчиняться беспрекословно – и он тебя не тронет.

«Он тебя бьет» означало вовсе не то, что он тебя в данный момент бьет или что он тебя бьет регулярно, а лишь то, что он тебя бьет вообще, то есть когда-то побил, а значит, при твоем непослушании может побить опять.

«Он тебя бьет» могло означать также, что когда-то, в самом начале вашего знакомства, он тебе предложил:

– Постукаемся?

И ты или испугался, или просительно улыбнулся ему и дружески взял его за плечо:

– Ладно, я знаю, что ты сильнее.

Признать, что он сильнее, было почетнее, чем испугаться. Так поступали наиболее хитрые из слабосильных – например я.

А самое благородное было принять бой, даже если он и сулил поражение.

– Постукаемся?

– Постукаемся.

Существовал и институт секундантов, как при настоящей дуэли:

– Хорошо, с моей стороны будет Славка.

– Ну я тоже кого-нибудь приведу.

В обязанности секундантов входило караулить портфель, пальто и шапку дерущегося товарища, а воровали тогда быстро. Но главное – следить, чтобы дуэль протекала по правилам.

---

* «Словарик Не-Ожегова» (http://edvig.narod.ru/slovarik-ne-oghegova.htm), «развалка».

Правил было мало, но соблюдались они четко.

1. Стукаются лишь двое. Если кто-либо третий пытается тоже влезть в драку на стороне одного из стукающихся, то секунданты и зрители напоминают ему главное правило:

– Два в драку, третий в с---у!

А если слова не помогают, то и насильно изолируют его от стукающихся.

2. Если один из стукающихся падает, то второму напоминают:

– Лежачего не бьют!

И второй должен бездействовать, пока лежачий встанет.

(Ну как у настоящих взрослых боксеров.)

3. Стукались до первой юшки**. Увидев на одном из стукающихся юшку, кто-либо из секундантов или зрителей тут же объявлял:

– Стоп, юшка!

Это означало завершение стукалки. Вышибший из противника юшку объявлялся победителем:

– Ты победил!

(То же, как судья объявляет победителя в боксе.)

Чаще всего юшка появлялась из носа, но проломить могли и голову, и вообще что угодно. Однако неважно что – лишь бы первая юшка. Стукались голыми руками – без камней, палок, ножей; но и ногами, нередко в сапогах.

А с камнями или ножами – это уже считалась не стукалка, а драка, это было против правил стукалки. И бывало это намного реже, да и только с незнакомыми пацанами – с другой улицы или из другой школы.

Конечно, иногда на стукалку договаривались не очень-то мирно: в школе происходила стычка, но то ли сами, то ли с помощью друзей быстро прекращали ее, чтобы не влипнуть под неусыпное око учителей. И тут же почти хладнокровно договаривались:

– Приходи в развалку на Комсомольской!

– Я-то приду, а ты не забзди***!

Но часть стукалок все-таки начиналась без всяких стычек – просто как вызов на рыцарский турнир:

** Викисловарь, «юшка».

*** Викисловарь, «бздеть».

– Хочешь со мной постукаться?

– Хочу.

Особенно, помню, поражал меня один прием – если противник попадался на этот прием, ему наверняка бывала хана: избежать юшки было почти невозможно.

Прием этот был так же прост, как, вероятно, и древен. Главное было хорошенько схватить голову противника за уши или за волосы, или еще как-нибудь – и пригнуть ее к себе. В этом положении было очень удобно молотить противника коленом по носу. И вымолотить из носа юшку удавалось очень быстро.

Так что человеку со слабым носом в стукалке делать было нечего, даже если у него были сильные мускулы и крепкие нервы. Все равно юшка из носа быстро приводила его к поражению.

Случалось, что стукалки завершались дракой – это когда у кого-то сдавали нервы, и он нарушал правила игры. И тут уже в драку могли вступить и секунданты, и прочие друзья-товарищи, и даже посторонние зрители – и тогда уже в ход шел любой подручный материал: портфели, гелыки*, перочинные ножи и даже железные обломки, которых много валялось в развалках.

И тут уже обязательно кто-то кому-то что-то разбивал, несмотря уже ни на первую, ни на вторую юшку. А кто-то быстро срывался**, а кто-то распускал нюни – ревел обильными детскими слезами. И, конечно, все это сопровождалось свирепым базарным матом. Со стороны могло показаться, что ругались закоренелые биндюжники, а не молокососы-школьники.

Развалки играли роль уличных уборных – в основном для мужчин (женщины опасались в них появляться). Увидев стукающихся пацанов, взрослый мужчина, как правило, разгонял их. А особенно азартным стукальщикам могло и достаться от взрослого: и под зад, и по морде. Мог и оттягать за ухо – и за ухо же потянуть в школу или к родителям.

---

* Гелык (прост.) – камень для бросания («Словарик Не-Ожегова» – http://edvig.narod.ru/slovarik-ne-oghegova.htm, «гелык»).

** Викисловарь, «срываться».

Поэтому при виде пришедшего опорожниться взрослого кто-то из пацанов, стоящих на шухере*** у входа в развалку, сразу же кричал:

– Атас****! Шухер*****!

И стукалка временно прекращалась, – пока взрослый опорожнится и уйдет.

Но даже если саму стукалку взрослый и не засекал, то он все равно чувствовал, что пацаны собрались тут неспроста – и часто из родительско-педагогических соображений гнал даже мирно стоящих в развалке пацанов. А драться со взрослым никто из пацанов не решался, ведь взрослые были тогда тоже тертыми******: за их плечами была школа почище стукалок – война. Матерые же пацаны-хулиганы решались лишь на то, чтобы грубо огрызнуться, иногда и с матом, но придерживаясь при этом почтительного расстояния от взрослого. А иногда, отбежав подальше, запускали во взрослого камнем – и сразу же давали стрекача, аж пятки сверкали.

Сне́жки.******* Недавно прошел не частый для Одессы обильный снегопад, и город словно оделся в чистую белую одежду. После покупки чего-то я направлялся домой, на Дегтярную, 10, и уже у самого дома нагнал Олега Остапенко. Он учился в том же 4-Б классе, что и я, и тоже жил в этом доме.

– Приходи в снежки играть, – предложил Олег. – Там, в развалке на Спиридоновской, такая война сейчас будет!

*** Стоять на шухере (жарг.) – то же, что стоять на стрёме; стрёма – стоять на страже сообщников при совершении преступления (Квеселевич Д., «Толковый словарь ненормативной лексики русского языка, «стоять на шухере»).

**** Атас (жарг.) употребляется как предупреждение об опасности (Там же, «атас»).

***** Шухер (жарг.) – как и атас, употребляется как предупреждение об опасности (Там же, «шухер»).

****** Тёртый (жарг.) – бывалый, опытный; много видевший, испытавши» (Там же, «тёртый»).

******* По «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, слово «снежо̀к» – мужского рода, и одно из его значений такое: небольшой, плотно скатанный комок снега, а также (мн.) игра, участники которой бросаются такими комками. Однако в диалекте Одессы это слово – женского рода и с другим ударением: «сне́жка» (см.: «Словарик Не-Ожегова» – http://edvig.narod.ru/slovarik-ne-oghegova.htm).

Это была развалка между Дегтярной и Кузнечной, на левой стороне Спиридоновской – если смотреть в сторону центра города.

– А ты ведь домой идешь? – сказал я.

– Нет, я сейчас тоже приду.

Я заскочил домой, оставил там покупку. А потом помчался на Спиридоновскую, поднялся в развалку – где-то на уровне второго этажа.

Но ни в развалке, ни около никого не было. Я подождал: Олег ведь сказал, что сейчас придет. А я пока что стал лепить снежки. И когда появился Олег, несколько снежек, готовых к употреблению, уже лежали у меня на согнутой левой руке, от кисти до локтевого сустава – именно так принято было у снежкокидателей заготавливать боеприпасы.

– А где же война? – спросил я Олега.

На другой стороне улицы Олег увидел какого-то пацана и крикнул ему:

– Эй, Кела, так где же ваши?

– Сейчас будут! – крикнул в ответ Кела.

И Олег тоже, как и я, стал загружать руку снежками.

– Так что: с нашей стороны мы будем только двое? – насторожился я. – А их сколько?

– Да сейчас и к нам подойдут… – сказал Олег. – А мы и сами им покажем!

На нашу сторону улицы ринулись три пацана во главе с Келой – и снизу, с тротуара, в нас полетели снежки. Мы не замедлили открыть ответный огонь. Развалка была как бы нашей с Олегом крепостью, которую мы обороняли, а трое врагов снизу брали эту крепость штурмом.

Но всех нас было мало: и нас, и тех, штурмующих, – всего пятеро. И после нескольких минут бросания снежек бой как-то заглох.

По улице как раз проходили две девочки. Наши враги закричали:

– На баб!.. На баб!..

И, повернувшись к нам спинами, стали забрасывать снежками девочек. Не успели мы с Олегом среагировать – то ли поддержать этих пацанов, то ли стать на сторону девочек – как девочки убежали.

Тогда эти пацаны полезли к нам в развалку – но уже безоружные: без снежек.

– Давайте лучше вместе отсюдова в баб кидать! – предложил Кела.

– Ладно, – сказал Олег.

И мы стали поджидать баб.

Баба появилась, но далеко: она шла по Дегтярной. Энергично размахнувшись, Олег бросил в нее снежку – но не добросил.

– Айда лучше туда! – предложил Олег.

И мы все побежали на Дегтярную.

Тут бабы проходили часто, и мы засыпáли их снежками.

Если баба выглядела слишком взрослой – ну этак лет за пятнадцать, – кто-нибудь из нас кричал:

– Старуха!

В старух мы снежек не кидали.

А если молоденькая, кричали:

– Молодуха! – и все с радостью забрасывали ее снежками.

Часто девочки, завидев нас со снежками в руках, догадывались, что мы их ждем, и переходили на другую сторону улицы. Но мы обстреливали их через мостовую или перебегали поближе к ним – и все равно забрасывали их снежками.

Да и старухи, то есть которые старше пятнадцати, проходили робко, с оглядкой – ведь они не могли точно знать, с какого их возраста мы не бросаем в них снежки. А иногда, не разобравшись, особенно если со спины или с другой стороны улицы, кто-то кинет в такую старуху снежку, и она грозно обернется на нас, и мы тотчас увидим, что ошиблись.

– Старуха! – крикнет кто-нибудь, предупреждая остальных. И тотчас она для нас переставала существовать.

Наши веселые атаки привлекли внимание пацанов со всего квартала. Была тут и дошкольная мелюзга, которая тоже кричала:

– Стаюха!..

– Молодюха!..

Присоединились к нам уже и взрослые парни, лет по пятнадцати. Взрослые парни особенно охотно бросали снежки во взрослых девушек – и мы подражали им в этом.

Большинство девушек молча сносили наши атаки и старались лишь пройти побыстрее, струшивая снег от наших снежек. Некоторые грозились, ругались, а иные и шутили, смеялись, и даже отвечали нам тоже снежками.

Но это издалека. А если какой-нибудь особенно малый молокосос, зарвавшись по младенческой глупости, подскакивал чуть ли не вплотную к взрослой девушке, то мог и в морду схлопотать. И даже она могла его снегом накормить…

Да, это существовала такая полушуточная-полуиздевательская забава: накормить кого-нибудь снегом. Одной рукой придерживали жертву за воротник, а другой запихивали ему или ей в рот снег.

Взрослой девушке по отношению к молокососу такая экзекуция вполне была под силу. Подобные боевые бабы, которые давали отпор пацанам-снежкокидателям, вызывали наше всеобщее восторженное ржание.

Впрочем, такое чествование нами этих баб не мешало нам и их засыпать снежками.

А девочки помладше мало того, что переходили на другую сторону Дегтярной, так еще и пускались наутек. А те, что шли по Дегтярной со стороны Толстого, завидев нас, заблаговременно сворачивали на Спиридоновскую.

Девочки же из нашего квартала, слыша наши воинственные клики, боялись и нос показать на улицу – играли себе во дворе. Потому что тут, в этой снежной войне, мы не различали своих и чужих баб.

В другое время мы бы их защищали или брали в союзники. Но снежки были именно оружием против баб – а они были бабы. И не было им пощады, хоть они и были свои. Тут все бабы были враги, даже свои бабы, а все пацаны – наши, даже чужие пацаны.

Эта снежная война опьяняла меня, – и я орал, и метался, и кидался снежками. Мне было жарко, я был потный. И даже позволял себе иногда снять с себя шапку – благо мама этого не видела, а от моей обнаженной потной головы валил в морозный воздух пар.

В экстазе снежкокидания можно было забыть на время и об уроках, и о строгой маме дома. И о том, что в ботинках давно уже хлюпает вода.

Григорий Барац

Четыре времени жизни

Удобнее всего наблюдать за Людкой с крыши дворовой уборной. Окна квартиры второго этажа приземистого двухэтажного флигеля на Старопортофранковской выходят во двор. На том же уровне всего метрах в десяти – крыша. Покрытая толем, летом она накаляется, пахнет смолой и прилипает к трусам и майкам пацанов, оставляя невыводимые мазутные разводы.

Появляется Людка, обычно с пузатым запотевшим графинчиком холодной водки. Ставит его не на круглый обеденный стол посреди комнаты, а на тумбу с трехстворчатым зеркалом – у самого окна. Задергивает тюлевые занавесочки, сквозь которые ее фигура приобретает воздушность и загадочность. Усаживается на крутящийся стул. Находит среди разнообразных флакончиков духов, баночек и тюбиков с мазями и кремами небольшую хрустальную рюмочку.

Что шепчет Людка, налив рюмку и поднеся ее к зеркалу, мы не слышим. Да нас это и не интересует. Выпив подряд две, а то и три рюмки, Людка делает вид, что ей жарко. Она сбрасывает расклешенный халатик с пояском на талии – «à la Гурченко» – с глубоким декольте, окаймленным рюшечками, оставаясь только в прозрачном лифчике и кружевных трусиках. Ни у кого из наших мам или старших сестер не было такого белья. Их одевала швейная фабрика имени Крупской в серо-бурые панталоны, трико и бюстгалтер с подвязками-резинками, к которым крепились чулки. Самое красивое женское тело в этом одеянии переставало быть привлекательным.

Петр Первый

К красивому белью и модным шмоткам пристрастил Людку ее «Первый», ее Петр. Она втрескалась в него с первого взгляда. Это было летним утром предвоенного года, когда ватага пацанов и девчонок, отмечавших окончание неполной средней школы, вылетела к причалу порта встречать рассвет. Людка оказалась прямо у трапа пришвартованного прогулочного катера.

На палубе стоял белозубый загорелый крепыш. Тельняшка и брюки клеш разделены кожаным ремнем со сверкающей бляхой и якорем посредине, синяя пилотка, из-под которой выглядывают золотые кудри. Что еще надо неискушенной девчонке, чтобы влюбиться! Он подал ей руку, и она перешагнула через свое детство. Он увел ее в теплую летнюю ночь, в искрящуюся ласковую волну, в согретую солнцем за день постель золотого песка.

Он баловал ее. Папиросы «Сальве» котировались у иностранных моряков по высшему курсу. За шелковую цветастую косыночку вполне достаточно было одной малой пачки из десяти папирос. Блузочку с буфами, о которой Людка мечтала, он сменял у французов за две большие двадцатипапиросные пачки. Столько же понадобилось, чтобы добыть ей тряпичные итальянские босоножки.

Новый год они встречали вместе у моря, на бульваре Фельдмана в веселой подвыпившей толпе таких же неприкаянных влюбленных. Попытка проникнуть в общагу была обречена. Комендант, старый бобыль, бывший тюремный надзиратель, получив в награду вместе с должностью собственную комнату, находился в общежитии неотлучно.

Петр, ее «Первый», жил в общаге с тридцать седьмого, после ареста отца – военинженера второго ранга Ивана Петровича Адамиди, «члена антисоветской троцкистской организации». Мать он видел только на фотографии. Она умерла, недокормив его, во время голодомора начала тридцатых.

Пришлось довольствоваться «хоромами» Людкиной семьи, состоящими из одной комнатушки в коммуналке. В ней умещался сундук – спальное место отца, шифоньер, круглый обеденный столик, раскладная Людкина койка и семейная релик-

вия – трехстворчатое туалетное зеркало. Отец, путеец, уехал на недельную вахту. Соседский дед – тугой на ухо колченогий инвалид и добродушный выпивоха, с соседями не контачил, даже когда их видел.

В ту новогоднюю ночь она пообещала родить сына. Он целовал ее тонкие шелковые руки, пухлые ладошки, налившиеся грудки и просил девочку. В Центральном ЗАГСе на Ришельевской неулыбчивая женщина с косой-бубликом на макушке, в строгом деловом пиджаке с белым воротом рубахи навыпуск, ухмыльнувшись порочной улыбкой в ответ на их просьбу зарегистрировать брак, произнесла: «Закон не разрешает». Ему не хватало полгода до восемнадцати, ей – столько же до шестнадцати.

Умереть за Родину Петру, отметившему свое совершеннолетие за несколько дней до начала войны, закон разрешил. Если бы не торопился, успел бы округлившуюся Людку поздравить с получением паспорта. Но побежал в военкомат еще до вручения повестки, поклявшись вскоре вернуться с победой. Ни он, ни она обещание свое не выполнили. Она потеряла ребенка во время первой бомбежки города в июле, когда оглушительным взрывом снесло часть дома. А треугольничек о его гибели в Крыму она получила в августе, за неделю до эвакуации в Омск.

К выпивке Людка пристрастилась во время войны. Работала санитаркой в госпитале. За смену такого насмотришься, что без мензурки спирта не уснешь…

Наполнив стопочку и отработанным движением опрокинув ее в себя, Людка медленно повернулась к открытому окну. Легкий ветерок слегка шевелит прозрачные занавески. Пацаны перестали дышать. Усевшись в форме лотоса и скрестив руки, она прикрыла грудь. Вдоволь поиздевавшись над юными вуайеристами, она на мгновенье открылась. Тотчас груди лисьими носиками отвернулись друг от друга, что вызвало шумный вдох восхищения мальчишек. Но гуттаперчевые руки вновь лианами обвили тело. Облокотившись о туалетный столик и повернувшись полубоком, Людка вращает длинными ногами воображаемый велосипед. Ах, как любил целовать пальчики ее рук и ног ее «Второй», ее Яшка, Янкель Никельсон!

Янкель. Второй

В тыловой госпиталь младшего лейтенанта Якова Никельсона привезли в «корыте». В прифронтовом медсанбате его залили по пояс гипсом и два месяца везли санитарным эшелоном в Омск. Ранение он получил тяжелое. Трассирующими пулями из станкового пулемета ему перебило тазобедренную кость и обе ноги. За взятого в плен зондерфюрера он получил орден Красной Звезды и прибавку к денежному довольствию – пятнадцать рублей в месяц, правда, купонами к орденской книжке.

В госпитале Яшка стал всеобщим любимцем. Пел блатные одесские песни, рассказывал анекдоты, наизусть читал стихи Пушкина, Лермонтова, Багрицкого. Людка, работавшая в госпитале медсестрой, сразу запала на этого парня. А когда узнала, что он из Одессы, прилепилась к нему душой. В ночную смену могла до утра слушать его побасенки.

Через пять месяцев, когда раскололи гипс, белесые Яшкины ноги казались мертвыми. Массажи кедровым и пихтовым маслом, которые Людка делала ему ежедневно, оживили почти атрофированные мышцы. Но оказалось, что кость левой ноги срослась неправильно. Нога стала короче на семь сантиметров. В ЗАГС тем не менее он шел, почти не хромая. Людка нашла кустаря-сапожника, который из ее хромовых сапожек изготовил разновысокие ботинки, не забыв при этом слямзить остаток хромовой кожи. Двубортный пиджак Яшка справил на свои деньги. Подвенечное платье ждало этого часа уже четыре года.

О возвращении в Одессу они говорили каждый вечер, когда Людка приходила с работы. Нужны были деньги на переезд и обустройство. Яшкиной пенсии и Людкиной зарплаты им не всегда хватало даже на скромные харчи. Специальности у Яшки не было – со школы прямиком в армию. Носить-таскать не мог – хромота не позволяла. Кое-какой приработок был. Выстругивал детские игрушки: кубики, колесики, свистульки – и продавал их на базаре.

Здесь и встретил Яшка того самого зубного врача, который выдергивал ему молочные зубы, а позже лечил кариес и ставил пломбы. До войны в Одессе тот приятельствовал с Яшкиными ро-

дителями. Здесь работал главврачом. Расспросив Яшку о жизни, предложил ему работу уборщиком.

Работал Яшка добросовестно, но замирал, разинув рот, глядя, как техники делают протезы. В их руках бесформенный воск превращался в маленькие скульптурки зубов. Неподдельный интерес уборщика не остался незамеченным главврачом. Он разрешил Яшке учиться.

Поначалу Людка не поверила, заволновалась и заревновала, когда Яшка с утра до вечера стал пропадать на работе. Но когда его официально оформили техником, и зарплата выросла втрое, сомневаться Людке в его правдивости и преданности не приходилось. В клинике Яшкой тоже были довольны. Как он добывал дефицитные материалы, не знал никто. Он щедро делился с коллегами стальными гильзами для изготовления коронок, пластмассовыми протезами зубов и специальным зубопротезным цементом. Но источник дефицита держал в тайне.

Новость о том, что принято постановление правительства «О трудоустройстве и материально-бытовом обеспечении инвалидов Отечественной войны», которой поделился с Яшкой тот же главврач, стала убедительным аргументом в пользу возвращения домой, в Одессу. Но, пожалуй, решение окончательно созрело после того, как в клинику наведался сотрудник ОБХСС (отдела борьбы с хищениями социалистической собственности).

Дом на Мещанской, где до войны жили Никельсоны, был цел и невредим. Но Яшка не узнал его. Прежде не закрывавшиеся двери квартир, из которых исходили запахи украинско-еврейских блюд, были заперты. Окна его квартиры на первом этаже смотрели во двор. В сумраке комнат никого не было видно. Он робко постучал по стеклу и подошел к двери. Ждать пришлось недолго. Во двор вышел высокий широкоплечий молодой парень в бескозырке без ленточек, тельняшке и накинутом на плечи морском черном бушлате. Яшка с трудом узнал его. Это был его сверстник, сын дворничихи, с которым они мальчишками то дрались, то мирились. Он стоял перед Яшкой, как скала, глядя исподлобья и загораживая собой дверь в квартиру. На попытку Яшки напомнить, что тут жила до войны его семья, парень, схватив его за плечи, рывком развернул лицом к воротам и поддал коленкой под зад.

Никаких документов на квартиру у Яшки не было. «Надо в горисполком жаловаться», – надоумила Людка. Ответ угрюмого чиновника был лаконичен и прост: «Жилья нет. Сам ищи». Несколько дней поисков успеха не принесли, но Яшка узнал, что припрятанными от властей квартирами спекулируют управдомы и дворники и что взятка за квартиру должна быть не меньше тридцати тысяч рублей. «Таких денег в куче», по выражению Яшки, он сроду не видал.

Во двор, где располагался ЖЭК, Яшка вошел, вооруженный двумя поллитровками водки «Главспирта», обошедшимися ему в сто пятьдесят целковых, большой лиловой цибулей и четвертью буханки черного хлеба. На стук в дверь никто не отозвался. В полутемном холодном коридоре никого не оказалось. И только по грубому окрику: «Кого там несет?» – заставившему его вздрогнуть, стало понятно, что управдом на месте.

Перед тем как присесть, Яшка выложил на стол весь арсенал. Управдом молча достал две алюминиевые кружки. Оказалось, что воевал он в той же шестой гвардейской и ранен был на пару месяцев позднее. Но отдать Яшке заныканную квартиру на Старопортофранковской без хабара не мог – большую часть нужно было отдавать «наверх». Сговорились за двенадцать. Две за ордер, а десять через год за прописку.

Как ни старался Яшка, работая в стоматологической клинике на сдельщине, ничего, кроме вымпела «Ударник соцтруда» и зарплаты, которой хватало на прокорм, он получить не мог. Срок возврата долга приближался неумолимо, а собрать деньги не удавалось. Поэтому Яшка хоть и настороженно, но с любопытством слушал незнакомца в сером каракулевом пирожке на голове и завороженно смотрел на желтую монетку, зажатую между его пальцами. Тот предложил Яшке сделать коронки из «рыжья» – царского червонца, и за плату втрое больше обычной. Почему нет?! В довесок достались Яшке «отходы производства» – золотые обрезки и опилки.

Одесское сарафанное радио разнесло от Лузановки до Черноморки, от Александровского до Дюковского парка весть о Яшкиных способностях. Народ повалил к нему косяком. В кармане у Яшки повеселело. Долг был отдан вовремя. Людка обновила гардероб. Яшка баловал ее золотыми безделушками и иностранными шмотками

из комиссионки. Увеличили и отремонтировали свою квартиру, присоединив освободившуюся после смерти соседской старушки смежную комнату в коммуналке. Купили новую мебель. Трижды съездили летом в Сочи. Подкопили на покупку «Москвича».

Не предполагал неискушенный Яшка, что указ «Об усилении уголовной ответственности за нарушение правил валютных операций» относится и к его искусной работе. Сначала сотрудники ОБХСС, затем КГБ и суд предоставили ему возможность осознать свою вину в течение двенадцати лет в лагере строго режима. Но весь срок Яшке тянуть не пришлось. И года не прошло, как прихватило двустороннее воспаление легких. Недели две в лазарете, где кроме спирта и пирамидона – ничего. Последние дни бредил. Сухие потрескавшиеся губы шептали: «Людка, Людочка…».

Михаил. Третий

Денег, отложенных на покупку «Москвича», и Людкиной небольшой заначки, припрятанной от Яшки, надолго не хватило. Пенсии за умершего инвалида войны, как объяснили в районном собесе, ей, «здоровенной сорокалетней трудоспособной кобыле», положено не было. Каждое сданное в ломбард золотое украшение отодвигало Людкино обнищание на два-три месяца. Без образования она могла рассчитывать разве что на место уборщицы или санитарки – и то за приличную взятку…

На Михаила, соседа по галерее второго этажа, который был ниже Людки на полголовы, она внимание не обращала. Мишка же, сорокалетний убежденный холостяк, поклявшийся никогда не жениться, сразу запал на статную блондинку. Балагур и анекдотчик, он немел и покрывался испариной, когда встречал ее.

Знаки внимания Мишки не заметить было невозможно. Они выражались во все большем количестве пакетов, коробок, банок и бутылок, оставленных у двери Людкиной квартиры. Не отблагодарить Мишку, выстроившего у ее порога перед Новым годом батарею «Советского шампанского», Людка не смогла… В простенок, разделявший их смежные однокомнатные квартиры, была вставлена дверь, хотя объединять квартиры и оформлять брак не стали.

Раздобревшая и повеселевшая Людка вернулась к прежним домашним заботам и увлечениям: базар, кухня, постель и окно.

…Звонком к началу представления служат скрежет и хлопок металлической калитки палисадника, сопровождающие выход «Третьего» – Мишки Кнобеля, на вторую смену в порт. Летнее пекучее солнце поджаривает спины нового поколения мальчишек, испытывая их терпение. Но для пацанского, еще не вполне осознанного чувства влечения к женщине это не испытание. Продравшиеся сквозь листву и почти невидимую занавесочку солнечные лучи, как софиты, освещают каждую клеточку Людкиного роскошного тела. Впрочем, с крыши видна лишь нижняя половина – от бедер до розовых пяток.

Затаив дыхание, мальчишки с восторгом наблюдают, как ей удается удержаться, поворачиваясь на узком сидении табурета. Она балансирует, сохраняя равновесие, и от этого ее белые, как мрамор, икры подрагивают. Длинные, в половину роста, ноги не идеально прямые. Их контур образуют плавно изгибающиеся линии, а узкие просветы между ногами придают необычайную привлекательность. Просветы над ступнями проявляют изящество тонких лодыжек с натянутой струной ахиллова сухожилия посредине и впадинками с обеих сторон. Просвет над точеными икрами разделяют круглые улыбающиеся мордашки колен с ямочками на щечках…

Кликуху «Шнобель» Мишка, бригадир портовых грузчиков, заслужил не только за созвучие с его фамилией и даже не за хищный нос с горбинкой. Уж больно охоч он был до всякой дармовщинки, вынюхивая и выслеживая, где что можно слямзить. Не смущаясь, частенько повторял присловье о самом себе: «Все, что плохо там лежало, его сильно раздражало». Не выходил из порта без чего-нибудь в карманах, за пазухой, а то и просто в рюкзаке.

По тому, что Шнобель приносил домой, можно было с первого раза угадать, с каким грузом зашли в порт суда. Мелкий воришка, он не был скрягой. Перед тем как войти во двор и подняться к себе на второй этаж, он раскрывал свою поклажу и щедро делился с соседями, собиравшимися к его приходу у ворот. Хрущевские годы были не то чтобы голодными, но и не сытыми.

Обувь и одежду для Людки – от платья до шубки – он заказывал морякам, ходившим в загранку. Пока те были в рейсе, Мишка регулярно пополнял съестные запасы их семей, опять же из того, что удавалось слямзить в порту.

Не стало Мишки в одночасье. Погиб нелепо, все по той же причине – неудержимой клептомании. Во время шторма бродил по причалу, выискивая, что можно стырить, пользуясь отсутствием людей.

Откатная волна затащила его в море между причалом и судном.

Никита. Четвертый

Свой «ягодный» день рождения в пекучем июле семидесятого Людке встречать было не с кем. Решила провести день на пляже. Излюбленным Людкиным местом в Аркадии был не сам пляж, а густые кусты жасмина в поросшем травой и бурьяном овраге, тянущемся вдоль центральной аллеи – от конечной остановки трамвая и до песочного берега. Ее шелковистое бело-розовое тело терпело ультрафиолет солнечных лучей не более нескольких минут, которых хватало на то, чтобы дойти до воды, окунуться и вернуться в тень огромного тополя, на стволе которого были вырезаны признания в любви еще с ятями и ижицами.

Здесь, у парапета заброшенного фонтана, в котором плавали зеленые лягушата и головастики, она прощалась со своей молодостью, вспоминая сквозь дрему счастливые денечки. Не подозревала Людка о счастливой встрече, которая приближалась вместе с вышагивающим в ее сторону высоким черноволосым усатым мужчиной в белой рубашке с портфелем, несоразмерно маленьким в его руке, и перекинутым через плечо пиджаком, из кармана которого свешивался язык синего в крапинку галстука.

Он улыбался, как могут улыбаться хозяева жизни, – открытой, излучающей добро и надежность улыбкой. Попросил приглядеть за аккуратно сложенными на портфеле вещами. Размялся, поигрывая налитыми мышцами и лукаво поглядывая на Людку. Вернулся со стекающими с шевелюры на мощные плечи струйками воды. Не отказался от предложенного Людкой полотенца. В портфеле оказалась бутылочка пятизвездочного «Белого аиста», шоколадка

«Аленка» и складной стаканчик – правда, один. Выпивали попеременно, но с обязательного в Одессе третьего тоста «за тех, кто в море», на брудершафт, с переплетенными в локтях руками и целуясь, сначала в щечки, а затем и в губки. Заполировали бутылочкой «Советского шампанского» в прибрежном ресторанчике «Волна»…

Больше всего Людка боялась проснуться и не застать Никитушку в постели. А когда, еще не открыв глаза, почувствовала его теплую ладонь на своей груди, испугалась еще больше. Представила, что станет каяться, что, мол, с пьяного глазу, что дома волнуются жена и дети, или того хуже – станет совать в карман халата деньги. Но это волшебное воскресное утро возродило в ней угасающую надежду любить и быть любимой.

Осторожно откинув махровую простыню, она на цыпочках, вдоль стенки обойдя скрипучие в центре комнаты половицы, пробралась на кухню. Почувствовала, как возвращается забытый на время одиночества хозяйственный зуд. Пока варилась картошка в мундирах, ловко разделала малосольную скумбрийку. Настрогала большую белую цибулю и, как учил ее Янкель, посолила, посахарила, заправила жареным подсолнечным маслом и уксусом. Взбила в сковородке пару яиц со сметаной и мукой, но жарить омлет не стала.

Тихонько вернулась в комнату и, присев на краешек раздвижного дивана, залюбовалась сладко спящим мужчиной. Она и пикнуть не успела, как он ловким стремительным движением обхватил ее талию, притянул к себе и, распахнув халатик, обцеловал всю, приостанавливаясь в те моменты, когда она замирала, прикрыв глаза и затаив дыхание. Завтрак незаметно перешел в обед, а затем и в ужин. Завороженно слушала она рассказы о его довоенном детстве, об эвакуации и войне на Дальнем Востоке.

Как сейчас помнит Никита, что получил повестку восемнадцатого октября сорок четвертого – в день, когда Левитан сообщил, что Красная армия с боями вышла на территорию Восточной Пруссии. Он ждал призыва весь год. Лично хотел мстить фашистам за погибшего отца, за умершую в эвакуации маму…

До сих пор по ночам снятся ему хребты и перевалы Большого Хингана, переправы через буруны горных рек, непроходимые пески и барханы пустыни Гоби. Горячий ветер с раскаленным песком

не давал дышать, сек лицо, обжигал губы, засыпал уши и ноздри. Не все бойцы конно-механизированной группы советско-монгольских войск генерала Плиева сумели одолеть этот путь и на последнем дыхании прорвать японский фронт. Последнее, что он помнил перед тем, как очнулся в госпитале, – упавшего перед ним замертво командира взвода. Военврач назвал Никиту везунчиком. В его ребре застряла «пуля на излете», прострелившая насквозь командира.

Никите было едва за двадцать, когда его избрали освобожденным секретарем комсомольской организации Одесского механического завода, а затем и станкостроительного объединения, насчитывавшего более десяти тысяч работников. Лесенка партийной карьеры началась здесь же.

Роль заводского парторга исполнил виртуозно. Партийных аппаратчиков всех уровней – от райкома до обкома – по первому их желанию снабжал всем, что можно было списать на заводе. Гостей из центра устраивал на шару в гостинице, кормил, поил, веселил.

Возможности возросли, когда назначили первым секретарем райкома партии. Теперь в его вотчине были все промышленные и торговые предприятия района. Не зря на лацкане его пиджака сияла юбилейная, к столетию Ильича, медаль.

Замуж Людку Никита – ее «Четвертый» – не звал. Два, как он говорил, учебно-тренировочных брака убедили его в преимуществе холостяцкой жизни. Баловал модной одежкой и дефицитными продуктами из «Березки», где отоваривались за чеки Внешпосылторга моряки, ходившие в загранку. Представляя Людмилу своим знакомцам, называл ее любимой женой. Не то чтобы Людку это устраивало, но претендовать на большее она боялась даже подумать, чтобы не спугнуть нежданное счастье. Жили они поначалу то в Людкиной халупе на Старопортофранковской, то в Никитиных трехкомнатных хоромах на Новоаркадиевской, недавно переименованной в проспект Шевченко. На пятилетний юбилей их «совместной» жизни Никита подарил любимой ключи от кооперативной квартиры, правда, оформленной на свое имя.

На демонстрацию шли вместе. Даже ноябрьская холодрыга не могла омрачить празднование ВОСР. Так кратко называл про себя Никита октябрьский переворот, который лишь к концу тридцатых

годов стал претенциозно называться Великой Октябрьской социалистической революцией. Духовой оркестр с утра наяривал марши, патриотические и революционные песни. Весело разбирались знамена и транспаранты. За их пронос мимо трибун на Куликовом поле полагалось по десять рублей на нос. Портреты вождей доставались запоздавшим, за них давали только по пятерке. В подворотнях под ногами звякали опустошенные шкалики и поллитровки.

Возглавляла демонстрацию колонна ильичевцев во главе со знаменосцами, гордо несущими знамя района и переходящее Красное знамя за победу в городском социалистическом соревновании. За ними, переговариваясь и поглядывая назад, шествовали первые лица района – партхозактив во главе с хозяином – первым секретарем райкома партии Никитой Николаевичем Радужным. Не приближаясь, но и не отставая от начальства, нестройно вышагивали шеренги передовиков производства с кумачовыми лентами по диагонали туловища.

Между головой колонны и ее длинным, повторяющим контуры улицы хвостом, в меру бухие лабухи из заводской самодеятельности во время остановок шествия наяривали едва узнаваемые мелодии. Выпивали они почти в открытую, потягивая водку через трубочку, вставленную в шкалик, находящийся во внутреннем боковом кармане. Без дозаправки они отказывались играть, сетуя на замерзающие негнущиеся пальцы. Знаком начала и окончания музыкальных пауз служил хлопок Радужного в ладоши над головой.

Поравнявшаяся с трибунами колонна остановилась, чтобы в ответ на лозунги и призывы «Да здравствует…!» кричать «Ура!», «Слава!» и бурными аплодисментами приветствовать городских, областных и, возможно, более высоких начальников. От четкости и подобострастия выполнения этого ритуала часто зависела карьера, а то и судьба районных аппаратчиков. Но в репродукторах над трибунами что-то хрипело, булькало и свистело, что рассмешило и развеселило притоптывающую на холодном ветре толпу.

Пауза затягивалась, смех становился все громче. Никита напрягся – запахло возможностью отличиться, предотвратить назревающую политическую провокацию. Внутренний голос сдерживал амбиции, предупреждая: «Инициатива наказуема». Но желание

перепрыгнуть через ступени, ведущие к политическому Олимпу, победило. Выкрикнув несколько раз во все горло «Да здравствует…!», Радужный захлопал, подняв руки над головой. Оркестр, не околевший от холода только потому, что употребил весь водочный запас, встрепенулся. Приняв хлопок хозяина над головой за условный сигнал, оркестранты задудели и вдарили по клавишам, барабану и тарелкам веселый, разбитной и залихватский свадебный еврейский танец «Фрейлахс». Мгновенно рассыпавшись по всему Куликовому полю, побросав знамена, портреты и транспаранты, колонна превратилась в круги, кружочки и пары танцующих людей.

Из партии Радужного не исключили, но со строгачом из райкома поперли. Отказываться от места парторга в совхозе самого дальнего от города Киряевского района не стал. Ничего другого не умел и не хотел. Комнатой в общежитии обеспечили. Зарплату сносную положили.

Сначала возвращался каждую неделю на выходные. Летом привозил Людке все, чем богаты были совхозные сады и поля, осенью – сельские разносолы, зимой – парное мясо. Он нахваливал и причмокивал, жадно набрасываясь на домашнюю стряпню. Людка стирала и выглаживала его нательное и постельное белье. Млела от объятий и поцелуев.

Каким местом она почуяла измену, не могла понять, но женское чутье ее не обмануло. Приезжать стал раз-два в месяц. Белье в стирку не привозил. Ужиная, выпивал больше, чем прежде, и засыпал сидя, не раздеваясь. Завтракал молча, не глядя ей в глаза. Много курил, скрываясь за газетами, и, оставив деньги на оплату коммуналки, не обняв, уезжал. Выяснять отношения, ждать его покаяния или объяснений она не стала. Купила на рынке несколько необъятных самопальных баулов, со злостью напихала туда вперемешку платья, шубы, куртки, белье, туфли и сапожки. Высыпала в сумочку горстку золотых побрякушек. Присела на край дивана, поплакала и переехала к себе, на Молдаванку.

…Несколько раз Людка открывает глаза, но просыпаться не хочется. Осенью солнечные лучи поздно заглядывают в окна, выходящие во двор. Даже отраженные от ракушняка противоположного флигеля, они натыкаются на габардиновые гардины

и шифоновые прозрачные занавески – из немногих доказательств роскоши прежнего жилья.

Выкарабкавшись из-под пухового китайского одеяла и накинув халатик, она подходит к окну, приоткрывает задернутые гардины и выглядывает во двор. Гурьба пацанов, помогавших ей вчера затащить в квартиру баулы, уже собралась на крыше дворовой уборной напротив окна. Но она не торопится. Включила настольную лампу. Затемненное комнатное закулисье вспыхнуло в трельяже тройными прожекторами.

Подготовку к представлению начала с прически. Прямые от рождения Людкины волосы вдруг начали виться. Пришлось долго вытягивать их горячей плойкой. Не меньше времени отняла подрисовка побелевших бровей и глаз черным карандашом «Живопись». Баночки косметического вазелина «Норка» едва хватило, чтобы придать всему телу – от плеч до щиколоток – прежние живость и блеск. Горизонтальные бороздки на шее скрыла шелковым платочком.

Осмотрев себя со всех сторон в трельяже, Людка встряхнула головой. Вытянутые пшеничные волосы, не потерявшие свой блеск, рассыпались по плечам, придав Людке прежнее очарование. Придирчиво оглядев свою пышную грудь – ее главное женское оружие, она переодела лифчик, подтянув бретельки. Затянула поясок прозрачного халатика, чтобы не видны были складочки на животе и талии. Еще раз полюбовалась собой в тройном зеркальном отражении, подошла к окну и рывком раздернула гардины. Шифоновые занавески легким туманом прикрыли слегка располневшую Людкину фигуру. Начиналась пятая Людкина жизнь…

Издано...

370 **Евгений Голубовский**
Книжный развал

Евгений Голубовский

Книжный развал

Издано в Одессе

Евгений Волокин, Олег Губарь
История и легенды одесского Пассажа
Одесса, Черноморье, 2020

«Огромное пирожное с кремом», – так пошутил про одно из зданий Одессы писатель Лев Славин.

Думаю, что все вы хорошо знаете это здание, может быть, фотографировались на его фоне. Но видеть здание, любоваться им и знать все про него – это, как у нас говорят, две большие разницы.

Вот мы уже вступили в пространство одесского языка. А как иначе говорить об одном из самых одесских зданий, о Пассаже Менделевича?

Эту книгу Олег Губарь и Евгений Волокин написали в 2020 году. Тогда она и вышла, несколькими экземплярами, Олег успел подержать ее в руках. И лишь сейчас появились деньги, чтоб отпечатать весь тираж, 500 экземпляров.

С большим интересом прочитал и посмотрел эту книгу. Она входит в серию, придуманную Евгением Волокиным, «Старая Одесса в фотографиях». Это уже пятый том. Кстати, вместе с Гу-

барем Волокин работал над еще одним томом серии – рассказом о доме на Дерибасовской угол Ришельевской.

Несколько слов о вышедшей книге.

Нередко, говоря о доме на углу Дерибасовской и Преображенской, мы говорим: дом Крамарева. Это правильно и неправильно. Да, действительно, до Пассажа Менделевича, построенного архитектором Львом Влодеком, здесь был и дом Крамарева. Но и до него здесь были дома. Небольшие, бедные. Об этом всем знал Олег Иосифович. Теперь и мы. Крамарев приобрел этот участок в 1822 году. Вскоре начал строительство. И в 1825 году один из самых величественных доходных домов в старой Одессе был построен.

Так что Александр Сергеевич Пушкин в 1823-24 годах, когда шел в канцелярию Воронцова, надо думать, чертыхался, так как рядом шла грандиозная стройка. Зато его брат Левушка снимал квартиру в доме Крамарева. Это благодаря Олегу Губарю и Олегу Борушко на бывшем доме Крамарева висит мемориальная доска Льву Сергеевичу Пушкину.

В конце XIX века здание принадлежало уже Анне Синициной. Когда она умерла в 1886 году, братья Менделевичи выкупили здание (дата продажи – 1898 год) и заказали Льву Влодеку проект Пассажа. А дальше – чудо. Через два года величественное сооружение было построено, принято и 28 января 1900 года открыто.

Надо ли объяснять, что вся Одесса хотела увидеть Пассаж? Играл военный оркестр. Пел украинский народный хор. Рекой лилось шампанское под тосты и речи.

Здание было оборудовано по последнему слову тогдашней техники. Электричество. Паровое отопление. Многоуровневые подвалы. До сих пор, кстати, в них случаются находки… И помещения для 28 магазинов. А выше и гимназия для девочек, и газета «Одесские новости», институт, где немецкими аппаратами лечили травмы опорно-двигательной системы.

Газеты Одессы были заполнены рекламой фирм, торгующих в Пассаже. Мне приходилось видеть немалую их толику, так как там же процветал магазин предка моего коллеги Феликса Кохрихта – Якова Кохрихта.

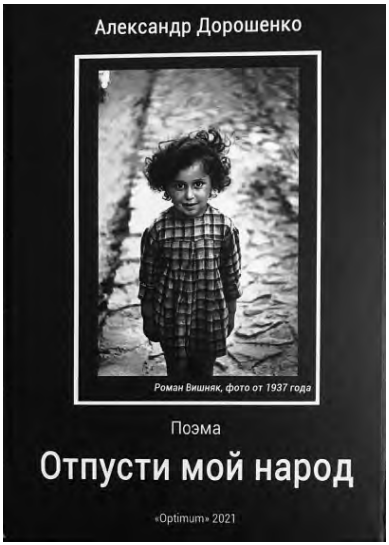
Правда, благополучие длилось недолго. Одессе не везло с пожарами. Так сгорел первый Городской театр, детище Ришелье. Горел, но, к счастью, был потушен 30 октября 1901 года Пассаж Менделевича. Погибли три человека – одна из учениц гимназии и двое пожарных. Хоронил их весь город.

Здание тоже пострадало. Сегодня на нем две скульптуры со стороны Дерибасовской – Меркурий на паровозике и Церера на носу пароходика. Точно такие же украшали крышу здания со стороны Преображенской, но они погибли при пожаре и не были восстановлены.

Кстати, скульптур в здании Пассажа море. И все они выполнены двумя одесскими скульпторами, Товием Фишелем и Самуилом Мильманом. Увы, в книге нет ничего об этих мастерах. Но зато впервые появились сведения об архитекторе здания Льве Влодеке. Очень рад этому. Я и сам искал о нем сведения и не находил, пока однажды мне не написала правнучка Влодека адвокат Юлия Бойко. Она нашла документы рода Влодеков, потомственных дворян, выходцев из Польши. Я связал Юлию с Волокиным – и в книге опубликован и герб Влодека, и документы из архива. Думаю, это только начало: Юлия Бойко опубликует статью, а то и книгу о своих разысканиях, ведь Лев Львович Влодек оставил Одессе *сорок* сооружений, признанных памятниками архитектуры.

Много еще любопытного в этой книге. Помните силуэтистов, работавших в Пассаже? А я знал когда-то Изю Медведовского, который за десять секунд вырезал из черной бумаги ваш силуэт. Кстати, искусство силуэта древнее. И до революции в Одессе были силуэтисты. У меня, к примеру, хранится портрет доктора Цомакиона, вырезанный в 1910 году на Одесской выставке… Думаю, что во многих домах хранятся силуэты. И Евгению Волокину пришла хорошая мысль: закончится пандемия – собрать силуэты на выставку во Всемирном клубе одесситов.

Об этой книге в 180 страниц, где опубликованы 282 уникальные фотографии, можно рассказывать долго. Но правильнее посмотреть ее, прочитать ее. Ведь сквозь один дом видится вся Одесса.



Александр Дорошенко
Отпусти мой народ
Одесса, Optimum, 2021

Издательство «Оптимум» успело выпустить к Дню памяти Холокоста европейского еврейства книгу Александра Дорошенко «Отпусти мой народ».

Где-то полгода назад Александр Викторович присылал мне верстку книги, так что я знаком с ней, ждал ее. Спасибо директору издательства Борису Эйдельману, который, прочитав один фрагмент этой книги, буквально уговорил Дорошенко завершить работу.

Объясню. Александр Дорошенко ученый, профессор, технарь, книги для него отдушина, без которой не мог бы дышать, а значит – жить.

Всегда с большим интересом читаю его книги, он энциклопедист, любую тему, которая увлекает его, копал очень глубоко.

Всю жизнь шел он и к этой книге о катастрофе, постигшей евреев в годы Второй мировой войны. Но писать эту книгу было неимоверно тяжело. В расстрельных ямах под Одессой и Херсоном, под Каховкой погибли многочисленные его родственники по отцу.

Признаюсь, и читать эту книгу трудно. Сдавливает горло. Откладываешь – и все равно возвращаешься.

Дорошенко назвал это свое сочинение поэмой. Как Гоголь «Мертвые души». Я бы написал – трагедия. По сути, восходящая к античным.

Дорошенко тонкий знаток Библии. И Нового Завета, и Старого Завета. Книга вся пропитана библейскими аллюзиями. Читаешь книгу – и вновь открываешь для себя мир.

Замечательно, что на нашей полке появилась, думаю, главная из написанных Александром Дорошенко книг. Большую главу из нее мы опубликовали в 84 номере нашего альманаха.

Я поздравляю издателя.

К сожалению, Александр Викторович не увидит ни книги, ни этой публикации, он умер в больнице, когда книга вышла...

А чтоб вы услышали голос автора, предоставлю ему слово, дам возможность прочесть его вступление к теме.

Александр Дорошенко

Отпусти мой народ

«Мы не менее предков наших лелеем память о пережитых нами бедствиях, но описывать их всех не хватает у нас сил».
Рабби Шимон бен Гамлиэль, трактат Суббота, II век

Книга «Отпусти мой народ» связана с темой Катастрофы народа евреев, Холокостом.

Начав ее писать, или иначе, компоновать из написанных в разное время отрывков эту книгу, автор понял, что написать ее невозможно. Сама тема тебя отстраняет. У этой книги, у этой темы есть свой голос, и он идет к нам с небес, или откуда-то еще, он не мой и не твой – это голос всех погибших и замученных, это именно то, что шептали их губы, когда они шли на смерть, – слова надежды и упования.

Эта страшная тема о массовой гибели евреев во Второй мировой войне не поддается описанию. Сказано – «Умножая, умножу скорбь твою», – но скорбь имеет свою границу, после которой сердце человека уже не различает масштаба, потому что вообще теряет возможность видеть, слышать и понимать. Или иначе – впервые начинает различать и видеть, но нам, здесь, этого лучше не видеть и не знать, до своего урочного часа.

Эта книга о том, что мы сделали с собой, со всем человечеством, со всей своею историей.

Не с евреями, но именно с самими собой, со всем тем, что мы называем человечеством, во всех прошедших тысячелетиях нашей такой короткой и такой непростой истории.

Холокост, то, что мы называем этим и иными словами, это не только страшная, небывалая в истории землян трагедия,

но предупреждение, данное нам, и, я думаю, что последнее. Может быть, у нас есть еще возможность это понять и измениться. Ничто, никакие страшные испытания не носят случайного характера, но имеют знамение вести и руководящего слова.

Скорбеть и каяться вовсе не означает изменяться, как показывает нами накопленный опыт.

Следует уяснить: либо мы станем принципиально иными, либо нас не будет вообще.

Книга «Отпусти мой народ» состоит из трех частей: «Милая светлая родина», «Уничтоженный мир» и «Обретенная надежда».

Две первые части основные по объему.

«Милая светлая родина» основана на всемирно известных фотографиях Романа Вишняка, который, рискуя жизнью, сделал их по заданию «Джойнта» в городах и штетлах земли идиш в период от 1936 по 1939 год, находясь на самом краю уничтожения своего народа.

Он предупредил о страшной опасности, надвигавшейся на человечество, и затем, уже в США, куда успел переехать, пытался докричаться, безошибочно чувствуя смертельную эту опасность, о чем позже сказал Эли Визель, лауреат Нобелевской премии мира: «Роман Вишняк выразил с болью и любовью свое отношение к еврейскому миру, такому живописному и восхитительному, который был поглощен огнем и мраком». Это чудные еврейские дети на улицах Варшавы и Кракова, торговцы на рынках Мукачево, ремесленники и раввины, ученики хедера и иешивы с удивительно светлыми лицами и глазами, в которых отражено все счастье дарованного нам мира, просто прохожие, случайно поднявшие голову на фотоаппарат Романа Вишняка, и чудесные еврейские семейные сцены – весь потерянный нами мир. Удивительно теплый, такой своеобразный и неповторимый мир, без которого мы осиротели.

«Я не смог спасти мой народ, я смог спасти лишь воспоминание о нем. Спрятанный фотоаппарат для съемки народа, который не хотел, чтобы его снимали, может вам показаться странным. Я чувствовал, что мир будет охвачен безумной тенью нацизма, и это приведет к уничтожению народа, что не окажется ни одного свидетеля, который бы смог напомнить о мучениях. Я знал, что должен сделать так, чтобы этот исчезающий мир не был стерт полностью».

«Милая светлая родина» основана на фотографиях Романа Вишняка и авторском тексте к ним – словах восхищения и любви.

«Уничтоженный мир» – самая страшная часть этой непростой книги, связанная с уничтожением народа евреев. Она основана на документальных материалах, включает фотографии и документы и адресована не столько нашей памяти, евреев и неевреев, сколько пониманию того очевидного факта, что Холокост есть трагедия каждого из нас, живущего на земле, необходимая для осознания и созидания нашего общего нового мира.

Не осознав этой вселенской беды как личного горя, мы не сможем ничего хорошего построить ни для себя, ни для своего потомства.

«Обретенная надежда» – самая короткая и самая светлая заключительная часть этой непростой книги, связанная с воссозданием Государства Израиль, о чем тысячелетия, перемещаясь по планете Земля, говорили с надеждой и уверенностью евреи, в самые светлые и самые трагические времена своей непростой жизни, –

«В будущем году в Иерусалиме».

Виктория Коритнянская
Истории, которые останутся с нами…
Одесса, Черноморье, 2021

22 июня 2021 года мы будем отмечать трагическую дату в истории народа, а по сути, в истории каждой семьи, проживавшей 80 лет назад на территории СССР. Казалось бы, время лечит, уже четыре новых поколения пришли на землю, а боль не проходит, саднит.

Часто цитируют сегодня интервью маршала Ивана Степа-

новича Конева, где, не выдержав пафоса и патоки, он сказал, что думает о цене Победы.

Конечно – Победа была. Конечно – она выстрадана. Дорога к ней – боль и кровь.

Вот эту живую историю через десятки конкретных человеческих судеб лишь в последние два десятилетия начали создавать наши писатели. Для меня она открылась в «Блокадной книге» Даниила Гранина и Алеся Адамовича, затем в книге Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». И первая, и вторая построены как многочисленные диалоги со свидетелями. Одних я мог бы считать свидетелями защиты, других – обвинения на так и не состоявшемся суде над всеми, кто развязал войну.

И вот подобная по значимости книга родилась в нашем городе, на материале и Одессы, и всей Украины.

Документально-публицистическая книга Виктории Коритнянской «Истории, которые останутся с нами…» – это несколько сот монологов, записанных писательницей, разговаривающей и с участниками войны, и с «детьми войны», и с «внуками войны». Пытающейся понять, что осталось в памяти этих людей про ту, вроде бы уже далекую, но незабываемую войну.

Сто лет назад была Первая мировая. Что мы помним? Ничего! А Великая Отечественная так глубоко перепахала саму жизнь, что кровоточит и сегодня.

У Виктории Коритнянской уже были предшественники. Но все равно каждая следующая попытка собрать такую книгу – ходьба по минному полю: тревожишь души людей, оказываешься вовлеченной не в одну биографию, а в народную жизнь. Для такой работы нужно обостренное чувство сопереживания и музыкальный слух, чтобы запечатлеть интонацию каждого собеседника.

Виктория Коритнянская, сотрудник реставрационных мастерских, пришла лет пять назад в студию «Зеленая лампа» при Всемирном клубе одесситов по рекомендации Олега Губаря, показав несколько коротких рассказов. Они подкупали искренностью чувств, нежностью к своим героям. А потом Виктория принесла короткую повесть «У смерти за пазухой». И я поверил, что писатель состоялся, что это литература. Мы опубликовали ее повесть в сборнике прозы студийцев «Пока Бог улыбается». И ждали.

И вот новая – большая книга. Не парадное описание войны, подвигов и фанфар, а сострадание к тем, кого покалечила война, боль, боль, боль…

В этой книге нет пафоса. Но есть осознанная цель – показать немыслимость войны, разрушающей в человеке человека.

Огромная благодарность народному депутату Украины Николаю Скорику, ставшему меценатом издания этой книги народной боли.

Издано в Киеве

Ефим Ярошевский
«Провинциальный роман(с)»
и «Собрание сочинений»
(из записок на салфетках)
Киев, Радуга, 2021

Это одна книга: ее можно читать с одной стороны – и тогда это «Провинциальный роман(с)», написанный в1972-76 годах, можно книгу перевернуть и тогда откроется, что это «Собрание сочинений», а еще точнее – «Записки на салфетках».

Обе книги, как шампуром, проткнули литературные ассоциации. Это когда-то, сто лет назад, Михаил Булгаков написал «Записки на манжетах». Времена были другие, рубашки другие, с накрахмаленными манжетами, а нынешнему литератору остается украдкой записывать свои радости и скорби на ресторанных салфетках.

Признаюсь, это я виноват, уговорил Ефима Яковлевича объединить в один том книги, разделенные полувеком. Потому что

писатель всю жизнь действительно писал одну исповедальную книгу. Ее подлинный сюжет – его собственная жизнь, во многих отражениях – в зеркалах Игоря Павлова, Валика Хруща, Шуры Рихтера, Толи Гланца, Миши Черешни…

Это книга об Одессе, но не о городе де Рибаса и Ришелье, Костанди и Ойстраха, это лирическая, ностальгическая, любовная картина Одессы андерграундных поэтов и художников, людей, которым время нередко не давало стать на ноги… Многие из них уехали, как и сам автор, но не мыслят – во снах, в воспоминаниях, себя вне своего города у моря.

И вновь признаюсь, что и в первой, и во второй книге где-то мелькаю и я. Это среда, в которую был вписан самой жизнью, верой в их творческий потенциал.

Ефим Яковлевич Ярошевский тогда преподавал русскую литературу в вечерней школе. И его цитаты из Пушкина или Маяковского, из Гейне или Бабеля – это не подобранные для книжки тексты, это его способ говорить, мыслить, выражать свои чувства.

Литературность – не прием, а состояние души. Конечно же, он много читал. Это современному читателю кажется новаторством, что Катаев назвал в своей книге Юрия Олешу Ключиком, а Багрицкого – Птицеловом. Ефим Яковлевич читал замечательный роман Ольги Форш «Сумасшедший корабль», где все герои существовали под псевдонимами за полвека до Катаева.

И когда у Ярошевского вы встречаете «старушек Чебукиани» вместо реальных старушек Цомакион, когда под десятком кличек появляется Игорь Иванович Павлов – это свидетельство включенности в великую русскую литературу.

В «Провинциальном роман(с)е» еще есть попытка строить сюжет, хоть очень пунктирная. Не сюжет держит читателя, а наблюдения, *метафоры* поэта и его же интонация. Ощущение, что попал в тайное тайных автора, который лично с тобой делится восприятием жизни, погружает тебя в дно Одессы, где ты сам, без проводника, заблудился бы.

Написал книгу Ярошевский о себе, а оказалось – самый точный, в чем-то беспощадный портрет поколения одесских битников, «певчих дроздов».

«Записки на салфетках» возникали как фрагменты автобиографии. Здесь и отец, не прекращающий бриться, хоть объявлена воздушная тревога, и мама, бабушка, увозящие Фиму на нефтеналивном танкере, и Мариуполь, и Ташкент… Но все равно повествование вновь и вновь сворачивает в Одессу. Появляются новые герои – вот Алла Марголина (Алиса Марго), вот вечные герои размышлений Ярошевского – Даня Шац, Леня Гильбурд, Галя Маркелова, Эдик Савлов (в реальности – Эдик Павлов), Юрочка Новиков…

Вы, конечно, читали «Ни дня без строчки» Юрия Олеши.

Ефима Ярошевского эта книга убедила, что чем случайней, тем вернее слагаются стихи навзрыд. И свои фрагменты, а это, по сути, стихи в прозе, он складывает не в хронологии, а как бы в рифму.

Действительно – это «*собрание сочинений*», это книга поэта и прозаика, но прежде всего поэта.

Ефим Яковлевич Ярошевский в марте 2021 умер. Но он успел подержать эту книгу в руках, обрадоваться тому, как она прекрасно издана.

И новая книга Ефима Ярошевского уходит в свою долгую жизнь.

Содержание

От редакции 3

Евгений Голубовский, Михаил Жванецкий
Михаил, ты прав! 7

Юрий Михайлик
«Так уж им позволено – хотят и поют» 12

История, краеведение

Олег Губарь
Путеводитель по пушкинской Одессе 18

Константин Васильев, Елена Васильева
Испанка в Одессе 40

Андрей Добролюбский
«Будь счастлив!» 59

Александр Сурилов
Визит французской делегации 74

Одесский календарь

Алена Яворская
«Наша длинная Базарная улица», или Трое с Базарной 82

Проза

Вадим Ярмолинец
Моя гоголиана 96

Виктория Коритнянская
Одесские рассказы 100

Елена Андрейчикова
Курить у моря 105

Константин Чебанюк
Убийство Головахи. Письмо. От первого лица 109

Поэзия

Тина Арсеньева
Фрези Грант 116

Анна Галанина
Ты главная из вершин 121

Анатолий Гланц
Гринвич-Виллидж 127

Алла Марголина
Из «Книги странствий» 147

Юлия Мельник
Одиночество, не уходи 151

Искусство – жизнь – искусство

Вадим Чирков
Мои одесситы 156

Евгений Деменок
Письма родителей к Соне Делоне 169

Борис. Горелик
Любовь в конце эпохи 184

Феликс Кохрихт
Стас Жалобнюк. На краю Ойкумены 198

Леонид Авербух
Одесские музы поэтов 203

Феликс Кохрихт
Миссия Дикого 224

Юрий Дикий
Из воспоминаний 228

Илья Буркун
Дружба длиною в жизнь 237

Ирина Озёрная
Цирк навсегда 264

Публикации

Валентина Голубовская – Олег Губарь
Вокруг «Онегина» 276

Сокровища из сокровищницы

Татьяна Щурова
«…Мне был праздник дарован…» 310

Путешествие

Владислав Кураш
Русалочка 328

Ах, Одесса

Елена Палашек
О братьях наших меньших 334

Влада Дизик
Дух сосиски 342

Эдвиг Арзунян
Мальчишеские сражения 347

Григорий Барац
Четыре времени жизни 355

Издано...

Евгений Голубовский
Книжный развал 370

Литературно-художественное издание

Дерибасовская – Ришельевская

Одесский альманах
Книга 85

Deribasovskaya – Rishelievskaya

Odessa almanac
Book 85

Издается с 2000 года

Координатор проекта «Одесская библиотека» Иван Липтуга

Технический редактор Геннадий Танцюра
Верстка, корректура Татьяна Коциевская

Подписано в печать 28.04.2021
Бумага офсетная PAMO SUPER 80 г/м

©

FSC
accredited
FSCTrademark©1996
ForestStewardshipCouncilA.C.
FCS-4CC-018

Печать офсетная. Гарнитура Cambria. Формат 60×84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Заказ № .... Тираж 100 экз.

Всемирный клуб одесситов
65014 Одесса, Маразлиевская, 7
Украина
Тел.: +38 (048) 725-45-67

Worldwide Club of Odessits
7 Marazlievskaya Str. 65014 Odessa
Ukraine
Tel.: +38 (048) 725-45-67

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «ТакиБук»
Украина Одесса, ФЛП Карпенков О.И.
Свидетельство ОД № 121 от 20.01.2003 г.
E-mail: takibook.odessa@gmail.com. Тел.: +38 (067) 486-20-34
www.takibook.od.ua

Издательская организация АО «ПЛАСКЕ»
Регистрационное свидетельство ДК № 3673 от 21.01.2010
а/я 299, 65001 Украина Одесса
Тел.: +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua